



Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel

Philosophie der Sprache  
und des Wortes  
Lucinde



Saint-Petersburg

Карл Вильгельм Фридрих фон Шлегель

# Сочинения том 2

## Философия языка и слова Люцинда



Санкт-Петербург  
2018

УДК 29=03. 30=82  
ББК 87.3(0)(4Гем)  
Ш68

Перевод с немецкого *В. М. Линейкина*  
Под редакцией *Т. Г. Сидаша*

**К. В. Ф. фон Шлегель**

Ш68 Сочинения. В двух томах. Том 2. — Санкт-Петербург:  
Издательский проект “Quadrivium”, 2018. — 304 с.

ISBN 978-5-7164-0790-9

Карл Вильгельм Фридрих фон Шлегель (1772–1829) — один из наиболее значительных деятелей немецкого романтизма: его филологические, исторические, философские и литературные труды вошли в классическое наследие романтической школы. Предлагаемый том включает в трактат «Философия языка и слова» и роман «Люцинда».

Книга будет полезна всем, кто интересуется вопросами истории, философии, а также специально немецким романтизмом.

© Линейкин В. М., перевод, 2018  
© Гизатуллина А. Р., художник, 2018  
© Издательский проект  
“Quadrivium”, 2018

ISBN 978-5-7164-0790-9



## ОТ ИЗДАТЕЛЯ

**В**о второй, и последний, том собрания К. В. Ф. Шлегеля вошли: заключительная часть его философской трилогии — «Философия языка»<sup>1</sup>, а также роман «Люцинда»<sup>2</sup>, являющийся программным произведением немецкой романтической школы.

Материальные трудности не позволили нам предоставить для второго тома того же редактора, что и для первого. Несмотря на это, мы рады тому, что у нас получилось собрать в одном издании основные произведения мыслителя, оказавшего значительное влияние как на немецкую, так и на русскую эстетическую и религиозно-философскую мысль последующих столетий. Вместе с трехтомным собранием Ф. В. Й. Шеллинга данное издание закрывает огромную лакуну, существовавшую в русских переводах классической немецкой философии.

Из-за тяжелых обстоятельств, в которых выполнялась эта работа, мы не смогли надлежащим образом прокомментировать изданные тексты и поставить их в контекст истории европейской мысли. Не исключаем возможности выхода в ближайшее время монографии, посвященной кругу вопросов, связанных с вновь переведенными памятниками.

*Т. Г. Сидаш*

---

<sup>1</sup> Перевод выполнен В. М. Линейкиным по изданию: «Philosophische Vorlesungen insbesondere ueber Philosophie der Sprache und des Wortes». Wien, 1830.

<sup>2</sup> Произведение публикуем в старом, но отнюдь не потерявшем значение, исполненном высокого художественного достоинства переводе А. Сидорова в кн.: «Немецкая романтическая повесть». М.; Л., 1935.



# ФИЛОСОФСКИЕ ЧТЕНИЯ

## В ОСОБЕННОСТИ ПО

### ФИЛОСОФИИ ЯЗЫКА И СЛОВА

*Написано и читано в Дрездене в декабре 1828  
и в первые дни января 1829 гг.*

#### Первая лекция

Под именем *Философия* (вспомним историю возникновения и первый дивный смысл этого понятия, — каким оно родилось и получило развитие у греков, а позже, во всем его благородстве, многообразии и глубине перешло из этого источника к нам) — под философией я разумею, согласно начальному смыслу этого слова, всего лишь врожденную человеку и естественную для него любознательность, причем именно в ее всеобщности, а не в изначальной ограниченности той или иной особой целью, или особым предметом: т. е. естественную любознательность, которая, — будучи пробуждена загадкой бытия, внешнего мира, или же собственного Я и собственного сознания, — стремится сперва обрести внутреннюю ясность, а затем уже в этой ясности — коль скоро та будет достигнута — найти истинный смысл, или, если это можно так назвать, объясняющее *Слово* — жизни, истинного внутреннего мира, а также мира внешнего и всеобщего; и, пожалуй, нет никаких сомнений, что в этом животворящем и самом по себе живом *Слове Жизни*, каким мы нашли и усвоили себе его, нам может быть дана еще и высокая сила



жизни далекой и грядущей, как внутренней, так и внешней, для употребления ее во благо нам. Внутренний свет духовной ясности, или, иначе, прояснившегося для самого себя духа, и есть то, что направляет этот поиск и нахождение истины и знания, в котором нашему видению открывается Слово, или смысл, жизни как целого, и благодаря которому все силы, свойства и способности души получают обновление и подкрепление для жизни, внутренне возвышаются и умножают силу своих плодов. Если же это первое и высшее знание, или стремление к внутренней достоверности и божественной истине, захотят теперь назвать собственно наукой, то оно все же не является таковой в означенном смысле и еще того менее может быть ею в той же самой или подобной форме, как иные, имеющие в виду особую цель и ограниченные рамками особого предмета, науки. Пути мыслящего и знающего духа и свойственные этому философскому мышлению формы свободны, как жизнь, и, как сам сотворенный свободным дух, — всегда новы, удивительно гибки и неисчислимо многообразны, различны по внутреннему строю и внешнему образу. Один весьма близкий и живой пример сможет еще яснее и с полной наглядностью явить взору или вызвать в памяти эту оригинальность форм и свободу или многообразие различных путей, образов и способов изложения в философии. Произведения и письменные диалоги великого мастера философского представления и воплощения в науке такой вдумчивой беседы, живой и изменчивой игры мысли в ее серьезном исследовательском устремлении — Платона — может быть, не менее удивительно разнообразны в своем движении, богаты содержанием, гениальны и своеобразны как по внутреннему строю целого, так и по внешнему развитию, или совершенству, всех отдельных звеньев и составных частей, чем поэтические творения самого великого и удивительного из драматических авторов; и те, кто более всего знаком с искусством и духом как одного, так и другого, поэта и мыслителя, менее всего будут склонны возразить мне, найдя такое сопоставление вполне понятным и совершенно естественным. На пример Платона можно ссылаться здесь с тем большим правом, что он не только был и остался единственным и неподражаемым во всем, что касается красоты представления, полноты, грациозности и духовной живости выражения, но еще и потому, что (как мы хорошо можем видеть из столь богатого и многообразного наследия его произведе-



ний) этому возвышенному уму в равном совершенстве были доступны как уже проторенные, так и совсем еще не хоженные пути и окольные тропы диалектической мысли, и не остался неведом ни один, сколь угодно глубокий или высокий, регион истинного знания или спекулятивного мышления. Поэтому, наверно, в том, что касается истинного и плодотворного метода живого знания и изобретательного мышления, любой из его совершенных шедевров благодаря имеющейся точной и исчерпывающей характеристике сокрытого в них искусства может научить большему, чем все наши компендиумы безусловных понятий и метафизических измышлений или расхожие системы безусловного логического отрицания. Все же, однако, нет нужды, ратуя за это воззрение и утверждение о живой, как по истине, так и по форме, философии жизни, ссылаться на один единственный, пусть и такой блестящий, пример, как сократовскую школу и величайшего мыслителя, вышедшего из этой школы — Платона; ибо, по сути, вся история философии, от начала и до конца, может служить тому подтверждением и доказательством, всеми возможными способами поучая и убеждая нас в том, что в этом высшем стремлении к истине к одной всеобщей цели могут вести и действительно ведут самые разнообразные, и даже, по видимости, противоположные, пути и направления; и что, сколь бы разнообразны ни были они, цель знания, или сокровище самой искомой истины, никоим образом не может быть навсегда и во всех случаях привязана к неизменно твердому и исключительно признаваемому правилу той или иной формы и образа, или единственно сулящему блаженство методу мышления, — так, словно бы то было волшебное заклинание, от коего только и зависело всякое счастье и процветание. Я сказал: история философии. Но что она есть такое в ее полном объеме, в истинном смысле и понимании, в ее глубинном значении, если не внутренняя, обратная сторона, духовная половина всего человечества в его историческом развитии, в том особом и достопримечательном движении, которое проделал здесь человек в своей благороднейшей силе и способности, или свойстве, а именно, в стремлении к истине, или к познанию истины? И здесь, в этом поступенном ходе, и в особенности — в тех или иных характерных и отличительных пунктах, в переходных точках и решающих моментах борьбы в этом всеобщем брожении или также в совершенно новом повороте внутреннего духовного развития,

в совершенно новом его законе, — проницательный взор способен различить гораздо более высокую правящую десницу и влияние совершенно иного миропорядка, чем все то, что мы привыкли видеть в пределах узкого горизонта нашей обычной школьной методы, и все, что может быть измерено и определено ею.

Я отнюдь не имел своей целью ни сколько-нибудь унижить принятую у нас школьную форму академического преподавания научной философии, где последняя дается строго поэтапно и с большой основательностью, ни предложить всецело избавиться от нее, убрав ее с дороги; ибо следует признать, что такая форма, напротив, в надлежащем и подобающем ей месте, а также для своей особой цели является необходимой, и ею невозможно пренебречь, не понеся при том существенного ущерба. Это, например, вполне верно в отношении той жизненной поры, которая преимущественно и даже исключительно посвящается всемерному и всестороннему изучению наук, когда философия естественным образом входит в круг академических занятий и в систематическом преподавании также в той или иной мере усваивает формы, уже выработанные и испытанные для прочих научных дисциплин. Уже в самом только что установленном и лишь кратко очерченном, но никак не в полной мере раскрытом понятии философского мышления и знания — по природе своей оригинальной, духовно свободной, гибкой и подвижной, многосторонней и изменчивой формы — заложено то, что философия — там, где того требуют обстоятельства и где внешние отношения дают к тому повод или возможность, — также способна принимать и усваивать себе более связанную и подчиненную форму иных наук, или, как я даже с гораздо большей охотой предпочел бы выразиться, — она может и вправе снизойти до такого усвоения. Это, однако, всего лишь некое особое применение, некая побочная цель или окольный путь, некое отклонение и исключение из правила, но не само правило: если под правилом мы разумеем некое правило природы, или же нечто изначальное и сущностное, а именно потому также простое и высокое. Последнее же для той философии, которая есть и должна быть наукой жизни, а не всего лишь школы, — есть нечто целокупное; и там, где речь не идет об упомянутом специальном применении ради особой приводящей цели, также и ее форма должна быть свободной и живой. И среди прочих наук, коль скоро ей суждено

стоять в одном ряду с ними, она именно потому может претендовать на первое место и на главенствующее положение, что она имеет иной род и строение, а также совершенно иное происхождение, нежели остальные. Таким образом, никак не возможно, чтобы, например, философия следовала в качестве служанки за математикой и лишь боязливо пыталась подражать внешней форме ее знания, что вследствие заблуждения нередко стремились осуществить в действительности, вновь и вновь усердствуя в попытках произвести невозможное. Так что, напротив, согласно истинному воззрению живой философии, легко коснеющее без участия живого духа и само по себе мертвое математическое знание лишь благодаря ее глубокому прониикновению может быть понято в его истинном значении — поднято до истинного и просветленного осознания. Верный метод, действительно заслуживающий такого названия, т. е. метод истины, зиждется на весьма простом движении и развитии мысли, при коем одно само собою вытекает из другого, развиваясь изнутри, все же чуждое и мешающее пребывает строго исключенным, однако не в параграфах и нумерированных постулатах, и не во внешней помпезности их якобы строгой логической связи, где, при более тщательном рассмотрении, то или иное отдельное звено в мыслительной цепочке все же оказывается мертвым и ничего не говорящим, или, по меньшей мере, слабым и ненадежным, или же ошибочно помещенным не на своем месте, — там, куда оно никак не может относиться и где, очевидным образом, лишь закрывает собой брешь. Именно так обстоит дело с системой и со всем тем, что носит имя систематического. Несмотря на то, что это понятие обычно употребляют в двояком смысле: сперва в добром и похвальном, а затем также и в укоризненно-обвинительном и уничижительном смысле. В последнем случае принято говорить, что нечто есть *только* система или что оно соответствует той или иной системе. Ибо при оценке той или иной совокупности научных идей или вообще любого произведения под этим подразумевают не столько, что оно само полностью лишено всякого основания и есть продукт сугубо произвольного вымысла и фантазии, в каковом случае не было бы никакого смысла говорить о нем дальше, но, скорее, что оно может содержать в себе нечто истинное и благое, однако при этом, именно вследствие системы, в него вложено чересчур много, или из сказанного делаются чрезмерно далеко идущие выводы,

что весь материал принудительно подгоняется под требования этой системы и что сама она распространяется далеко за пределы истины, одним словом, — что систематическая взаимосвязь является лишь внешней и кажущейся, или обманной и поддельной. Весьма часто это и действительно так, и во множестве случаев это и есть обычный путь новых научных идей и открытий, в особенности в тех науках, что стоят в ближайшем соприкосновении с физической жизнью и ее сохранением, а потому естественным образом в наибольшей степени подвержены переменчивым модным веяниям эпохи. Безусловно, начало полагает здесь та или иная счастливая и гениальная идея, изобретательная мысль, устремляющая взор на совершенно новую сторону или новое восприятие предмета; затем эта счастливая мысль первого изобретателя приводится или раздробливается в систему либо его учениками и подражателями, либо, иной раз, и им самим; за нее с величайшей охотой и готовностью хватаются; теперь из нее рождается партия, или секта, и, наконец, она опускается до всего лишь моды, удерживающейся на плаву в водовороте нашей эпохи или же увлекаемой вниз и проглатываемой потоком времени. Когда дело дошло уже до этой точки, или как только однажды достигнута эта стадия обычной истории болезни человеческих мыслей и мнений, ту первую счастливую идею, то подлинное изобретение или оригинальное воззрение можно считать уже практически мертвым или, по меньшей мере, заживо погребенным, и чаще всего ничего уже не возможно распознать от изначального духа, от первого гениального движения жизни, присутствовавшего в нем от начала. В хорошем и верном смысле ученый труд или совокупность идей можно было бы назвать системой или систематическими и восхвалять их как таковые за их внутреннюю взаимосвязь и нерушимое, везде и всюду пребывающее равным себе, единство. Если же эту идейную взаимосвязь действительно отличает духовная глубина и природная живость, то легче всего она даст о себе знать и выразит себя в самой простой форме и в прозрачной ясности выражения, не нуждаясь ни в показном систематическом великолепии, ни в громоздких доказательных схемах и в мнимом строгом разбитии на параграфы, где вымученная взаимосвязь, выступающая во всеоружии своих многочисленных тезисов и постулатов, иной раз тщетно пытается скрыть за собой отсутствие живого внутреннего единства. В этом отношении в челове-

ской науке мышления и философии дело обстоит точно так же, как во внешней жизни и действительном опыте. Ничто в общественном кругу и даже в гражданских отношениях не ценится столь высоко, как внутренняя последовательность великого начинания или твердого характера; собственно, этот пример есть не столько подобие, сколько сама вещь, или тот самый предмет, но лишь взятый с другой стороны или рассматриваемый в иной связи. Поскольку же это высокое и редкое качество истинно твердого умонастроения зиждется не на множестве кстати и некстати высказываемых сентенций, или произносимых напоказ нравственных максим, но часто выражается скорее в молчании или в совершенно простых, ясных словах и столь же простых делах, легко и естественно давая себя знать тем, кто способен к постижению и сам обладает умонастроением; точно так же дело обстоит и с последовательностью мышления и образа мысли в философии: это внутреннее и живое единство в такой целостной системе мыслей и систематическая взаимосвязь в согласии с воодушевляющей идеей весьма ясно дают себя знать как в свободе формы и простоте выражения, так и в дружественности беседы, ничего не исключая и не будучи привязаны ни к предписанной и обыденной школьной форме, ни к какому бы то ни было искусственному методу.

Я хотел бы добавить еще лишь одно замечание об академическом преподавании и о месте, которое занимает, может и должна была бы занимать философия. Если мне позволяют судить на основании того, что известно мне по собственному опыту, или же того, что я мог наблюдать на примере других в различные времена, когда я сперва юношей, сам будучи членом академического сообщества в годы учения, а затем как всего лишь гость, равнодушный к наукам посторонний, жил в разных немецких университетах, время от времени пробуя свои силы в чтении собственных докладов по тем или иным учебным дисциплинам, — то все еще существует некая, и весьма приметная, трещина между философией и той специальной наукой, которую учащийся избирает в качестве своего будущего призвания. Это менее характерно для медицинской специальности, которая сама так или иначе связана с естествознанием, строится на нем и состоит с философией в более близком соприкосновении, хотя также и в этой области весьма часто можно видеть, что научные интересы и научные поиски вообще идут совершенно иными путями, нежели те,

что проложены и рекомендуются для обретения накопления самых добротных и чистых специальных знаний. В еще большей степени и чаще всего сказанное верно в отношении многочисленного класса молодых людей, посвятивших себя гражданской жизни, а в будущем — государственной службе. Здесь философию уже невозможно воспринимать как лишь стороннюю, сугубо второстепенную вещь, как некое излишество или предмет роскоши в изучении наук; она требует, чтобы к ней подходили со всею возможной серьезностью и любовью; и именно в этой вдумчивой серьезности, в этой высокой любви и воодушевлении как раз и заключено ее истинное начало. Посему весьма часто можно наблюдать, что учащихся молодых людей вообще гораздо более влекут и словно некой магической силой удерживают эти всеобщие вопросы человеческого духа, эти к наивысшему роду относящиеся исследования бытия, так что за подобными штудиями те напрочь забывают о науке, которую прежде сами избрали в качестве своей профессии, или, по меньшей мере, несколько утрачивают к ней свой пыл, пренебрегая занятиями ею чаще, чем это могло бы быть извинительно; тогда как другие, будучи настроены на более практический лад, твердо и строго придерживаются своей специальности и намеренно ограничивают себя ею, чураясь колдовских метафизических формул и соблазняющих с пути истинного хитросплетений философских систем и не обращая внимания на то, что их товарищи, изменившие своему факультету, очарованные и плененные диалектикой, смотрят на них сверху вниз как на неспособных к высшему постижению. Если бы меня попросили высказать мое мнение о том, каким образом мог бы быть улажен или преодолен этот раскол, образовавшийся вокруг философии в нашем немецком академическом преподавании, и если уместно было бы здесь подробно рассуждать о сем предмете, то мое пожелание или совет, пожалуй, свелись бы прежде всего к тому, чтобы изучение и преподавание философии в высших учебных заведениях были так или иначе решительно отделены от изучения специальности — той особой науки, которая избрана в качестве будущей профессии, а лучше всего было бы сделать так, чтобы начало ее изучения приходилось на самую последнюю часть учебного курса, по завершении всех прочих штудий, — чтобы она словно бы венчала собой весь студенческий путь, образуя собой последнюю приготовительную ступень и переход к действительной

жизни. Годы академического обучения и без того не оставляют времени для праздных мечтаний. Для большинства это неповторимая жизненная эпоха, которая должна оставаться целиком и полностью посвященной обретению и накоплению специальных знаний. Для зрелого мужа, по окончании его профессионального обучения, скорее всего, даже и среди деятельной жизни, еще найдется свободный час и счастливый естественный повод к тому, чтобы предаться этому досужему размышлению, с которого обыкновенно начинается философия, но которое, однако, в дальнейшем перестает быть всего лишь праздным, или к тому, чтобы задаться на первый взгляд излишним вопросом о том, что для человека является более необходимым и существенным, чем все остальное.

Ровно столько (если это уже не слишком много) я считал нужным предварительно сказать о форме, — не столько для того, чтобы оправдать или извинить ту единственную, которую я могу избрать и использовать ныне, сколько для того, чтобы спасти и укрепить также и с этой стороны независимость, свободную точку зрения и возвышенное благородство философии. Если, теперь, философия есть не что иное, как сама живая наука жизни (а скептический вопрос о том, возможна ли вообще такая наука, или же она для нас недостижима, не может здесь ничего изменить; ибо если сомнение в жизни, или по поводу жизни, происходит из самой этой жизни, а значит, само является живым, то жизнь и сомнение в ней суть одно и то же, и, следовательно, мы можем с равным правом говорить как об этой науке, так и о нашем сомнении в ней) — если, говорю я, она есть не что иное, как высшая мысль внутренней жизни, стремящаяся удостовериться в себе самой (именно эта же самая цель преследуется здесь у нас), — то как можно было бы мочь или даже всего лишь желать исключить из нее целую половину человечества, общества или всей сознательной и наделенной нравственным чутьем жизни? Как для искусства, так, следовательно, и для философии вся образованная публика представляет собой собственную сферу и естественный круг, в котором ей пристало совершать свое движение и к которому она может свободно обращаться. Кажущееся основание для своего рода исключения могло быть искомо и найдено лишь в привычной школьной форме, которая, однако, как я только что пытался показать, является не всецело сущностной, но по большей части лишь случайной, не необходимой самой по себе



и даже не везде и всюду применимой. Если, теперь, предмет философии есть целое внутренней жизни, а сама нука имеет целью найти идею, несущую ответ на вновь и вновь возвращающийся вопрос мыслящего сознания — раскрыть тайну бытия, или как еще можно было бы выразить и обозначить эту задачу, — то она, уже в силу этого, есть нечто иное и более высокое, чем просто еще одна среди прочих подготовительных академических дисциплин, призванных служить особым целям той или иной отрасли или профессии. Философия Жизни не привязана к той или иной форме, но может по случаю принимать любую, которую сочтет подходящей, годной или приличествующей, не предпуская заранее ничего, кроме одной лишь жизни, — внутренней жизни. Лишь там, где в юношеской или почти еще детской душе, еще всецело стоящей на пороге ожидания, это внутреннее ощущение или сознание жизни все еще не оформилось до степени страстного предчувствия или глубокого и мучительного вопроса; или там, где оно еще не поднялось до уровня мысленного возгласа удивления, — лишь там, пожалуй, еще не пришло время для философского устремления, для этого внутреннего искания и нахождения собственного бытия и сознания, этого исследования и чаяния самого себя, этого ожидания, стремящейся навстречу неведомой любви. Так что на законном основании исключенной из этого круговорота философских знаний, скорее, могла бы быть лишь еще совершенно не развитая и не опытная юность, хотя провести истинную границу бывает здесь весьма сложно. Излишним было бы также повторять то, о чем столь часто напоминали мудрые мужи древности, — что там, где жизнь целиком и полностью растрачивается на внешние дела, удовольствия и корыстолюбивые устремления, так что не остается, собственно, ничего внутреннего: нет места ни чувству, ни умунастроению, ни даже подлинно глубокой мысли; также и философия не обретает для себя ни внемлющего слуха для своих слов внутренней жизни, ни надежды на родственное эхо в ответ на те возвышенные мысли и глубокие чувства, из коих она исходит. Я сказал, что она не предполагает заранее ничего, кроме внутренней жизни; и чем полнее, многостороннее и разнообразнее в заданной сфере соединяется эта предполагаемая ею жизнь с ощущением жизни, тем с большей легкостью она исполняет свою задачу, тем скорее ей удастся то, в чем, собственно состоит ее дело, а именно, внутренне прояснить для



себя и других эту самую высшую жизнь, которую она предполагает как данность. Насколько же, однако, будет стеснена и односторонне ограничена эта первая предпосылка и естественная основа философии, если из ее сферы будет всецело исключен преимущественно нежный и тонко чувствующий род? — С точки зрения более свободной и широкой и в согласии с истинной природой, даже юношеское воодушевление и чувство красоты, первая и самая высокая любовь, принадлежат не одной лишь сфере искусства; но, поскольку они суть элементы (и, безусловно, весьма значимые элементы) жизни, они не только не могут быть исключены из сферы философии, но, напротив, образуют весьма существенную часть ее совокупной задачи. Если бы на это нам захотели возразить, что сии высочайшие и прекраснейшие дары любящей и щедрой природы слишком уж преходящи, что они исчезают и бегут при малейшем соприкосновении с грубым внешним воздухом или стесняющим окружением и, судя по внешней видимости, едва ли обладают должной устойчивостью и потому не могут быть удержаны в качестве предметов серьезного философского рассмотрения; что сплошь и рядом первая же череда превратностей и первый же натиск враждебной судьбы разрушает и повергает их в прах, лишая юное деревце жизни листы еще до того, как оно успеет достичь цветения: если бы нам захотели возразить так, — то все это, конечно, совершенно верно, однако весьма часто разрушающий принцип лежит не во внешней судьбе и не во внешних обстоятельствах, но во внутренней необузданности и страстности, в своеволии или в каком-либо ином помрачении или ложном направлении характера, из-за которого высочайшее жизнеощущение становится дисгармоническим и болезненным. Не будет ли тогда счастливым и в любом случае полезным решением позволить этому нежному и легко ранимому цветущему юношескому чувству с самого начала быть в связи и соприкосновении с внутренней ясностью и рассудительностью, обретая благодаря им внутреннюю крепость и прочность, дабы тем самым обратить мимолетную красоту цветения юношеского бытия в вечный плод чистой благожелательности, деятельной любви, внутренней гармонии и зрелости. — Другого столь же естественно легкого, человечески простого пути к этой цели, пожалуй, что нет; лишь через внутреннюю ясность, светлое уmonoстроение и трезвую рассудительность можем мы пробиться к гармонически уравнивающему,

разрешающему всякое сомнение и улаживающему всякий раздор слову нашего внутреннего бытия и найти в нем ту силу, что поддерживает собой высшую жизнь и ограждает от всякого пагубного воздействия. Именно это и есть Философия Жизни, и именно в этом заключена ее сущность. Дабы уже теперь представить себе центральную, наиболее важную часть нашего вопроса, или предмета в целом, и еще загодя по меньшей мере коснуться того, что с каждым последующим шагом на этом живом пути естественного мышления будет все более и более полно разворачиваться для науки жизни, можно сказать, что душа вообще есть не что иное, как способность любви в человеке. И именно поэтому также любящая душа (если мне позволено будет воспользоваться здесь словами одного великого учителя) есть чистое зеркало, в котором мы можем узреть божественные тайны любви, выраженные в загадочных образах, или символах, которые служат нам в этом сумеречном земном бытии еще и в качестве путеводных звезд. И даже тот вечно зеленеющий росток — сокровенный цвет природы — мы яснее всего видим в этом светлом зеркале души (словно темнеющее дно сквозь прозрачную толщу воды в тихом озере), где он не кажется нам чем-то далеким и чуждым, но вызывает ощущение дружества, родства и давнего знакомства.

В этих нескольких строках и беглых заметках, в коих я мог кратко затронуть то многое, что впоследствии должно получить свое полное развитие, однако, уже с достаточной полнотой указана причина, по которой я в этом обсуждаемом здесь вопросе о привычно и давно уже практикуемом исключении [из философии] доброй половины человечества, придерживаюсь того же самого убеждения, коего придерживался более тридцати лет назад, в пору самого первого начала моих литературных устремлений. И даже если бы мне пришлось остаться с этим моим мнением, или умонастроением, в полном одиночестве перед лицом этой новой эпохи, то в этом единственном пункте я все же избрал бы в качестве своих поводырей и образцов для подражания древних — сократическую школу и ее великого наставника — Платона; поскольку (будь в том надобность, а также место и время говорить здесь об этом) можно было бы привести достаточно много примеров как из древней истории, так и из новейших эпох, чтобы дать избыточное опровержение этого господствующего предрассудка там, где он все еще имеет силу.

Таким образом, сфера, или горизонт, внутри коих свершает свое движение философия и к коим она может быть обращена, не должны сужаться и ограничиваться в результате такого ничем не оправданного исключения, но должны обладать всей возможной человеческой полнотой. И точно так же философия не должна и не имеет права исходить из искусственно и односторонне разъятого, отторженного от жизни, а следовательно, лишь половинчатого, сознания, но должна иметь своей отправной точкой сознание по возможности полное, нерасчлененное и целостное, ибо в том, чтобы достичь ясности в этом последнем и оказать помощь в достижении такой ясности другим, собственно, и состоит вся ее задача, все ее назначение. Правда, в последнюю эпоху немецкой философии кое-где (также преимущественно в натурфилософии) открывались новые, более оживленные пути для исследования, касающиеся отчасти диалектической подготовки и критического сравнения различных воззрений, систем и мнений, а отчасти — самого психологического исследования; в целом же, однако, почти повсеместно за единственно верный путь к постижению сущности философии, и даже за самую ее сущность принимается все то же чистое, абстрактное и отъединенное от жизни, мышление. Это так называемое чистое и абстрактное мышление не признает и не имеет никакой предпосылки, вообще никакой иной основы, кроме самого себя. Оно исходит лишь из себя, в силу чего предстает лишенным всякого начала, а следовательно, также не может иметь ни конца, ни цели, но вечно вращается в своем собственном заколдованном круге, внутри и вокруг самого себя. Там, где философия пребывает внутри этого тесного мысленного горизонта, коим ограничиваются ее диалектическое искусство и представление, выраженные в пусть и строго обособленном, метафизически отстраненном и на удивление абстрактном, но по меньшей мере четко и внятно определенном, упорядоченном и духовно прозрачном языке, — там результат подобных диалектических упражнений на первых порах может быть плодотворным, пусть даже и всецело негативным (ибо, собственно, истина и истинное знание на этом пути недостижимы, т. е. не могут быть ни искомы, ни обретены, а все предварительные диалектические упражнения в философии следует признать как именно предварительные упражнения, или, самое большее, как переход и введение к иному — живому — пути плодотворного мышления), и, — хоть не для всех,

но для тех некоторых, кто может исходить из этой точки зрения — вполне уместным. Человеческий язык на удивление гибок и способен сочетаться даже с искусственно разъятым и абстрактно расчлененным сознанием, верно передавая его содержание в своем подвижном зеркале, ясно упорядочивая и искусно придавая форму и образ чисто логическому мышлению, лишенному всякой конкретности; кроме тех, конечно, случаев, где пустое логическое мышление, достигая вершин своих абстрактных устремлений, с презрением отвергает от себя, как последнюю стесняющую земную оболочку, даже и то чувство грамматического строя, что дает возможность по меньшей мере диалектически ясного, пусть и сколь угодно абстрактного, представления, с тем, чтобы, поднимаясь все выше и выше в метафизическом мареве, по возможности без остатка скрыться с человеческих глаз в недоступных сумерках собственного, возведенного в столь высокую степень, Я. Путаная терминология и совершенная невразумительность суть постоянные спутники и собственно признаки той ложной философии, что льстит себя надеждой обрести сокровище истины и подлинной науки во все далее и далее проводимом искусственном членении сознания и способности мышления, во все более высокой степени абстракции; тогда как даже чисто логические формы мышления, врожденные человеческому уму, или же запечатленные в нем как начальные и основные черты его понимания и его мыслительной деятельности, могут быть собственно поняты, постигнуты в их подлинном значении и поистине осознаны лишь из живого целого совершенного сознания, в соответствии с местом, которое они в нем занимают, и с их способом воздействия на него. Но всякий раз, когда из так называемого чистого, в сущности же пустого и отчужденного от живой действительности и всецело абстрактного, мышления, тем не менее, делается попытка возвести, или вызвать к бытию с помощью некоего колдовства, подлинное здание истинной науки, — всякий раз перед нашим взором вновь разворачивается все та же старая история Вавилонского столпотворения и смешения языков. Каждая новая система подобного рода есть в свою очередь лишь еще один привходящий раздел или последующее дополнение к этому древнейшему в истории человеческого духа смешению языков, и равно воззрений и мнений. Каждый из этих строителей бесконечного заблуждения начинается с того, что отбрасывает прочь результаты зодчества

своих непосредственных, а также всех иных предшественников, и принимается возводить воображаемую башню *своего* знания на пустом пространстве, освободившемся после сноса, с твердым намерением продолжать строительство все дальше ввысь, далеко превзойдя все созданные ранее. Но ни один при этом не понимает другого, равно как и себя самого; все более путаным и темным становится это новое смешение понятий, и наконец не остается ничего, кроме безобразного нагромождения осколков и мелкого крошева тех мыслей, которые, даже еще будучи вполне целыми, являли собой лишь разрозненные мертвые камни, и всех скоро предаваемых забвению и становящихся еще более непонятными абстракций, коих первоначальный словарь и алфавит, подобно разъясняющему ключу от неких мудреных и странных шифров, ныне порой отыскивается лишь с великими трудами.

Более живая философия не может ни избрать такой путь все возрастающей абстракции как единственно верный, ни следовать ему; ибо она исходит из жизни и ощущения жизни, из наибольшей возможной полноты чувства и сознания. Она далека от того, чтобы в прогрессирующем искусственном членении нашего сознания искать свое высшее или надеяться, что таким образом она сможет достичь своей цели, или цели истинного знания; ибо человеческое сознание, по меньшей мере в том виде, как оно существует на данный момент, и без того уже страдает от чрезмерного разделения, охвачено расколом, лишено единства внутри себя, и в результате такого разделения предстает связанным, разрозненным, ослабленным и обездвиженным. Это и есть тот основной пункт, от коего зависит все прочее. Эта другая философия так называемого чистого, отгороженного от действительности и абстрактного, или, собственно, пустого мышления, без конца и без начала, без основания и без цели, ничего не знает о нашей необходимой предпосылке жизни, в человечески совершенном объеме и смысле этого понятия: мыслитель, находящийся во власти этой философии, не может ни принять такой предпосылки, ни признать ее справедливости, или, скорее, он попросту ничего о ней не знает и не умел бы ею воспользоваться. Тем не менее и в его философии нечто предпосылается, или, иными словами, полагается заранее; причем предпосылка эта сугубо произвольная, и при ближайшем и строгом исследовании весьма скоро обнаруживает свою полную безосновательность. Имеется в виду предположение, будто

наши сознание и мышление, в том виде, в каком они есть сейчас, являются всецело исправными, пригодными и сохранившимися в неповрежденном первоначальном состоянии; так что от нас требовалось бы произвести лишь целесообразное деление и членение, или искусное и добросовестное разложение этих, самих по себе исправных и свободных от каких-либо дефектов, сознания и мышления. Напротив, если мы отдаемся во власть ощущения внутренней жизни и стремимся со всем тщанием воспринять его в его чистоте, то первое, в чем мы убеждаемся и что прежде всего обращает на себя наше внимание, есть раскол и противоречие не только между нами и внешним миром, но внутри нас самих, и как раз в самой глубине, в самом средоточии нашего сознания, сплошь распадающегося на разрозненные и противоречивые части. Может ли, далее, раскол представлять собой изначальное состояние и истинное предназначение для нас или для какого-нибудь иного бытия, или могло ли быть так от начала? — Конечно, раскол царит повсюду в человеческой жизни, разделяя собой всё и вся — настоящее и прошлое, вольный общественный обиход и государство и даже семью, веру и знание, мышление и мнения, не только в их соприкосновении с жизнью, но и взятых самими по себе — на враждебные противоположности и партии. Но здесь, собственно, речь прежде всего идет не о бурных схватках страстей, или о нравственном раздоре, возникающем в самой глубине смятенной и боримой губительными страстями души, хотя и этот внешне наблюдаемый и словно обросший плотью раскол рода человеческого берет свое первое основание в скрытом разрыве глубинного, самого потаенного сознания и способности мышления, во всей его структуре и в его нынешнем состоянии, и именно здесь следует искать глубинный источник его возникновения. Столь же мало при этом берутся в расчет печальное расстройство в человеческом сознании, его органически болезненное состояние, или ущербность, происходящая, возможно, из особого характерного нарушения, духовной слабости, или не особенно счастливой организации. То же состояние, которое мы называем, по меньшей мере, относительно и релятивно физически и нравственно здоровым, поскольку оно свободно и чисто от подобных нарушений и расстройств, еще отнюдь не обязательно поэтому будет всецело живым и изначальным и совершенно полным. Напротив, также и в обычном сознании, в том виде, как оно в общем и целом существует ныне и в этом

смысле обыкновенно рассматривается как здоровое и правильное, также могут иметь место те или иные перекосы и расстройства; и мы вполне закономерно приходим к такому предположению, или предпосылке, когда находим составные части этого сознания по большей части удивительно слабыми, пребывающими словно бы в парализованном и связанном состоянии, а различные способности души — почти никогда в должном внутреннем взаимодействии и в полной гармонии друг с другом. Именно по причине этого внутреннего конфликта, на который я хотел бы обратить внимание, — этого изначального раскола мыслящего сознания, чисто психологически дающего о себе знать и наблюдаемого у нас между мышлением, чувствованием и волеием, — именно по причине его также рассудок и воля, не говоря уже о нравственном законе и его исполнении, столь крайне редко пребывают у нас в согласии; разум же и фантазия чаще всего враждебно противостоят, или, по меньшей мере, пребывают друг другу совершенно чуждыми и непонятными. Это наше первое, вновь и вновь повторяющееся, восприятие внутренней жизни и глубинное самоощущение того, можно сказать, почти врожденного или, по меньшей мере, унаследованного внутреннего борения и раскола в человеческих сознании и способности мышления, по природе своей сугубо психологического и не имеющего никакого отношения к любым частичным нарушениям и расстройствам, рожденным страстью или болезнью, — конечно, может, уже с одной лишь этой интеллектуальной точки зрения, повести нас в ту же сторону, куда, по всей видимости, указывают и иные нравственные явления или исторические следы, а именно — к древнему способу объяснения и учению, которое, собственно, представляло собой точку зрения и мнение всех старых народов древности: что человек с самого начала из своей первоначальной гармонии впал в раскол, или отступил от единства; что он, в ходе последовательного и неуклонного нисходящего движения от своего первого, данного ему творением, высокого достоинства опустился в конечном итоге на множество ступеней. Поскольку же это изначальное помрачение, расстройство или распад, затрагивает собой глубочайший корень нашего существования, то, следовательно, также и в нем, и отнюдь не только в его отношении ко внешнему миру, но и в самом по себе его чистом внутреннем мышлении, чувствовании или волеении, все по большей части пребывает в состоянии распада,



взаимной вражды и раздора; и гораздо реже мы можем видеть его в живом, плодотворном и гармоническом взаимодействии. Безусловно, наша обычная теория сознания еще и потому во многом представляется целиком и полностью неудовлетворительной, плоской и мелкой, что упомянутая великая перемена, происшедшая с нашей способностью мышления, прошла для нее словно бы совершенно незамеченной и никак не привлекла к себе ее внимания. Поскольку, однако, эта перемена рассматривается как исторический факт, подтверждаемый исторической традицией, то в данном случае она находится вне области нашего рассмотрения, ожидая своего основательного теоретического исследования. Собственно философская задача заключается прежде всего лишь в том, чтобы в совершенной полноте и чистоте охватить пониманием психологический конфликт и внутренний раскол между различными духовными и душевными способностями нашего сознания, представив его всецело как он есть; затем обратить внимание и указать на те пункты, или места, от которых могло бы начаться обратное движение, где могли бы, по меньшей мере, быть найдены ведущие обратно пути — пути возврата к ныне утраченной нами первоначальной гармонии нашего глубинного внутреннего существа; или также указать средства восстановления живого и целостного сознания и более гармонического взаимодействия его вечно разделенных, разрозненных духовных и душевных способностей. Если, теперь, даже в обычном опыте могут быть указаны известные места, или моменты, где благодаря особой силе и твердости характера, благодаря гениальному искусству или иному выдающемуся и высокому свойству души этот внутренний конфликт, а также врожденный или унаследованный раскол между рассудком и волей, разумом и фантазией счастливым образом разрешен, и эти обычно разрозненные, враждебно противонаправленные друг другу силы, по меньшей мере, отчасти, для одного-единственного явления жизни, действия или свершения, достигают плодотворного взаимодействия и гармонического согласия. Такие случаи как раз и являют собой данные в опыте точки опоры, представляющие возможность восстановления целостности сознания и жизни из обычно рассеянных элементов, или разъятых частей сокроенного человека. Поскольку, однако, такие случаи являют собой всего лишь исключения, счастливые, однако редкие исключения, они служат тем большим и



более полным подтверждением господствующему правилу, или общему ощущению внутреннего раскола в нашей способности мышления и во всем нашем сознании. Дабы с самого начала не слишком рассеивать наше внимание, я в данный момент не буду принимать в расчет некоторые второстепенные духовные и душевные способности, по большей части составные, прикладные или производные: такие как память и внешние чувства, разнообразные влечения и бдящую над ними совесть; но ограничу обзор прежде всего следующими четырьмя основными способностями: рассудком и волей, разумом и фантазией, которые можно рассматривать как некие четыре противоположные конечные точки внутреннего мира, образующие словно бы четыре стороны света сознания в целом; а также обращаю внимание на четырехчастный раскол, дающий себя знать между этими четырьмя основными силами человека. Последний вполне общепризнан и царствует до такой степени безраздельно, что проявляется даже в самых повседневных явлениях и событиях. О чем свидетельствует то часто выносимое о столь многих, и даже о большинстве весьма замечательных людей суждение, что рассудок и воля у них не в ладу? Об одном говорят: он наделен величайшей проницательностью и обладает всеобъемлющими познаниями, остротой ума и глубиной суждения; он мог бы свершить многое, если бы только хотел; но он непостоянен и нетверд, бездеятелен и напроочь лишен характера; по существу, он сам толком не знает, чего хочет; причем, очевидно, в данном суждении речь идет не о страстях, или вызванных ими преступлениях нравственного закона, но лишь о внутренней недостаточности и слабости. — О другом же говорят: он преисполнен лучшего устремления, постоянно трудится и способен на любое жертвование, обладая твердым и непоколебимым мужеством; но при этом он настолько ограничен, близорук, лишен гибкости и пребывает во власти столь непобедимых предрассудков, что оказывается ни на что не годен, ибо всюду, где бы он ни испытал свои силы, дело идет вкось. — И если даже конфликт не всегда оказывается столь острым и вопиющим, то все же всякий легко может, судя по своему собственному сознанию, найти и дать самому себе ответ на вопрос, не коренится ли, тем не менее, этот раскол между рассудком и волей (или, по меньшей мере, предпосылка к нему) глубоко в нашем сокровенном и не является ли он по сути своей всеобщим. Откуда же еще может происходить то

высокое уважение, что мы выказываем в отношении всякого твердого характера, если не оттого, что он всегда есть редкое исключение, где рассудок и воля, внутренний помысел и внешний образ действия согласуются в совершенной последовательности; причем именно этой сплошной и непрерывной жизненной взаимосвязи, этой устойчивой гармонии, обоюдному соответствию идеи и ее воплощения, или силы, мы обязаны этим высоким уважением, даже если мы не вполне согласны с принципами, лежащими в их основании, или, еще того более, в сравнении с высшим идеалом нравственного совершенства и праведности, можем усмотреть в облике героя даже и нечто предосудительное идеалам нравственного совершенства и праведности; так часто происходит в историческом суждении и оценке великих исторических характеров, где величайшее восхищение тем или иным персонажем для нас отнюдь еще не означает полного одобрения всех его черт. Еще одно, несколько иного рода, сравнение, или сопоставление, возможно, представит в еще более ярком свете характерные свойства человеческого сознания в его нынешнем состоянии. Для того, чтобы охарактеризовать своеобразие сознания человека, обыкновенно устремляют взгляд вниз, на животных, прибегая к сопоставлению, после чего с великими трудами выводят, что, хотя человеческая организация и ее внутренний жизненный огонь, согревающая кровь души, все еще до некоторой степени родственна животной, то все же человек в качестве своего преимущества перед животными обладает разумной душой. Однако более плодотворно было бы здесь, по меньшей мере, до поры, не опускать очи долу, но держать их устремленными горе: это позволит обозначить некоторые характерные свойства человеческого сознания с наибольшей краткостью и остротой посредством сопоставления с другими сотворенными, или, как называет их поэт<sup>1</sup>, «избранными»<sup>2</sup>, духами, с которыми мы делим наше знание. Глубокого обоснования, или, напротив, сомнений, возникающих относительно веры в существование таких чистых духов, широко распространенной у всех народов и во всем древнем мире, я в своем нынешнем чтении не касаюсь, приняв в каче-

<sup>1</sup> Имеется в виду Шиллеровское стихотворение «Die Künstler» [«Художники»], где есть следующие строки:

Dein Wissen theilest du mit vorgezogenen Geistern,  
Die Kunst, o Mensch, hast du allein.

<sup>2</sup> Vorgezogene Geister (нем.) — предпочтенные [Богом] духи. — *Примеч. перев.*

стве точки опоры для сравнения одну лишь общую идею этих духовных сущностей, в том виде, как она была взята от начала. И здесь я хотел бы обозначить ранее упомянутые и описанные изменчивость и непоследовательность, слабость, и даже бесхарактерность как обычное состояние и присущее человеку качество, никоим образом не свойственное чистым духам в той же мере или вообще им не подобающее. У них рассудок и воля всецело едины, всякая мысль тут же обращается в деяние, всякое деяние в совершенстве продумано и свершается с осознанным намерением, вечно и всегда с одной и той же равно живой действенностью и непрерывной активностью, как в одном, так и в другом направлении, как в злом, так и в благом расположении. И таков также и дух, в котором рассудок и воля суть одно. Живой, деятельный рассудок уже есть дух, и точно так же в совершенстве осознающая себя воля. Духовная же сущность, или человек, в коем рассудок и воля лишены единства, будучи рассматриваем с этой стороны, есть разъятый, или разорванный, или же подвергшийся расколу дух, который может быть приведен к своей полной силе и своему живому единству лишь посредством нового высокого подъема и напряжения. — Гораздо более острым и бросающимся в глаза, нежели обычный и наблюдаемый везде и всюду раскол в человеке между рассудком и волей, является конфликт и противоположность между двумя другими основными способностями, или противостоящими оконечностями внутреннего мира сознания, а именно — между разумом и фантазией. Фантазия плодотворна, более того, она есть изобретательная и собственно творческая способность в человеке, однако она слепа и подвержена некоторым, и можно даже сказать, множественным, заблуждениям. Не столько, по меньшей мере не в равной мере, разум, как способность осмотрительности в человеке, внутреннее правило нравственного равновесия в его жизни. Однако быть действительно продуктивной, нечто поистине производить, или порождать, при помощи своего резонерства, она никак не способна; или же, если она того действительно пожелает, как это происходит в ложной философии или обычном бытовом умничании, она сможет произвести на свет лишь нечто мертворожденное, пустые мыслительные фантомы чистого Ничто. Едва ли может возникнуть необходимость проследживать этот конфликт между разумом и фантазией на великой арене общественной жизни еще дальше, или же пространно

говорить о том, что действительно разумные люди отнюдь еще не являются вместе с тем преимущественно гениальными, точно так же, как эстетические натуры еще не будут оттого всегда самыми разумными. Однако художественный гений именно потому и является столь редким исключением, что в нем духовные способности и силы души, обыкновенно встречающиеся лишь порознь и по отдельности, счастливо соединены друг с другом и плодотворно, в гармоническом согласии, друг с другом взаимодействуют; при этом именно творческая фантазия, играющая наиболее существенную роль во всех произведениях гения, мягко отмеряющая рассудительность и вдумчиво упорядочивающая и формирующая ясность суть те качества, которые непременно должны присутствовать во всяком истинном произведении искусства. Однако, безусловно, художественный рассудок есть нечто совершенно иное, весьма отличное от практического разума и разумности. Однако существует еще одно состояние, или качество души в человеке, в котором обыкновенно разделенные разум и фантазия теснейшим образом соединены, образуя совершенное единство; и это есть не что иное, как природосообразная, чистая, сильная любовь, и способность этой любви, которая есть сама душа, собственная сущность духовной человеческой души. Например, любовь матери к своему ребенку, в высшей степени природосообразная, сильная и глубоко коренящаяся. Никто не захочет назвать эту любовь неразумной, пусть даже она и должна оцениваться в соответствии с иным масштабом и, по меньшей мере, не может быть выводима из одних лишь выверенных разумных оснований, но, по сути, выходит за пределы разума. То и другое соединено в ней; будучи, однако, взят отдельно и особо, разум представляет собой лишь одну половину души, тогда как фантазия представляет собой другую; и лишь в любви душа пребывает в своей полноте и совершенной цельности, где обе половины из разделенного состояния вновь соединяются в совершенном сознании. Однако и для рассудка и воли чистая, сильная и нравственно упорядоченная любовь, когда она, произойдя из глубокого природного основания, сама превращается во вторую природу, а получив высшее, божественное освящение, обретает незримую и безмолвную власть, становясь душой жизни, — есть наилучшая и быстрее всего приводящая к цели основа для нивелирования этого глубоко укоренившегося между ними конфликта, после чего внутренний человек

приходит к гармонии с самим собой, а прежде разделенное сознание — восстанавливается в своей живой полноте, целостности и совершенстве, получив теперь возможность продолжать свою работу с удвоенной силой и плодотворностью.

Краткий обобщенный результат этих первых основных психологических черт, в том виде, как он требовался и был необходим для этой нашей цели и задачи, будет приблизительно таков. Обычное состояние нашего нынешнего сознания, в той его данности, в какой его обнаруживает наше внутреннее восприятие, есть, таким образом, состояние сознания, ввергнутого в двойной конфликт между рассудком и волей, и разумом и фантазией; сознания, расщепленного на четыре части, или, если можно употребить такое выражение, — четвертованного. Восстановленное же, живое и полное сознание есть сознание тройственное, или, если здесь будет позволено такое выражение, триединое: вновь воссоединенная в любви душа; заново пробудившийся в силе последовательной жизни дух; и, наконец, внутреннее чутье ко всему высокому и божественному; каковое третье звено, будучи всего лишь внешним носителем и подсобным инструментом для двух других, не может нарушить их внутренней гармонии. Возвращение же от расчлененного начетверо, связанного и разъятого, к живому тройственному, или триединому сознанию есть начало живой философии, и, более того, самой внутренней жизни — обновленной и достигшей иной высоты.

## **Вторая лекция**

Если мы рассматриваем целостного человека в его наружном бытии в чувственном мире и природе (к последней он, обладая телом, принадлежит и сам, будучи ее частицею), то, рассматриваемые в этом отношении и с этой стороны, три части, или три слагаемых его полной сущности, или бытия, суть: дух, душа и тело. И здесь уже не исключен раскол и конфликт между высшим, внутренним, духовным принципом, или бытием, и внешним миром, к коему, собственно, относится и наша чувственность. Природная потребность и органический природный закон телесной жизни есть одно, а нравственный закон внутреннего чувства, возвышенное требование устремленной в высоту мысли, глубокая потребность чистого духа — другое; и борьба между этими различными

законами, или жизненными укладами, — высшим и низшим — есть составная часть главной задачи, которую человек должен решать здесь в своем нравственном предназначении, или, по меньшей мере, самое ее начало и первые ее шаги. Конечно, также и эта чудесная организация, эта внешняя форма человеческого тела в самом своем расцвете, в тот или иной светлый миг одухотворенного выражения, в наивысшие моменты своего счастливого развития и благородного формирования являет собой воплощенный образ, или дивное отражение, совершенно иной, высшей, духовной красоты. И до сих пор еще печать небесного происхождения не вполне угасла и не без остатка стерлась в нем. С другой же стороны, оно подвержено бесчисленным немощам, страданиям, болезням и пагубам; так что всякий хорошо ощущает, насколько справедливы те изречения вечной истины, в коих о нем говорится как о теле смертном. Таким образом, в дополнение к двум высшим элементам всей человеческой сущности, духу и душе, третью составную часть образует во внешнем существовании это органическое тело, которое, в моем понимании, как раз и образует причину и повод для конфликта и борьбы. В самом по себе внутреннем человеке и в этих двух составных частях его высшей жизни, духе и душе, отнюдь еще не обнаруживается раскол; правда, и здесь те или иные моменты могут нарушать гармонию, а совершенное единство, возможно, наблюдается лишь изредка; однако, по меньшей мере, конфликт не заложен здесь уже в самих существенных свойствах этих принципов духа и души в качестве своего рода природной необходимости, как, например, противоположность между разумом и фантазией, рассудком и волей, в обычном состоянии четырехчастного сознания. Дух есть попросту более активная способность этого взятого в целом высшего принципа и его высшей жизни; душа же есть его более пассивная сторона. Я тщательно выбрал неопределенное выражение «более активная» или «более пассивная» способность духа или души; ибо совершенно пассивной чувствующая и любящая душа не может быть никогда; дух же, с другой стороны, никогда не сможет быть совершенно свободным и независимым: ибо он нуждается в сопровождающей его душе и в ее животворящем чувстве для обогрева и расширения его внутреннего пространства. В определенной мере дух и душа, а точнее, перевес первого или второй сам зависит от организации и органического родового отличия. По меньшей мере, в общем и

целом вполне можно сказать и считать истинным, что дух и мысль являются преобладающими у мужчины, чувство же и душа более характерны для женского рода; однако и здесь, в соответствии с неисчислимо большим разнообразием человеческих характеров и природных расположений, или в связи с в корне различными путями и формами воспитания и нравственного образования, находится множество исключений, а также дальнейших переплетений и отклонений от изначально простого отношения; и ни в коем случае это различие преобладающего элемента не должно ни пониматься, ни трактоваться как резкое обособление и одновременно разделение; напротив, во взаимодействии духа и души существуют известные переходы и точки слияния; и подобно тому, как существуют оригинальные мысли, особая живость ума, верное чутье и меткость суждения, которое есть суждение лишь сугубо и всецело чувственное, идущее из преисполненной чувства души, точно так же, в свою очередь, существуют те или иные чувственные впечатления, художественная, артистическая любовь и чисто интеллектуальное воодушевление, ведущие свое происхождение прежде всего от мысли и рассудка. Более того, даже в общем и целом характер этого разделения указывает на тем более глубокую связь и вызывает к существованию новые узы единства. Мысль и чувство — оба взаимно нуждаются друг в друге; как мысль обретает новую жизнь от соприкосновения с богатым, подвижным, легким и глубоким чувством, извлекая из него свою самую сокровенную пищу, точно так же и чувство пробуждается, укрепляется и возвышается лишь под воздействием устремления дерзкой и проницательной мысли. По меньшей мере, именно на этом основании зиждется прелесть дружеского общения, власть любви, счастье верно выбранного, внутренне глубоко обоснованного, с течением жизни все более и более укрепляющегося брачного союза, где одна половина, если брать ее чисто духовно, или, если хотите, психологически, обретает в другой естественное дополнение своей собственной сущности. Однако такое дополнение все еще может (пусть иным образом и на ином, более высоком уровне) быть понято как свидетельство существования известного рода бреши, которая, даже при самых богатых природных задатках, самом счастливом ходе развития и самом многостороннем духовном образовании, все еще имеет место в нашем сознании и во всем нашем сокровенном нутре, — если, конечно, кто-то



еще сохранил в себе склонность искать подобную брешь в той сущности, что содержит в себе полноту всякой силы и всякого бытия и от которой берут свое начало как дух, так и душа. Если бы мы захотели теперь помыслить себе небесное состояние наивысшего блаженства (каким мы, по меньшей мере, предполагаем его, каким мы можем и имеем право его предполагать в нашем чаянии и в нашей надежде), — то это было бы состояние, где дух и душа, обитающие в безднах вечной любви, покоятся в совершенной удовлетворенности; или, напротив, где они, пребывая между собой в самом живом единомыслии и со-чувствовании и будучи увлечены неиссякающим потоком вечной полноты Божества, глубоко сопричастны к его несказанной славе. Тело здесь уже исчезло и не существует или же существует, но в глубоко просветленном и преображенном виде, представляя собой не более, чем чистую световую обложку бессмертной души и духа, достигшего, наконец, своего полного освобождения; так что оно, собственно, уже более не отделено от этих последних, не может мыслиться от них в обособлении и, в сущности, ничем от них не отличается. Для такого состояния блаженства и совершенного единения с высшей сущностью, и даже для отдельных редких моментов духовного восторга, в которых человек порой уже здесь, пусть ненадолго, но все же способен привести себя в это состояние и живо его испытать, — для них третьим, соединительным, добавляющимся к двум основным силам внутреннего человеческого бытия и дополняющим их до совершенства, звеном будет сам Бог; точно так же, как, напротив, во внешнем чувственном мире именно тело образует собой эту третью составную часть, которая, наряду с двумя другими, сущностно необходима в этом внешнем мире для полного существования целостного человека. Будучи взят чисто психологически, и при том, что мы будем целиком и полностью держаться внутри указанной сферы внутреннего сознания, этот тройственный принцип человеческого существа и бытия никак не будет представлен, например, Богом, душой и духом, как для высшего блаженного состояния; ни духом, душой и телом, как во внешнем чувственном мире; но сей тройственный принцип сознания, который как таковой интересует здесь нас с вами прежде всего и образует сущностную основу для всех последующих выстроений, есть попросту дух, душа и чувство.

Еще весьма многое должно прибавиться к этой первой, начальной точке, или же быть выведено и развито из нее; и если



бы мы вдруг захотели тут же и одним взглядом охватить все многообразие этих следствий и сопоставить их меж собой, то это лишь привело бы наш разум в смущение; ибо множество вещей гораздо легче найдут в изложении свое место, если мы обратимся к ним позднее, так что едва ли своевременно будет пытаться говорить о них уже здесь. Также и для разговора об отношении, в котором чувство, как третье звено, состоит к двум другим элементам внутреннего человека и к сознанию, а равно и о том положении, которое оно, в сопоставлении с ними, занимает во всем целом, в дальнейшем ходе этого изложения весьма легко отыщется подобающее место, где удобно будет завести о нем речь и должным образом его осветить. Главным же образом сказанное относится к вопросу, который в этом отношении имеет решительную важность, а именно — к вопросу о том, не может ли та или иная духовная или душевная способность рассматриваться также и как внутреннее чувство, нравственный инстинкт, или непосредственное восприятие и созерцание высшего; сюда же следует отнести и то замечание, что даже в обычных внешних чувствах, коих правильнее и с научной точки зрения точнее было бы насчитывать три, а не пять, таится искра более высокого духовного восприятия, подобно тому, как внутреннее световое ядро фантазии скрывается в оболочке внешнего чувственного органа; как око художника образует такое ядро для красоты формы, прелести цвета и движения, а ухо музыканта — в материальных чувствах зрения и слуха; что даже эти внешние чувства не являются столь сугубо телесными, всецело материальными и грубо чувственными, какими они могут показаться на первый взгляд и в обычном представлении. Другой же вопрос, прежде всего встающий здесь перед нами и обладающий еще большей важностью для верного понимания целого, нежели вопрос об отношении, или о том месте, которое занимает чувство по отношению к двум другим элементам внутреннего человека и сознания — духу и душе, есть вопрос о том, не может ли оказаться так, что обе силы, или стороны, высшего принципа в человеке, активная и пассивная, по существу представляют собой одно и то же, а следовательно, в отношении их будут невозможны в собственном смысле ни дальнейшее различение, ни разделение. В пользу относительного разделения этих двух элементов (которые в человеке, конечно, объединены и должны быть объединены) говорит, однако, уже то выше упомянутое преобладание,

тот перевес, который обнаруживается в жизни то на одной, то на другой стороне. Еще одно, и еще более решительное основание полагать, что в действительности существуют два элемента, а не один-единственный под двумя именами духа и души, могло бы заключаться в сравнении с другими сотворенными духами, если только позволено будет еще раз обратиться здесь к однажды уже обозначенной параллели в однажды уже принятом предположении. Ибо сколь бы проблематичным ни казалось подобное сопоставление, оно все же может быть весьма полезным нам для того, чтобы с наибольшей ясностью обозначить характерные черты человеческого сознания. Сколь бы ни возвышались над человеком свободно сотворенные чистые духи энергией своей воли, вообще своей силой и деятельностью, затем быстротой и ясностью непосредственно созерцающего рассудка; сколь бы далеко ни превосходили они его этими своими качествами в сравнении с изменчивостью и слабостью его колеблющейся воли и медлительностью его столь часто ошибающегося рассудка: все же человеческий дух обладает отличительным преимуществом в свойственной ему плодovitости, которое не подобает и не может быть в той же мере признано за этими чистыми и светлыми природами. Притом именно душа здесь есть не просто то, что воспринимает, но также и внутренне воспроизводит, любовно формирует и придает новые образы, и именно на ней зиждется сия характерная для человека способность к творческой изобретательности: она есть то, что образует внутреннюю основу и корень, из которых эта способность возникает. Фантазия и ее зримый внешний образ и явление — искусство — есть лишь одна сторона этой способности. Однако и другая половина обозначенной душевной способности в целом — разум — направлена на ее истинную цель и, пребывая в своих естественных границах, представляет собой силу бесконечного духовного развития, нескончаемого продвижения и усовершенствования. И давно уже было сделано утверждение о том, что перфекциабильность (*Perfektibilität*), или способность к бесконечному совершенствованию, которой, правда, сопутствует столь же большая и не менее бесконечная возможность ухудшения, есть наиболее существенное и всецело своеобразное преимущество и характерное свойство человека. О другой стороне того же свойства, а именно, о плодотворной фантазии и ее творческих произведениях, высказано то же самое воззрение, что и здесь, в той же параллели и в том

же принятом предположении, в том же однажды уже приведенном поэтическом высказывании: «Dein Wissen theilest du mit vorgezogenen Geistern, die Kunst, o Mensch, hast du allein!» — Искусство лишь должно быть взято здесь в несколько более широком, в самом всеобъемлющем смысле, — так, чтобы в его сферу входил также и язык, и более того, он сам как раз и есть всеобщее, всеобъемлющее человеческое искусство; и нигде в такой мере не проявляет себя присущий искусству внутренний дар духовного плодоношения, данная ему способность к творческому изобретению, как именно в удивительном и многообразном строении человеческого языка. Человек — можно было бы вообще и в целом сказать о нем — есть в полной мере пришедшее к языку природное существо; или также: он есть дух, коему в виде преимущества перед всеми прочими существами во всем остальном творении дано, сообщено или препоручено слово — объясняющее и изображающее, направляющее, опосредующее и даже повелевающее; и именно в нем заключается его далеко превосходящее обычное понимание изначальное, дивно высокое достоинство.

Именно поэтому, наверно, будет естественно и сообразно самой вещи, т. е. природе и достоинству человека, если сравнительное сопоставление и параллели, там, где они могут служить точной характеристике человеческого сознания и присущих ему сил и свойств, будут, как я сказал, чаще обращены вверх, нежели (как это происходит обычно) — вниз, на животных и животное сознание — в той мере, в какой мы обычно готовы вообще признать сознание за животными. Я хочу теперь сделать еще один, дальнейший шаг в этом сравнительном сопоставлении, ибо я верю, что для совершенного понимания целого, равно как и для получения удовлетворительного в своей точности понятия об отдельных духовных способностях или душевных силах человека, будет полезно задаться вопросом о том, какие из них могут быть приписаны Божеству, а какие — нет. При этом я не намерен вдаваться в малопонятные исследования, которые здесь были бы неуместны или, возможно, даже вообще выходили бы за границы человеческого разумения. Я затрону и предположу лишь то, что давно уже признано общими человеческими чувствами, а также является общепонятным и не представляет никакой особенной трудности для уяснения. Если, однако, всеобщую человеческую веру в Бога и в божественный принцип я недолго думая предположу здесь как саморазумеющуюся, то

это произойдет в обоснованном и высшем намерении, ибо сомнение, которое может направляться и направляется на все и в том числе на высшее, поскольку оно также происходит или может происходить из человеческого духа, найдет свое место в этом представлении развития мыслящего сознания лишь гораздо позже, и его разрешение составит нашу важнейшую задачу. Теперь же, для нашей нынешней цели, как будет видно из самого примера, и в любом случае плодотворного сравнения, я ограничусь одним лишь следующим замечанием. То небольшое, что мы можем знать или с уверенностью сказать о Боге, будет заключаться в следующих, приблизительно, словах: Бог есть дух; и именно поэтому мы приписываем ему всеведущий рассудок и всемогущую волю. Оба эти качества, или силы, что само собой разумеется, пребывают в наисовершеннейшей гармонии и едва ли могут быть отделены друг от друга, тогда как в человеке они столь часто далеко расходятся или даже вступают во враждебное противостояние, действуя наперекор друг другу. Возникает теперь вопрос, можем ли мы приписать ему также и какую-нибудь иную из человеческих способностей и сил, которые человек признает за собою, или которые он находит в своем сознании, — такие, например, как рассудок и воля, — пусть даже и в большем масштабе и в гораздо более широком смысле? — Далее, хотя в творческой силе Бога содержится также и вся полнота плодотворности, а также и неиссякаемый источник всякой изобретательности, если мы имеем право дать этому такое название. Плодотворную силу воображения, или творческую фантазию, мы, однако, потому не можем приписать Богу, что тем самым (всякий сразу же может это ощутить) мгновенно переносились бы в область измышленных богов и мифологии. Столь же мало, строго говоря, в согласии с точным обозначением и верным выражением, можно приписать Богу в собственном смысле способность разума — ту, что в человеке противостоит фантазии. Разум есть связующая, выводящая следствия, опосредующая мыслительная способность; все это, однако, и подобное образование мысленных рядов или рядов представлений не применимо в отношении Бога, в котором, напротив, все может мыслиться лишь как предстоящее ему и исходящее из него одновременно и разом; посему, строго говоря и согласно точному и острому выражению одного в высшей степени верного обозначения, ему может быть приписан лишь непосредственно познающий и одновременно созерца-

ющий рассудок (Verstand)<sup>3</sup>, однако не разум (Vernunft), под коим лишь в случае величайшего языкового злоупотребления и извращения понятий может подразумеваться способность интеллектуального созерцания. Есть лишь один вид разума, который является непосредственно созерцающим, а именно — совесть, или нравственный инстинкт для различения того, что хорошо или дурно, справедливо или несправедливо. Ее можно назвать прикладным разумом, а именно, разумом, относящимся к воле и ее глубочайшим движениям и тем только лишь еще зарождающимся намерениям, из коих лишь позже образуются внешние действия. Однако именно поскольку совесть есть непосредственное восприятие справедливого и несправедливого, нравственный инстинкт, различающий добро и зло, в своей форме, следовательно, решительно отличающийся от выводящего следствия, опосредующего разума, то я все же не хочу называть ее этим именем, но скорее обозначу ее как особую, стоящую отдельно посредине между разумом и волей, внутреннюю душевную способность. В любом случае излишним будет напоминание о том, сколь неуместно было бы называть этим именем тот предостерегающий или карающий взгляд судии, коим Бог прозревает и проникает глубины сердец, хотя здесь и нужно искать первоначальный источник и корень ясного и простого откровения голоса совести, которая, однако, как свойство, может быть приписана лишь тем существам, которые, подобно человеку, видят простертый над собою закон Бога, однако никак не тому, которое само образует средоточие всех проистекающих из этого источника нравственных законов. Если теперь, тем не менее (дабы вернуться к первому вопросу о предикате разума), в наших господствующих ныне системах и в особенности в новейшей немецкой философии Богу приписывается разум, или же сам вечный, абсолютный разум называется Богом, и так обозначается его сущность; то это связано со все еще преобладающим пантеистическим направлением этих систем, где Божество отождествляется со вселенной и сливается вместе с ней во Всеединное Существо; а поскольку это

<sup>3</sup> В предыдущем томе серии уже отмечалось, что в авторском употреблении термины «рассудок» (Verstand) и «разум» (Vernunft) имеют значение, противоположное тому, что мы привыкли видеть в русском языке, где рассудок есть аналитическая способность раскрытия понятий и построения выводов, разум же действует в сфере непосредственного постижения и созерцания. Читая сочинения Шлегеля, следует постоянно иметь в виду это расхождение. — *Примеч. перев.*

последнее все же не может быть просто всепоглощающей, всепорождающей бесконечной жизненной силой языческих природных систем, но должно получить более научное определение; то для такого совершенно абстрактного обозначения Всеединого Существа не остается никакого иного выражения, кроме как *та способность, которую образует принцип единства, действующий также и в человеческом сознании*. — Правда, некоторые отдельные великие учителя в прошедшие столетия пользовались весьма схожими или почти совершенно такими же выражениями о разуме в применении к Боже-ству, мне все же кажется, что это может быть оправдано или объяснено лишь как исключение из правила индивидуального словоупотребления и индивидуальной точки зрения; и в таком случае здесь будет надежнее всецело придерживаться старого словоупотребления, следовать коему я положил для себя за правило. Если же кому-то так уж хочется перевернуть это старое словоупотребление, поменяв и спутав обозначения разума и рассудка в их прежнем смысле, то естественно, в конечном итоге все сведется к самой вещи, ко внутренней мысли и собственно выражаемому мнению, так что мы, пожалуй, всегда сможем довольно легко прийти в этом отношении к взаимному пониманию и согласию. Однако у большинства нынешних писателей и новейших философов это отнюдь не могло бы быть так; здесь важнейший вопрос, лежащий в основе и чаще всего решающий в отношении этих различных словоупотреблений и приоритета, предоставляемого разуму или рассудку, звучит так: должна ли философия вообще быть философией разума (Vernunftphilosophie) в духе мышления рационализма, либо это должна быть высшая философия духа и духовного откровения, или даже божественного опыта. Если теперь, далее, в древнем языке Богу приписывается память, или желания и устремления, обозначаемые почти совершенно такими же именами, как человеческие вожеления и страсти, то здесь дело обстоит в точности так же, как когда речь идет о его всевидящем оке, его слухе, его сильной деснице: это символические выражения, а значит, нечто совершенно иное, нежели когда за ним действительно в строго научном смысле признают рассудок и волю или когда возникает вопрос, могут ли ему быть равно приписаны сила воображения и разум. Столь же мало Богу в собственном смысле может быть присвоена душа, ибо последняя есть пассивная способность, тогда как в нем все есть сила и деятель-

ность. Тем не менее также и это выражение о душе Бога в качестве исключения можно встретить у некоторых немногочисленных древних писателей. Более верно мы могли бы, пожалуй, выразить это, сказав, что Бог есть любовь и именно она есть его сущность; или если бы мы, более в форме живой силы и свойства, стали говорить о божественном отеческом сердце как о средоточии его существа, о всемогуществе, всеведении и бесконечной любви, происходящей из того и другого. Безусловно, также и это выражение об отеческом сердце и вообще о сердце Бога является лишь символически-образным, однако в некоем высшем смысле, а потому оно отнюдь не представляет собой один только образ, лишенный значения; ибо и глубокая духовная философия с давних пор, от Платона и до Лейбница, зачастую намеренно выбирала такие символически-образные выражения для того, что по сути своей невыразимо, оказывая именно им гораздо большее предпочтение, нежели абстрактно-пустым, ничего не говорящим понятиям разумных систем нашей мертвой метафизики Ничто.

Таким образом, уже первый предпринятый нами шаг, или опыт в этой сравнительной психологии высшего порядка, привел нас к самому крайнему пределу постигаемого; причем, однако, именно на этом пути некоторые преимущественно важные моменты и существенные свойства и силы, равно относящиеся к сфере нашего психологического исследования и сознания в целом, могли бы быть затронуты и получить должное освещение по ходу изложения. Я теперь вновь обращаю взгляд к той точке, из которой мы исходили. Дабы положить должное и верное начало Философии Жизни в самом центре этой внутренней жизни и всего сознания, мы взяли в качестве отправной точки свободное самоощущение уже самого первого психологического восприятия всеобщего и множественного раскола, затрагивающего все наше совокупное существо, а затем так же глубоко корнящегося конфликта, разделяющего собою четыре основных силы сознания в их обычном состоянии, согласно двойной противоположности рассудка и воли, разума и фантазии. Я хочу здесь добавить лишь то замечание, что есть и еще одно существенное основное качество человека, а также всецело свойственное ему и характерное для него состояние, которые находятся в тесной взаимосвязи с упомянутым внутренним расколом и всепроникающей двоякой противоположностью, и равно ими обуславливаются, а именно, свобода воли и состояние сомнения.



Такая свобода воли, подобающая человеку, которая совершенно отлична от той, что свойственна Богу или даже только первосозданным чистым духам. Эта свобода воли, однако, имеет столь глубокое и прочное основание в нашем внутреннем самоощущении, что всеобщая убежденность в ней никогда и никакими средствами не могла быть ни поколеблена и обманута, ни всецело вытравлена и истреблена из человеческой груди, ибо даже после величайшего потрясения, какое способна претерпеть наша вера в себя самих в ходе размышлений и неустанных поисков, даже после, казалось бы, самого победоносного и разгромного опровержения этот врожденный нам божественный предрассудок нашей свободы (если мне позволено будет назвать его так) тут же вновь и как ни в чем не бывало возрождается в нас из пепла мертвящих сомнений (которые, однако, сами в свою очередь были порождениями мертвых понятий и фантомов ложной и иллюзорной мысли) как необоримое пламя высшей духовной жизни. Эта свобода есть свобода выбора, т. е. воли, сперва колеблющейся то в одну, то в другую сторону между двумя отличными рядами мыслей и противостоящих друг другу аргументов и контраргументов, и, наконец, решающейся в пользу того или другого. Вот только воля эта по природе своей отнюдь не отличается твердым характером и часто с величайшим трудом приходит к решению; но даже после того, как оно принято, она может вновь впасть в неуверенность и начать колебаться в сомнениях. Или же эта свобода выбора в человеке может быть понята и обозначена как свобода рассудка, а именно, рассудка, проводящего сравнение между двумя различными волями, тщательно взвешивающего доводы в пользу одной и другой и, наконец, отдающего одной из них предпочтение в своем окончательном решении. Безусловно, следовательно, эта свойственная человеку свобода воли для выбора тесно и сущностно связана с этим врожденным ему, или, по меньшей мере, ставшим для него второй природой, конфликтом между рассудком и волей. Я назвал это всего лишь присущей человеку свободой воли, ибо если бы мы тут же захотели предположить, что и в случае существования каких-либо иных созданных свободными существ наша особая форма, или наш особый способ, такой свободы для них также будет единственно возможным и мыслимым, то подобная мысль была бы всецело произвольной и в ней не было бы ни малейшей необходимости. Это, здесь, безусловно, лишь гипотетически до-



пущенное сопоставление и сравнение (коль скоро оно служит лишь тому, чтобы сделать более ясной и удобопонятной для нас самих присущую нам форму сознания, что весьма быстро достигается через опыт или наглядный пример), мы вполне можем позволить себе для нашей цели, и в этом смысле можно было бы, пожалуй, добавить еще приблизительно следующее: нам следует мыслить себе свободу блаженных духов, которая совершенно отлична от человеческой, как свободу существ, которые давно уже оставили позади испытательный период еще не совершенного выбора или еще не выигранной битвы, или которые с самого начала были освобождены от прохождения такого периода решением Творца и таким образом уже обрели вечную свободу одновременно с ничем не нарушаемым и не могущим быть нарушенным миром в Боге, который есть средоточие и неиссякаемый источник, а равно неисследимая бездна и изначальное основание всяческой свободы и всяческой жизни.

Но даже если отвлечься от свободного выбора для действительной жизни, для отдельных ее предметов и моментов; если отвлечься, таким образом, от свободы, направленной на внешние действия и внутренние движения воли, содержащие в себе начальное основание и сокровенный зародыш первых, и от происходящего из нее состояния порой длительного колебания и неуверенности, — то даже и в чистом мышлении, взятом как таковом, равно существует подобное состояние внутреннего колебания и сомнения, т. е. мышления, вступающего во враждебное противостояние даже с собственным сознанием и мыслью, подрывающего и разрушающего, отрицающего и уничтожающего мышления. Когда мы всецело предоставлены самим себе, нимало не оглядываемся на внешнюю жизнь, не ощущаем какого-либо определенного стремления к тому или иному действительному успеху и заняты спокойным созерцанием внутреннего потока нашей мысли, то, с одной стороны, мы испытываем напор внешних впечатлений и различных порождений собственной никогда не утихающей способности мышления, грозящих захватить власть над нашим внутренним (*Gemüth*) и увлечь его за собою; с другой же стороны вмешивается разум, вопрошая, сомневаясь, химически разлагая и в конце концов превращая все и вся в совершенное ничто. Он заявляет, что все это собственное мышление безосновательно и ничтожно, что оно сплошь состоит из простого обмана чувств, мимолетных

капризов произволения, предрассудков нашей ограниченности и воздушных замков фантазии. Таким образом, вечно волнующаяся река внутренней жизни и мышления представляет собой не столько *один* поток, спокойно несущий свои воды от возвышенного источника через спеющие поля к широко раскинувшемуся морю; сколько она есть некое подобие двойного течения, струи которого пробиваются через скалы и утесы, устремляясь во встречных направлениях, сдерживая друг друга и сталкиваясь друг с другом в пенящейся и бушующей стихии отчаянной и болезненной схватки мысленного противоборства; или, что еще более опасно, при видимо спокойной и гладкой поверхности, образуют водоворот, который при первом же неосторожном приближении неуклонно и беспощадно увлекает боримую и колеблемую ветрами крохотную ладью человеческого бытия в свою губительную пучину. Натуры, в жизни коих сомнение и внутренняя борьба завершается в конечном итоге наступлением отчаяния, несущего безвозвратную духовную и душевную гибель всего высшего существа и всей веры, суть, по меньшей мере, от рождения, натуры чаще всего выдающиеся и благородные; предрасположенность же к такой борьбе и к состоянию сомнения (которую я даже склонен рассматривать как одно из характерных свойств человеческого существа) является всеобщей и имеет свое основание уже в самом расколе между разумом и фантазией, столь глубоко корнящемся в нашей природе. Ибо даже если над характером, пришедшем в отношении себя к ясности и окрепшем для жизни, уже не властно сомнение в том, что касается преимущественно определяющего и направляющего жизнь образа мысли и высшего умонастроения, но все уже достигло в нем полноты силы, твердости, решительной определенности и зрелости; то все же сомнение (в отдельных случаях и касательно некоторых, пусть и подчиненных этим первым основополагающим законам истинной жизни, но оттого никак еще не маловажных предметов), даже в этом счастливом случае уже положенного твердого начала и прочного основания, возвращается еще достаточно часто для того, чтобы мы вынуждены были заметить или признать, что такое состояние, по всей видимости, должно относиться к числу характерных свойств человека, определяемых его предназначением, и что внутренняя борьба мышления и предрасположенность к сомнению, скорее всего, образуют некую часть от совокупной жизненной борьбы, написанной нам на роду.

Я нашел основание этой предрасположенности уже в первом изначальном расколе между разумом и фантазией, и здесь, как и в других местах, воспользовался, в целях краткости, этим наименованием; однако сейчас хочу по этому поводу лишь заметить, что сила воображения отнюдь не ограничивается поэтическим и изобразительным искусствами и их произведениями, но что она, подобно отрицающему разуму, действует во всяком вообще продуктивном мышлении, равно и в научном; и что здесь речь о ней шла прежде всего именно в этом последнем отношении, согласно которому борьба или состояние сомнения происходит именно из противоречия между продуктивным и отрицающим мышлением.

Дополнением к упомянутому первому психологическому восприятию внутреннего раскола в нашем разделенном на четыре части сознании (который я поначалу решил обозначить лишь в самых общих чертах, а теперь постарался представить возведенным в более высокое значение, одновременно дав ему и более глубокое обоснование) и в качестве второго звена в ходе мысли этого философского исследования послужила идея в тройном смысле живого и теперь уже достигшего полноты своей действенности сознания, согласно простому членению на дух, душу и чувство — идея, которая послужит нам неизменной основой на протяжении всего дальнейшего развития во всей этой сфере психологического самомышления; ибо сам этот переход от обычного состояния пребывающего во внутренней борьбе и разделенного на четверо сознания к сознанию воссоединенному и трижды живому, образует собой начальную ступень и первый шаг в нашей, исходящей из жизни и ведущей к жизни более высокой, философии. — Однако среди этих счастливых моментов единения, или высших свойств некой более концентрированной силы, которые, даже при обычном состоянии такого поделенного на четверо сознания, уже свидетельствуют об известном живом взаимодействии обычно разрозненных духовных способностях или душевных сил и имеют своим следствием, в своих действиях и произведениях, восстановленную, по меньшей мере в отдельных своих моментах, гармонию этого прежде разъятого целого нашего внутреннего бытия, я в первую очередь назвал внутреннюю твердость характера, высшую степень последовательности воления, мышления и действия; затем истинный художественный гений в творческих свершениях поэтической или пластической фантазии; наконец,

бескорыстная и сильная, великодушно приносящая себя в жертву, любовь, выходящая за все границы разума, но оттого не могущая еще считаться одним лишь плодом воображения или обманом фантазии, ибо она, напротив, представляет собой глубоко сокровенную природную силу человеческой души и, более того, она есть ее подлинная сущность. Но в какой бы мере внешнее действие и проявление этого высшего душевного принципа любви ни умалялось и ни ослаблялось под воздействием мутной примеси земной жестокости и страстного неистовства (так что явление чистого и совершенного образа любви в реальной жизни встречается едва ли не реже, чем самые высокие произведения истинного художественного гения), — все же лишь здесь можно вести поиски начала, истинного и первого основания для высшего и живого мышления, а равно и для его науки. Истинно любящая душа нуждается лишь в начальном импульсе и в водительстве со стороны созревшего в божественном опыте духа; так что это воссоединившееся и достигшее полноты и тройственной силы сознание и внутренняя жизнь даны сами собой и уже в первом, рождающем искру, соприкосновении; точно так же, как, напротив, дух, устремляющийся в своем высоком порыве к божественному, для достижения своей цели нуждается лишь в таком воспламеняющем соприкосновении с любящей душой. Однако, кроме указанного, привлекающего к себе наше внимание, феномена, существует еще и другой — великий и охватывающий собой гораздо более обширные (даже во внешней, действительной жизни и в историческом опыте) сферы, — который также относится к ряду связующих элементов, или объединяющих принципов, обычно разделенного сознания; и этот феномен есть удивительно многообразный и, тем не менее, весьма искусно упорядоченный человеческий язык. Язык есть живой продукт целого внутреннего человека, и все обычно разделенные духовные силы или душевные способности, каждая на свой лад и в свою меру, принимают участие в его совместном произведении. Несмотря на то, что в нем все еще налицо некоторые явные следы внутреннего расчленения, а совершенная гармония цельного и пребывающего в живом взаимодействии своих частей сознания здесь также представляется редким исключением, встречаясь лишь в высших произведениях поэтического или какого-либо иного находящего свое выражение в речи и языке художественного гения, да и там чаще всего — лишь в

отдельных, наиболее ярких и удачных моментах его творчества. Все четыре основные силы сознания имеют здесь приблизительно равную долю участия. Грамматический строй, внутренняя структура, правила словоизменения, или склонения, и образования словосочетаний относятся к разуму, вся же образная часть в языке (а сколь обширна она, и сколь глубоко проникает она собой первое, первоначальное и отнюдь не всегда до наших дней сохранившееся, естественное значение слова) есть достояние фантазии; четкость и определенность внешнего членения и красота и ясность того или иного языкового произведения в целом, будь оно чисто поэтическим, общественно-риторическим или научным, — есть дело рассудка. Точно так же на долю рассудка, глубоко постигающего и с ясной определенностью обозначающего всякую самобытность, должно быть отнесено и все то характерное, что не ограничивается одним лишь звериным, природно-диким криком или же детски-наивным подражанием внешним звукам; но те гораздо более глубокие и духовно значимые характерные черты, которые обнаруживаются и чуть ли не явственно обращаются к нам в изначальных корневых слогах и словах древнего и чистого первобытного языка — в том случае, если мы не захотим приписать все это скорее непосредственно постигающему, способному к чудесному сопереживанию и пониманию, естественному чувству. Магическую же силу властной и повелительной, одною лишь собой увлекающей все и вся, воли можно воочию наблюдать по меньшей мере в тех или иных особенно ярких местах одухотворенной и захватывающей речи или прекрасного в своем поэтическом совершенстве описания, где она одними лишь едва произносимыми и, тем не менее, столь прозрачно-ясными словами и выражениями производит на родственные и восприимчивые души действие, подобное огненному удару электрического тока.

Но прежде чем я попытаюсь глубже вникнуть в вопрос о возникновении языка, или, скорее, о верной идее этой всеобъемлющей и чудесной языковой способности как наиболее удивительной черты и наивысшего отличительного свойства человека, я хочу сперва обратить внимание на внутреннюю связь между речью и мышлением, которая представляется в высшей степени взаимной. Ибо как речь должна рассматриваться лишь как сделавшееся внешним и зримым мышление; точно так же и само мышление есть лишь внутренняя,

потаенная речь и нескончаемый разговор с самим собой. — В высшей степени простым видится нам сознание животных (в той мере, в какой мы считаем себя вправе приписывать им таковое), однако печальным в своей глухой ограниченности; хотя и здесь слышны порой мелодические ходы некоего голоса, лишенного как разума, так и, по всей видимости, сознания; в них нам грезятся отзвуки какого-то лучшего прошлого, затерянные следы древних воспоминаний и пронзительный, жалобный стон глубокого и мучительного томления. Всего этого будет вполне довольно, чтобы в совершенной наглядности представить нам понятие тоскующей по своему избавлению, стенающей твари. В высшей степени простым, но в ином смысле, является, по всей видимости, сознание, или мышление, свободных духов в их чистом действии (в том виде, как мы мыслим и должны мыслить себе этих последних): оно подобно ниспадающему и проникающему собой, словно молния, все окружающее пространство световому лучу. Однако удивительно и загадочно переплетенным, путаным, представляется столь многообразно богатое и вместе с тем столь изменчиво-подвижное человеческое сознание; такое впечатление оставляет по себе всякий серьезный и пытливый взгляд в неисследимую глубину нашего собственного сокровенного существа. И точно так же, как в тройственно деятельной силе сознания, вновь ожившего и достигшего свой полноты, всегда может быть указано некоторое сходство человека с прежним божественным образом, мы испытываем склонность усматривать в этой неисследимой бездне человеческого сознания некий утраченный след подобного рода, который, однако, дает о себе знать совершенно иным образом и чаще всего являет себя преображенным в свою полную противоположность. И часто, когда стремящаяся осознать себя мысль или тайно живущий в нас мыслитель уже начинает думать, что он уже разрешил загадку своего сознания и способен на высшей ступени самодовольства и проникательности объяснять и верно истолковывать многозначительные и глубокомысленно темные слова этого внутреннего сфинкса, он именно в этот самый момент, подобно Эдипу, осознавшему свой жалкий жребий, бывает поражаем еще более губительной и еще более неисцелимой слепотой в отношении всей бездны своего заблуждения, в которое он неприметным образом впал и в котором успел увязнуть по самую макушку. Вечно стремясь ухватить изменчивого Протея своей собственной

самости, наше мыслящее и ищущее в отсутствие всякой иной путеводной нити Я может иной раз впасть перед лицом этих внутренних загадок бытия в странное удивление, а иной раз, пожалуй, и быть объатым потаенным страхом, однако ему никогда не удастся без сторонней помощи и лишь из себя самого обрести предмет своего стремления, найти выход из мысленного лабиринта своей трагической слепоты и достичь гармонии с самим собой.

К слову, наша внутренняя двойственность, или раздвоенность (я беру здесь это выражение не в обычном его моральном понимании, но в чисто психологическом и высшем, более метафизическом, смысле), настолько сильно укоренена в нашем сознании, что даже когда мы одни или думаем, что мы одни, — мы все еще продолжаем мыслить вдвоем и видим, что так обстоит дело и в нашем мышлении, в результате чего нам приходится признать сущностно драматический характер нашего глубочайшего бытия. Разговор с самим собой, или вообще внутренняя беседа, есть настолько естественная форма человеческого мышления, что даже святые отшельники прошлых веков, посвятившие в египетской пустыне или в уединенной альпийской келье половину своей жизни созерцанию божественных вещей, зачастую не умели описать результат таких наблюдений иначе, или облечь его в какие-либо иные формы, кроме беседы души с Богом. И не есть ли, собственно, истинная молитва во всех религиях также некий род беседы, доверительное открытие своего сердца перед всеобщим Отцом или детский вопрос, обращенный к нему? — Но, дабы тут же, одним прыжком, перейти к противоположной стороне предмета, скажем, что даже и в классических произведениях образованной древности, в эпоху, когда эти глубинные залежи любовного чувства еще не получили столь всеобщей известности, еще не были до конца открыты и разведаны, мы вновь находим то же самое явление, хоть и в совершенно иной форме, а именно, в форме духовной ясности и бодрости, в утонченном изяществе украшения и изысканности языка. Я имею в виду ту характерную для речей и поучений Сократа иронию, которую мы видим главным образом в сочинениях Платона и лишь некое подобие которой все еще можно наблюдать в некоторых из первых поэтических творений. Ибо что представляет собой та мудрая ирония пытливого ума и высшего познания в сократовском или платоновском духе, если не выражение внутренней ясности и гармонии, коих



сознание и мысль, преодолев множество тайных противоречий, достигли в своем глубочайшем стремлении к высшей цели? — Тем не менее я должен здесь напомнить, что это слово в современном употреблении опустилось на несколько ступеней ниже в сравнении со своим первоначальным смыслом и зачастую понимается так, словно бы оно означало всего лишь насмешку. Но в своем первоначальном сократическом понимании, в том употреблении, в котором оно встречается в трудах Платона и которое засвидетельствовано всем ходом мысли и всей внутренней структурой этих произведений в их совершенной мере и пропорциях, ирония означает как раз не что иное, как удивление мыслящего духа самому себе, порой выливающееся в тихую улыбку; и напротив, также и эта усмешка духа, которая, однако, под видимым поверхностным весельем нередко таит в себе глубокий подспудный смысл, другое, высшее и серьезное значение. Но в этом чрезвычайно драматическом представлении поступательного хода мысли в сочинениях Платона форма беседы настолько сущностно преобладает, что даже если мы уберем все надписи с именами действующих лиц, все обращения и ответы на них, вообще все и всяческие атрибуты диалога, пытаясь извлечь одну лишь внутреннюю нить мыслей в их связном движении, — все целое, тем не менее, останется беседой, где всякий ответ вызывает очередной вопрос, а движение свершается в постоянной смене обращения и отклика или, скорее даже — мысли и ее противоположности. И, конечно, пусть эта внутренняя разговорная форма и не может считаться повсеместно применимой и не есть абсолютная необходимость, однако для живого мышления и для его изобразительной передачи является если не всецело сущностной, то, по меньшей мере, весьма приличествующей и естественной. И в этом смысле даже связная непрерывная речь одного человека может быть подобна разговору или принимать вид и характер последнего. Более того, я могу признаться в том, что после того, как я поставил здесь своей целью достичь наивысшей ясности в развитии мысли, я бы поверил в достижение этой своей цели прежде всего в том случае, если бы эти доклады в некотором смысле произвели на вас впечатление беседы, представившись как ряд вопросов, которые (по меньшей мере, отчасти, и если не все, то хотя бы некоторые из них) находили у вас молчаливый внутренний отклик; или даже более того, если бы вы во всем целом этого изложения смогли найти, пусть не



дающие окончательное решение, но все же глубоко вникающие в предмет и указывающие путь дальнейшего исследования ответы на те или иные вопросы, возникшие в вашем собственном мышлении и продиктованные вашей собственной жизнью.

### Третья лекция

Подлинная ирония (ибо ведь существует еще и ложная; лишь это одно замечание я считаю нужным присовокупить ко всему ранее сказанному) есть ирония любви. Она возникает из ощущения конечности и собственной ограниченности и из видимого противоречия этого чувства заключенной во всякой истинной любви идеи бесконечного. Точно так же, как и в реальной жизни, в любви, направленной на тот или иной земной предмет, добродушное и легкое подшучивание над кажущимся или действительным мелким несовершенством ближнего будет уместно и произведет благоприятное впечатление именно там, где обе стороны уверены в своей взаимной любви и глубокая проникновенность этой любви не терпит более никаких добавлений. Точно так же это верно и в отношении любой другой, даже самой высокой, любви, и так же точно здесь кажущееся или действительное, однако несущественное и малозначительное противоречие не может упразднить бесконечной идеи, лежащей в основании такой любви, но напротив, служит ее подтверждением и укреплением. Однако лишь там, где любовь уже очистилась и достигла высочайшей степени своего развития, внутренне укрепились и пришла к совершенству, такое кажущееся противоречие, содержащееся в любовной иронии, уже более не может служить помехой для высокого чувства. И какое еще иное основание могла бы иметь или признавать действительным Философия Жизни, если не такое понятие любви? Оно как раз и есть та предпосылка жизни, и именно внутренней жизни, о которой я сказал, что она есть единственная, в которой нуждается философия и из которой она должна исходить. Далее, эта любовь должна быть действительно испытанной, или внутренне пережитой, а ее понятие должно быть почерпнуто из собственного чувства и из опыта этого чувства.

В полную противоположность самоизобретенным системам господствующей в наше время философии, Философия

Жизни вообще есть наука внутреннего духовного опыта, которая исходит из одних лишь фактов и везде и всюду зиждется на фактах, даже если те факты, на которые она опирается или ссылается, принадлежат иной раз к более высокому порядку. В таком высшем отношении и в высшем смысле слова философия, пожалуй, может быть названа божественной опытной наукой. Если бы человеческий род в целом никогда не имел опыта богообщения, если бы человек вообще неспособен был испытывать Бога, что мог бы он о нем знать? Такое знание безо всякого опыта было бы лишь домотканым произведением собственного Я, плодом внутреннего воображения, простым рефлексом разума и внутренней пустоты; и на этом пути трудно было бы избавиться от всего лишь идеалистического понятия о Боге или, по меньшей мере, от подозрения в том, что он именно таков, каким в данном случае мыслится. И действительно, в некоторых произведениях, системах мышления и развитых понятиях привычного нам самодетельного умствования речь о Боге ведется именно в такой плоской манере, и именно здесь нам предлагается такое чисто формальное и пустое о нем понятие, так что о подобных речах вполне можно сказать, как это часто случается в других науках: так обстоит дело или так говорят лишь там, где отсутствует даже малейшее понимание существа дела, где, как это видно уже с первого взгляда, нет даже малой толики собственного восприятия, и нигде не лежит в основе действительно пережитый опыт.

Поскольку, далее, Философия Жизни, пусть даже только в наивысших своих точках и лишь на верхней ступени, есть божественная, но притом везде и всюду внутренняя и духовная опытная наука, само собой ясно и то, почему она столь легко и охотно входит в содержание и других опытных наук, в особенности тех, которые стоят уже в более тесном соприкосновении с человеком, как это имеет место с естествознанием, в тех или иных его разделах и отраслях, и в еще большей степени — с историей и языкознанием, которое интересует нас здесь в первую очередь, — с тем, чтобы заимствовать из них те или иные подтверждающие доводы, или сравнительные примеры, используя их к вящему внутреннему прояснению и многообразию развития или же для большей широты применения отдельных случаев на другие области жизни или знания. Философии лишь не следует при этом ни переходить свои границы, ни забывать о своей цели,

а следовательно, она не должна чрезмерно теряться в специальных областях других наук, дабы ненароком не заплутать в совершенно чуждых ей сферах; но она должна более и более ограничивать себя точками, преимущественно касающимися человека, а также смысла и духа целого, держась и преимущественно выделяя лишь его.

Вопрос же о возникновении языка, или, вернее сказать, вопрос о том, как, собственно, человек пришел к обладанию этой удивительной способностью или этим удивительным даром языка, образующего столь значительную и важную часть его сущности, — если он берется всего лишь как предмет исторического исследования и философской учености, и если он должен обсуждаться и решаться лишь с этой стороны специального языкознания, — именно по этой самой причине лежит вне очерченного здесь круга внутреннего жизненного опыта, психологического мышления и знания. Лишь два все еще довольно широко распространенных мнения о так называемом возникновении Единого Первоначального Языка всего человеческого род, или даже одновременно возникшего множества первоначальных языков — поскольку они являются помехой для образования верного взгляда на существенную внутреннюю взаимосвязь языка, или речи, и мышления, — я хотел бы обойти стороной, а потому прежде упомянуть здесь о них в нескольких словах. Одно из них основывается на ошибочном предположении, и само является ложным, стоя в очевидном противоречии с ныне известными нам фактами; другое же, если само по себе и не является ложным, то все-таки строится на большом недоразумении или, по меньшей мере, в том виде, в каком оно ныне преподносится, включает в себе таковое. — Первое состоит в том, что язык вообще, или даже сразу целое множество языков — каждый сам по себе и независимо один от другого развившиеся языки радикальным образом между собой различающихся человеческих племен, которые, согласно этому воззрению, одновременно на всей земной поверхности выкарабкались из первобытного ила, или из первобытной грязи, — возникли всецело естественно: с одной стороны, из одних лишь звериных возгласов и многообразных природных звуков, радостно ликующих, неистово гневных, алчно требовательных или полных страдания; с другой же стороны, из всецело машинального подражания шумам и из детского, ребяческого передразнивания всего, что воспринимается слухом. Ведь

и ныне еще можно наблюдать, как дети в общении между собой употребляют подобные звукоподражательные слова и каламбуры: язык же из этого малого и невзрачного начала лишь весьма и весьма постепенно, с крайней медлительностью развился до нынешней ступени разума, грамматической и формальной упорядоченности. Того, что оба элемента: звериный природный крик и машинальное воспроизведение слышимого — содействовали развитию языка, отрицать никоим образом нельзя; однако такое способствующее влияние имеет место не везде в равной мере. Более всего оно наблюдается в тех языках, которые вообще стоят на самой нижней ступени. В других, уже с самого начала и в своем самом раннем облике духовно весьма значительных и обладающих прекрасной членораздельностью, языках оно уже едва приметно и не может рассматриваться как всеобщий и полный принцип объяснения для всего феномена языка во всех его проявлениях и отраслях. Против такого намерения говорит уже тот факт, что именно самые благородные, наиболее образованные языки выказывают тем большее богатство и разнообразие форм, и в то же время тем более высокую закономерность и простоту строя, чем глубже исследование проникает в самые древние их состояния. Так обстоит дело, в частности, с индийским языком в его сравнении с греко-латинскими или с иными родственными ему языками Запада и Севера. С другой стороны, во многих языках, которые, на первый взгляд, относятся еще к самой низшей ступени духовного развития и в целом весьма одиноко стоят в кругу прочих, при ближайшем знакомстве были отмечены удивительная искусственность во всем их строении и составе, как происходило, например, с баскским, лапландским или с различными американскими наречиями. В китайском языке такая странная и неуклюжая искусственность выразилась в весьма своеобразной и крайне запутанной системе письма; в самом же языке она развиться или осуществиться не смогла, ибо это язык довольно бедный, а его основа осталась почти по-детски простой и совершенно лишенной всякой грамматики, тогда как весь его словарный запас, по сведениям, состоит из трехсот тридцати слов, каждое из которых представляет собой один-единственный слог и которые в своих различных значениях определяются восьмьюдесятью тысячами шифров. И пусть даже, по свидетельству знатоков, лишь приблизительно четвертая часть из всего этого количества действи-

тельно необходима и употребительна в обиходе, но все же перекос остается ужасающе огромным, и весь язык в гораздо большей степени зиждется на такой искусственной системе письма, нежели на живой устной речи. Поэтому нередко происходит так, что ученые и образованные китайцы в беседе не могут понять друг друга, — хотя, конечно, такое иной раз случается и в других странах. — Однако здесь причина лежит в самом языке, и часто они могут пояснить сказанное, лишь записав его на бумаге. Новейшие и наиболее сведущие исследователи языка, ввиду упомянутых затруднений, отказались от этого взгляда на язык, выводящего все и вся из животного состояния (по меньшей мере в том его виде, как он преподносится ныне), именно потому; ему слишком уж противоречат факты. Перед лицом огромного многообразия и несметного богатства феномена языка в целом следует особенно остерегаться попыток выводить и объяснять все исходя из одной-единственной гипотезы или следуя по пути одной и той же теории возникновения. Если же взглянуть на возникновение языка с другой точки зрения, полностью противоположной этой природной гипотезе, то воззрение в целом и в частности повествование о том, что сам Бог непосредственно преподавал человеку язык, научил его речи, по сути, не должно вызывать в нас смущения, ибо ведь и всякое вообще благо, и среди прочего дарованные человеку от начала великие преимущества, по справедливости следует вести от Бога как Первооснователя. Тем не менее, если кто-то думает, что сможет отыскать язык, на котором, согласно этому предположению, говорил в райских кущах Первый Человек, в качестве источника всех позднейших и нынешних, выведенных от него различных языков, или опознать его в том или ином ныне еще существующем языке, например, в еврейском, — то это, пожалуй, будет величайшим заблуждением, свидетельствующим либо о полном неведении, либо о недооценке того безмерно далекого расстояния, что отделяет нас от момента первоначального возникновения. Нам с нашими нынешними органами чувств, пожалуй, вообще не под силу составить себе хоть какое-нибудь, пусть даже самое отдаленное представление о языке, на котором предположительно мог говорить Первый Человек до того момента, как он утратил данную ему от начала высокую власть, совершенство и достоинство; точно так же, как и о той речи, с помощью которой вечные духи через обширные небесные пространства шлют друг другу на крыльях света свои

мысли; или также о тех словах, которые само Божество изрекает в своей недоступной глубине и которые едва ли могут быть повторены кем-либо из тварных существ; ибо здесь, как гласит священная песнь, одна бездна призывает другую — в полноте бесконечной любви и вечной славы. — Если же мы хотим вновь спуститься с этой недостигаемой высоты к нам самим и к Первому Человеку, каким он был в действительности, то по-детски безыскусный рассказ в нашей книге первых документов человеческого рода о том, как Бог научил человека языку, если мы захотим остановиться на этом по-детски простом смысле, пожалуй, ни в чем не противоречит естественному человеческому чувству. Ибо как могло бы быть или даже казаться иначе, если все здесь описано и происходит в точности так же, как если бы нынешняя мать захотела обучить свое дитя первым азам человеческой речи? — Хотя, конечно, наряду с этим простым детским смыслом, здесь, как и везде в этой исписанной снаружи и изнутри книге, кроется и другой смысл, гораздо более глубокий. Имя вещи, или живого существа, называемое и обозначающее в Боге и от века, одновременно содержит в себе внутреннее понятие его сокровенной сущности, ключ к его бытию, власть принимать решение о его существовании или несуществовании, и именно в этом духе оно часто употребляется в священной книге, да и в целом с понятием слова здесь часто связывается священный и высокий смысл. Согласно такому глубокому смыслу и пониманию, в этом повествовании дано обозначение и намек, как я уже указывал ранее, на то, что благодаря слову (и именно через него), которое было непосредственно получено человеком от Бога, сообщено ему и на него перенесено, человек был одновременно поставлен как властитель и царь природы, и более того — как собственно наместник Бога в земном творении, — и что в этом и было его изначальное предназначение.

Однако даже если ни один существующий язык не достигает в своем восхождении точки этого сокровенного, сделавшегося недоступным для нас, начала, то все же следует признать, что понятие об изначальном языке или даже о множестве праязыков, безусловно, имеет под собой определенную историческую основу. По меньшей мере это есть некая естественная предпосылка или некое обоснованное в языке предположение, решение о котором может быть принято лишь по тщательном изучении и которое отнюдь не может

быть отвергнуто сразу же и без раздумий. Также было бы немаловажно в этом предположении (в случае, если бы оно оказалось верным) провести четкое различие между производными или смешанными языками, а также попытаться произвести широкий общий обзор великой сферы человеческих языков в ее почти необозримом богатстве, в той мере, в какой подобный обзор может быть полезен и плодотворен для нашей цели познания человека. И разве можно было бы подвергнуть сомнению пользу и плодотворность такого применения, если родословное древо всех человеческих языков в их многообразных ответвлениях и прогрессирующее от эпохи к эпохе в своем искусстве языковое образование предлагает нам лишь письменную памятную скрижаль получившей здесь словно бы телесное, зримое воплощение и представшей перед нами истории мыслящего сознания, однако в весьма увеличившемся, всемирно-историческом масштабе и в измерениях, распространившихся на всю обитаемую поверхность земли? Следовательно, тот факт, что история мыслящего сознания пребывает в глубочайшей и самой тесной связи или, по меньшей мере, весьма близко соприкасается с наукой живого мышления, не требует себе ни дальнейших разъяснений, ни более точных доказательств.

В опыте данного сопоставления я намерен выделить лишь те пункты, что важны для понимания и обозрения всего целого, а также представляют особый интерес, приводя в качестве доводов лишь самые верные и очевидные результаты наиболее основательных из новейших языковых исследований; при этом все, что могло бы вызвать сомнения и неуверенность или заводило бы в чересчур специальные области ученого языкознания, будет оставлено в стороне.

Один пример из естествознания, пожалуй, приведет нас к цели наиболее кратким и быстрым путем такого сопоставления; и я думаю, что естествознание здесь вполне может быть названо родственной наукой, ибо данная ее геогностическая часть или ветвь напрямую касается истории нашей планеты, наука о древности земли, первобытный мир горных хребтов и верное объяснение всех таящихся и присутствующих в них памятников и некогда великих руин в различные эпохи упадка и древних разрушений. Однако вся область геогностической науки и знания о нашей земной поверхности, ее внутреннем строении, ее первом возникновении и дальнейшем формировании, предстала в истинном свете лишь после того,



как мы научились точно различать между собой два вида, или ряда, горных пород: с одной стороны, нанесенные приливами, намывные, осадочные породы, с их множественными слоями извести, глины, измельченных костей и раковин или какой-либо иной разновидностью осадков древнего морского дна; и, затем, с другой стороны, твердые, первозданные горные породы, гранитные скалы и иные близкие разновидности того же вида, — и в дальнейшем проводить это счастливо найденное противопоставление, производя тщательные исследования и составляя самые точные описания как одного, так и другого вида горных пород во всех странах и самых различных климатах, стремясь дать на его основе всеобщую характеристику нашей земной поверхности. Но то же самое геогностическое различие, или противопоставление, однако, весьма применимо и по отношению к языкам и может найти свое место и в сфере языкознания. Смешанные, или возникшие на основе смешения, агрегатные языки можно сравнить с намывными, осадочными породами новой эпохи образования земли. И как эти последние произошли из морских приливов, или образовались в результате их действия, точно так же смешанные языки обязаны своим возникновением великому европейскому переселению народов, или, может быть, образовались еще раньше в странах Востока, в ходе подобных же процессов на территории Азии, в более раннюю эпоху, или в первые дни существования человечества. Те же языки, которые, хотя бы по отношению к указанным, очевидно выведенным из них, можно уже назвать праязыками — такие как римский по отношению к языкам Европы или индийский в числе азиатских, — стоят, следовательно, в том же ряду и достоинстве, что и так называемые первичные горы. Конечно, более глубокое исследование и в них, в свою очередь, обнаружит те или иные явные признаки смеси, однако последняя уже не будет образована из столь очевидно гетерогенных частей, но будет являть собой их скрытый сплав. Так, например, гранит и другие скальные породы этого ряда все еще являются сложными по своему минералогическому составу, что, в свою очередь, указывает на иную и более древнюю, но также весьма бурную эпоху их начального образования. Безусловно, первичные горы образуют собой первый ряд и наиболее раннюю формацию различных геологических эпох. Однако, как было бы ошибкой, если бы из этого утверждения мы тотчас захотели сделать вывод относительно внутреннего



состава земли (ибо все это геогностическое исследование и минералогическое различение двух видов гор охватывает собой лишь самую крайнюю поверхность — ту верхнюю часть земной коры, из сферы которой почерпнуты все эти опытные знания, — и мы тем самым отнюдь еще не можем проникнуть в потаенные земные глубины, не говоря уже о том, чтобы достичь центра нашей планеты и узнать ее строение, ибо эта ее последняя горная мантия может рассматриваться как всего лишь тонкая поверхностная кожа или эпидермис, покрывающий органическое живое тело), — точно так же обстоит дело с праязыками, которые в некотором смысле вполне будут иметь право на такое название, в том случае, если мы верим или полагаем возможным прийти через них к точке скрытого возникновения всех языков. Но как было бы заблуждением, если бы мы, вооружившись такой безосновательной предпосылкой из этого безусловно верного геогностического воззрения, тут же захотели сделать дальнейшие выводы, а именно, — захотели верить или утверждать, что гранитная масса (или любая иная разновидность таких первичных пород) должна заполнять собою все внутреннее пространство земли или что, по меньшей мере, ядро в центре планеты должно состоять из гранитоподобного материала, сходного с материалом этих первичных гор, — точно так же заблуждением, или, по меньшей мере недоразумением, было бы, если бы мы, столь же поспешно и необдуманно, сделали вывод в сфере языкознания и, к примеру, индийский язык, на том основании, что в кругу прочих, принадлежащих с ним к одной языковой семье, он, безусловно, занимает первое место, и по отношению к последним, в некотором ограниченном смысле этого слова, может считаться праязыком или рассматриваться как таковой, — захотели объявить всеобщим праязыком — первым источником и матерью всех прочих языков на земной поверхности, точно так же, как прежде таковым объявляли древнееврейский язык.

Такая историческая привилегия глубокой древности или даже сохранившейся в величайшей чистоте изначальной формы, хоть и является, сама по себе и в данном отношении, большим преимуществом, все же не может быть единственным критерием, решающим в вопросе о превосходстве или совершенстве того или иного языка. Близлежащий пример английского, к которому понятие смешанного, агрегатного языка применимо более, чем к какому-либо иному

европейскому языку, и который всецело соответствует данному определению, может служить нам в качестве иллюстрации того, сколь высокого уровня развития может достигать даже и такой смешанный язык, как в сфере сильной и чистой поэзии, так и изобразительной прозы и серьезной риторики. Однако для грамматического чувства при ближайшем анализе он все еще представляется неким гетерогенным конгломератом двух совершенно различных элементов, первоначально весьма хаотическое смешение которых ныне уже приведено к счастливому равновесию; я имею в виду древненемецкую и англо-саксонскую основу и живой корень, с одной стороны, и множественные вкрапления латинских и старофранцузских слов — с другой, которые все же представляются некими чужаками по той причине, что они менее способны к грамматическому склонению и словообразованию и не порождают новых живых корней и производительных основ, как это, напротив, умеют делать слова старо-саксонские. Среди азиатских языков персидский в этом отношении весьма сходен с английским. Существенная основа и живой корень целого здесь также исконно-национальны и состоят в теснейшем родстве с индийским и готско-германским; арабская же примесь по меньшей мере столь же велика, и внесение ее совершалось приблизительно таким же образом, как и латинско-французской — в английском языке. И тем не менее также и персидский язык по праву считается одним из великолепнейших, красивейших и наиболее живых языков, пригодных для поэзии; к тому же, на значительной территории Азии он используется как язык торгового и светского разговорного общения, — приблизительно так же, как у нас французский. Даже производные языки (ближе всего стоящие к смешанному, а иной раз и к ним относящиеся), в коих грамматически-строгая форма уже в значительной степени стерлась и уступила место большей округлости, предоставляющей большее удобство и легкость в употреблении, отнюдь не обязательно уступают породившему их языку, но зачастую оказываются способны в тех или иных аспектах утвердить над ним свое первенство. Итальянский язык представляется нам более мягким и гибким, более приспособленным для пения, и возможно, он обладает бóльшим богатством и прелестью, чтобы служить инструментом поэтической фантазии, нежели предшествующий ему латинский. Французский, по меньшей мере в своем качестве языка для повседневного раз-

говорного общения, а также для всех риторических разновидностей четкой и внятной прозы, достиг высокой степени округленности и совершенства для удобного использования. Испанский язык, своим важным достоинством серьезно-изобразительной, глубокомысленной и остроумной прозы, своим удивительным богатством и своеобразным очарованием, своей способностью выражения любой игры поэтической фантазии превосходит большую часть своего окружающего соседства. И тем не менее это в одно и то же время производный и весьма гетерогенно смешанный язык, ибо здесь, возможно, готско-германская примесь еще более сильна, нежели в каких-либо иных возникших из латинского романских наречиях, и к тому же налицо существенное арабское влияние. Я привел здесь эти живые примеры отнюдь не с намерением углубиться в грамматические частности или без конца множить сугубо эстетические замечания, но лишь для того, чтобы по возможности удалить все односторонне ложное из понятия первоначального языка, дабы мы имели возможность четко уяснить, что происхождение, т. е. возникновение и развитие, языка в некотором смысле никогда не прекращается и отчасти свершается на наших глазах. И пусть нам дано непосредственно или, по меньшей мере, на весьма небольшом историческом удалении наблюдать такое живое развитие нашего языка лишь в отдельных моментах, касающихся строго определенных случаев, но все же сами эти моменты весьма полезны и поучительны для понимания целого.

Что касается теперь возникновения, т. е. действительно исторического возникновения, не языка вообще, но отдельных, ныне еще существующих и позитивно данных языков, в особенности тех, которые, по меньшей мере в отношении произведенных от них и смешанных, могут считаться пра-языками, то существенный главный пункт для воззрения, которое здесь должно быть достигнуто, заключается, по всей видимости, в том, чтобы мы не объясняли сами эти языки, их первое возникновение и образование, из одного лишь смешения и произведения, сложения из тех или иных отдельных частей, но пытались бы представить себе их как целостные произведения, как и сегодня еще стихотворение или какое-нибудь иное истинное произведение искусства выводится из идеи целого, а не просто складывается из атомистических элементов. Правда, для этой цели нам придется перенестись в несколько иной стиль и несколько более раннюю

эпоху человеческой способности мышления, где мы, по всей видимости, также чересчур поспешно и легкомысленно, можем предположить относительно первоначальной эпохи человеческого рода и отдельных народов, что в те времена продуктивное воображение, должно быть, обладало значительно более гениальной изобретательной и плодоносящей силой, даже в языковом продукте первичного словообразования, нежели далее, где, уже на более поздних ступенях духовной культуры, аналитический разум стал достигать все большего и большего перевеса.

Обычно появление языка объясняют, говоря о нем приблизительно так, словно бы речь шла о создании картин, и объясняющий хотел сказать, что она возникла из охры, свинцовых белил, лака, асфальта и прочих подобных цветных субстанций, с участием также масла, которое затем, играя здесь роль средства, соединяющего меж собой все прочие материалы, могло бы занять место грамматически упорядочивающего и логически связующего разума. От каждого из этих разнородных материалов всякий раз бралась лишь одна маленькая точка, и все они накладывались одна возле другой; позднее дело дошло до небольших мазков, из которых постепенно развились более протяженные штрихи, покуда, наконец, в движении от одной ступени к другой, не явились образ и силуэт; после чего добавились также физиономия и выражение лица, и в ходе такого развития картина, в конце концов, была завершена. Однако если она как именно эта картина, т. е. в своей целостной идее, не присутствовала в разуме художника уже с самого начала, она как таковая никогда не смогла бы перейти в реальность и внешне явиться из-под его руки — по меньшей мере она не была бы истинным шедевром художественного гения, ибо таковой может быть рожден лишь из идеи целого.

Таким образом, если мы захотим перенестись в то первобытное время, когда мыслительная способность была еще гораздо более продуктивной и действенной, а следовательно, и языковые обозначения и выражения отличались гениальной подвижностью, мы увидим, что язык рождался и рождается не по частям, но скорее вдруг и единовременно, — как целостное устройство, из целостного внутреннего и живого сознания. Если же речь соответствует мышлению, а сам язык есть лишь верный отпечаток, или подвижный отблеск внутреннего, то, если мне будет позволено заимствовать выраже-

ния для сего из нашего древнейшего документального источника человеческого рода (ибо ведь у нас нет лучшей, более естественной и более близкой нам путеводной нити и точки опоры во всем, что касается древнего предания и начальной истории), я хотел бы поставить следующий вопрос: может ли быть так, чтобы язык заклеименного проклятием и уныло скитающегося по земле Каина был тем же самым, что и язык благочестивых патриархов и великих святых первобытного мира, коим оказывается, иной раз под другими именами, однако ничуть не меньшее почитание в преданиях древних персов, в священных книгах индийцев и других азиатских народов; или мог ли он быть тем же самым, что и язык Ноя, второго патриарха и восстановителя всего человеческого рода, имя которого упоминается в сказаниях почти всех племен? Конечно, племя Каинитов занимает отнюдь не малозначительное место в древнейшей истории культуры, ибо именно ему приписывается изобретение искусства выплавления и обработки металла, а также большого числа иных искусств. Но, тем не менее, это отличие должно было быть в языке со всем его устройством весьма большим и ощутимо приметным, и это ведет нас к уже самому по себе как минимум возможному, а в этой взаимосвязи — и вообще в высшей степени правдоподобному предположению о множестве первоначальных языков или о различных эпохах первой языковой продукции древнейшей поры, каждая из которых могла бы знаменовать собой естественный этап в ступенной последовательности непрерывно развивающегося и обретающего все новые формы образа мысли этих первобытных племен. Если бы от меня требовалось хотя бы в беглом наброске показать, как именно эта ступенная последовательность могла бы быть представлена в ее идее, в ее различных этапах, во всей системе и всей необозримой массе распространившихся по земной поверхности языков, то я бы исходил при этом, как из наиболее надежной и знакомой, прежде всего из всей индийской языковой семьи, т. е. из всех тех языков, среди которых индийский занимает первое место как наиболее древний, наиболее в самом себе ограниченный и наиболее совершенный. Сюда же относится, наряду с древнеперсидским, готско-немецкий и ближе всего родственные ему скандинавские языки; затем греческий и латинский наряду с образовавшимися от них, и, наконец, по мнению наиболее сведущих ученых, также — все славянские языки. Все эти языки, в соответствии с мерой,

объемом и высотой достигнутого ими развития, отличаются (особенно в своем примитивном состоянии древнейшего языкового стиля) своей в высшей степени изощренной языковой структурой и великолепным грамматическим членением и организацией, вообще высочайшим и благороднейшим поэтическим обликом, которые сопровождает не менее выдающаяся научная определенность. — Но это всего лишь *одна* языковая семья среди множества других, также относящихся к указанной системе, которые, однако, стоят на значительно более низкой ступени развития и языкового совершенства. Среди относящихся к этому низшему классу языков, таких как татаро-китайские и африканские, важное и характерное место занимают в особенности также и столь достопримечательные американские. Величайший знаток американских племен и языков отмечает в отношении первых, как нечто прежде всего бросающееся в глаза, их общую примитивность и упавшие до чрезвычайно низкого уровня духовные способности, а сами языки этого человеческого племени характеризует как «печальные останки великих руин какого-то колоссального разрушения». Я придаю тем большее значение этому высказыванию знаменитого путешественника (которое столь удивительно полно соответствует изложенным здесь идеям и результатам моих исследований о ходе движения человеческого рассудка в древнейшую эпоху), что это воззрение у него рождается, безусловно, самым чистым образом под влиянием его собственных наблюдений, что исключает любое предвзятое мнение или же способствующую ему заранее принятую гипотезу. Это очевидно меланхолическое по природе своей чувство, являющееся в душе при виде столь глубокого падения, возможно, есть одна из характерных черт, присущих этому последнему классу языков (в своих материальных частях они не выказывают между собой значительного сходства, бесконечно разнясь друг с другом во всех мыслимых отношениях), или, по меньшей мере, составляет *один* его общий признак. У меня почти нет сомнений в том, что египетский язык (ибо с тех пор, как была осуществлена частичная расшифровка иероглифической письменности, он уже более не является для нас совершенно недоступным) также принадлежал к этому классу языков и что он также занимает среди них особое место. На фоне прочих он выделяется свойственной ему иероглифической письменностью, сочетающей в себе алфавитное обозна-

чение с символическим, так что даже слово, записанное в буквенной системе, где выбор между различными знаковыми изображениями, обозначающими одну и ту же букву, всякий раз остается свободным, всегда словно бы окружено символическим одеянием, и все целое принимает иероглифический тон. Иные из греков полагали, что египетский язык вообще является самым древним человеческим языком; и ту торжественную печаль, которую мы ощущаем при соприкосновении со всеми египетскими памятниками, по всей видимости, также можно рассматривать как немного свидетеля великих событий исчезнувшего первобытного мира. Дабы в кратком очерке (а я стремился здесь к краткости) завершить данную тему, остается лишь добавить пару слов о еврейском языке — для его общей характеристики, а также для того, чтобы быть в состоянии по меньшей мере верно определить место, занимаемое им внутри целого. На первый взгляд, он выглядит достаточно изолированным и обособленным, не относясь ни к первому, ни ко второму из до сих пор упомянутых классов; однако, возможно, это дает нам право предположить существование новой и особой главной ступени во всей языковой продукции той древнейшей эпохи, которая в сем случае образует собой третью ступень наряду с двумя предшествующими. Внутреннее родство его корневых слов с языками латинско-индийской семьи при ближайшем исследовании могло бы оказаться значительно большим, нежели выглядит на первый взгляд, ибо поначалу оно, вплоть до полной неразличимости, скрыто и утаено от нашего взора весьма непривычной структурой и грамматической формой языка, а также совершенно иным господствующим здесь духовным направлением. Из истории мы также знаем, что финикийский язык, отличающийся от еврейского лишь как его диалект, не был лишен связи с греческим и оказал на последний самое многообразное влияние. Что же касается упомянутого обособо-го характера, то все в еврейском языке направлено на достижение высочайшей степени живости и глубочайшей значимости, даже в самом его грамматическом устройстве, где все слова, обозначающие предметы и качества, подчинены подвижному глаголу. И даже тройственность корней и корневых слов, каждое из которых, как правило, состоит из трех букв, чаще всего образующих равное количество слогов (исключения здесь крайне редки, и принцип этот проводится иной раз даже с чрезмерной суровостью) — определенно, несет в себе



некий нарочитый смысл и наделен скрытым мистическим значением. В этой глубокой значительности, в краткости и сжатости, в смелой образности и пророческом воодушевлении гораздо более, нежели в хронологическом старшинстве древности, состоит истинный характер и высокое превосходство еврейского языка, тогда как в ясности поэтического представления, в разносторонности и богатстве развития, а также в научной точности обозначения он, скорее, уступает таким языкам, как, например, греческий. Этот язык по своему глубочайшему характеру есть язык пророческий, и такого же имени заслуживает (даже по сию пору своего печального рассеяния) сам его народ-носитель, на котором впервые сбылось живое слово древнего Писания, — после того, как он передал его другим.

Вся система языков, весь совокупный языковой мир есть лишь ставший внешне доступным зрению отпечаток, чуткое зеркало сознания и внутренней способности мысли. Каждая из эпох в древнейшей языковой продукции представляет собой формационную ступень в поступательном ходе развития человеческого духа; язык же вообще, как нить памяти и предания, соединяющая между собой все народы в их хронологической последовательности, есть некий великий орган общественной памяти всего человеческого рода. Лишь в этом безусловно важном и существенном для нашей нынешней цели отношении я счел себя вправе позволить себе весь этот эпизод там, где множество подробностей, по всей видимости, не могло бы возбудить к себе живого внимания, однако результат в целом, касающийся появления, или, точнее, исторического возникновения и древнейшего развития языка, тем не менее, пусть даже как всего лишь возможный материал к дальнейшему размышлению, мог бы представлять собой всеобщий интерес. Этот результат я бы кратко выразил и обобщил следующим образом: по эту сторону от темного промежутка, или великой расщелины, отделяющей нас от недоступного и сокрытого момента возникновения, располагается первая ступень древнейшей языковой продукции, знаменующаяся глубоким падением и вызывающая в нас чувство скорби. Однако и здесь отнюдь не исключается ни чувственное искусство — какое мы видим, например, в дивной символике египетского образного языка; ни также сложная утонченность — как в китайской системе письменности. Следующую ступень для дальней-



шего языкового развития образует, затем, первый высокий подъем поэтического духа в тех древних языках, которые в первую очередь отличаются красотой формы и совершенством строя, поэтической полнотой, научной ясностью и определенностью, и в этом более всего превосходят остальные. Самые ранние фрагменты при этом отличаются также своеобразной красотой и жреческой торжественной серьезностью, как это имеет место и с некоторыми остатками наиболее древней эпохи римского языка. Полное же и высшее посвящение божественной значимости и смелости религиозного воодушевления образует для языка в историческом ходе его развития особую и оригинальную ступень, которая в эту самую древнюю эпоху была бы, предположительно, уже третьей. В доказательство того, что приведенная выше характеристика дана не на основании одного лишь духа и тональности священных писаний евреев и не переносится с них на сам язык; но что она отчасти обусловлена уже самим языком и его грамматическими свойствами, — я хочу присовокупить еще лишь одно замечание, а именно, что многие из этих характерных и своеобразных качеств могут быть обнаружены также и в весьма близкородственном ему арабском языке, несмотря на то, что арабы весьма рано отошли от простой и благочестивой веры древних патриархов, поддавшись суевериям и волшебному культу звезд, а со времен Магомета преисполнились неизбывной фанатической ненависти к более глубокой божественной истине и религии любви.

Я назвал язык вообще, как сокровищницу традиции, передающей жизнь от одного народа к другому, как нить воспоминания и духовной связи, объединяющую одно столетие с другим — общей памятью человеческого рода; и именно эту способность памяти я хочу теперь, в ходе этого психологического исследования, подвергнуть более близкому рассмотрению, дабы определить то место, которое она занимает во всей системе основных сил сознания, наряду с прочими и в их окружении, и дать ей ближайшую характеристику. Прежде, однако, я хотел бы, — в подтверждение и доказательство того утверждения, что первую языковую продукцию следует рассматривать и представлять себе не атомистически (как составленную сплошь из отдельных кусков и частных), но более как единовременно и непосредственно отлитую из единого целого и возникающую или возникшую наподобие истинного поэтического или художественного произведения, —

напомнить факт, состоящий в тесной связи одновременно с вопросом и исследованием памяти, ибо он включает в себя весьма удивительный и достопримечательный скачок через память, движение в обход ее, или, по меньшей мере, в обход того обычного способа, коим обычно упражняется языковой навык. — Я имею в виду то, что в древнем выражении именовалось «даром глаголати языками»; а следовательно, в соответствии с этим понятием, даже для наших нынешних, вполне оформившихся и образовавшихся языков, может наступить или однажды действительно наступит случай, когда сознание вдруг, неожиданным и непосредственным образом, обнаружит вход в целое языка.

Само это явление, когда душа бывает перемещена, или погружена, в прежде целиком и полностью чуждую ей сферу незнакомого и никогда ранее не изученного языка, при этом, благодаря какому-то внутреннему прозрению, в совершенстве понимает произносимые речи или начертанные слова, конечно, по всей видимости, не относится к обычному человеческому состоянию; более того: там, где оно присутствует в своей наиболее решительной и сильной форме, — оно почти уже граничит с чудесным. Тем не менее это довольно известный факт и, собственно, не такой уж исключительно редкий. Высшая же, активная ступень этого явления имеет место тогда, когда является возможность не только понимания, но и собственной речи, собственного свободного употребления ранее не известного, никогда не изучавшегося языка, и именно это в древнем понимании и называлось «даром языков». Такой дар, конечно, есть уже в собственном смысле чудо. Однако и он как таковой есть данность и удостоверенный факт, и нет никаких оснований для того, чтобы подвергать сомнению древние свидетельства.

Я назвал это чудесным скачком через память; и сколь бы подчиненной ни казалась нам эта способность в сравнении с везде и всюду возникающими претензиями на особую гениальность, все же первое начало и возникновение памяти представляет собой необъяснимую тайну, ибо у нее есть стороны, ставящие перед нами глубокие и далеко ведущие вопросы и вынуждающие нас пускаться в высшей степени важные исследования.

Весь этот психологический обзор человеческого сознания в предпринятом до сих пор изложении исходил из четырех его основных сил, в соответствии с двояким противопостав-

лением рассудка и воли, разума и фантазии. Кроме этих четырех главных способностей есть, однако, еще и множество других; или, возможно, что их, этих других, ровно такое же количество, и что они являются не столько подчиненными и второстепенными (ибо они, в том или ином отношении, представляются столь же важными и не менее существенными, нежели четыре первые), сколько дополнительными и прикрепленными — производными от этих первых вспомогательными способностями. Среди них я уже заранее попытался ближе обозначить и с большей определенностью охарактеризовать совесть, как нравственный инстинкт правды и истины, назвав ее разумом в его приложении к воле, или, скорее, предпочел рассматривать ее как своеобразную и особую, располагающуюся посредине между разумом и волей, способность непосредственного чувства и суждения о том, что есть благо и зло в человеческих действиях и побуждениях. Совершенно так же, как совесть между разумом и волей, память есть средняя способность между рассудком и разумом, стоящая посредине между обоими и находящаяся в самой тесной связи с тем и другим. С одной стороны, память есть кладовая рассудка, и даже более того, она есть сам на сей момент добытый и уже переработанный, внутренне отложенный и накопленный рассудок; в качестве же нити воспоминания память есть то основание взаимосвязи в сознании, на коем зиждется употребление разума и сам разум. Это до такой степени верно, что частичная или даже, наконец, полная утрата памяти по причине старости или старческой дряхлости приводит хоть и не к совершенному помешательству, однако к значительному снижению и отчасти параличу разумной способности мышления, который иной раз может доходить до общего отупления, апатии и, наконец, полного угасания разумной способности. Близкую взаимосвязь памяти с рассудком можно видеть в особенности у детей, у которых первые слабые начатки понимания развиваются совершенно одновременно и совпадают с первым осознанием себя и сохранением внешних впечатлений и знаков. Рассудок есть индивидуальное мышление и познание, которое, собственно, и есть понимание; и таким образом индивидуальный и характерный признак в функции памяти относится к рассудку; сама же взаимосвязь между представлениями и знаками, их стойкое соединение, есть участие разума в памяти; ибо разум есть всеобщее знание и сознание во взаимосвязи связного и строящего заключения мышления. —

Возникает теперь вопрос, каким образом применить это в исследовании о языке и не обстоит ли дело так, что уже в самом первом пробуждении, или в самом сокровенном начале возникновения памяти, может быть воспринят некий божественный импульс свыше, если это можно так назвать, или, может быть, положено некое высшее потустороннее основание? Или, скорее, импульс действительно воспринят, а основание положено и уже существует. Ибо множество мнений подобного рода у нас в ходу уже на протяжении тысячелетий. Что следует думать об этих мнениях с простой точки зрения живого сознания и его познания из внутреннего чувства и самой жизни, где следует полагать их границы, и в какой мере их можно признавать или не признавать истинными. К этому роду относится получившая благодаря Лейбницу вторую жизнь гипотеза о врожденных идеях, или, как ее предпочитали понимать и выражать в новейшую эпоху, о существенных для разума и предначертанных в его строении, или как бы запечатленных в нем самом, мысленных формах; каковы мнения, во всех вариациях, в которых они обычно преподносятся, первоначально всецело происходят от платоновского воспоминания о прежнем существовании, свойственного в его представлении человеческому духу, а также связаны с первоначально индийским, однако распространенным также и среди многих других народов, учении о переселении душ. — Между тем, подлинная и действительная преэксистенция человеческой души, которой, однако, было бы весьма сложно дать историческое обоснование, весьма трудно согласовывалась бы с нашими чувствами, воззрениями и умонастроениями также в отношении Бога и божественного домостроительства в мироправлении и водительстве человеческих душ, а древняя, пусть и весьма достопримечательная, вера в переселение душ и подавно может казаться нам лишь произвольным измышлением, чем-то вроде мифологии души. Что касается теории сущностных форм и их основного строя, до всякого опыта и даже до начала самого сознания запечатленного в разуме, — то здесь в основе лежит представление о разуме как всеобъемлющем мыслительном ларце, со множеством малых и больших отделений и ячеек. Он в этом представлении есть резидуум, или мертвый осадок естественных функций живого мышления и господствующего в нем внутреннего закона жизни, которые, будучи таким образом зафиксированы и расположены в правильном порядке, подобно засушенным растениям в ботани-

ческих альбомах или нанизанным на булавки мотылькам, выставляются для нашего обозрения; тогда как подлинная, сокровенная, нежнокрылая Психея, под воздействием столь сугубо механического свойства, давно уже покинула эти оболочки. А поскольку в философии сознания следует, напротив, стремиться, насколько возможно, постичь живое мышление в его подлинной жизни и столь же живым образом его отобразить, словно бы написав с натуры его портрет, то невозможно понять, к чему вообще должна вести вся эта безмерно громоздкая процедура, а гипотеза в целом представляется, по меньшей мере, ненужной и излишней. В отношении принципа, или предпосылки, врожденных идей, который, однако, следует все же хорошо отличать от этого прежде упомянутого учения, еще вполне можно понять, каким образом для стремящегося к идеалу художника, а в иных случаях — также и для мыслителя, он может служить вполне верным методом, или, по меньшей мере, вспомогательной формулой, к которой он может прибегнуть в своем стремлении изобразить предмет, занимающий его мысль и постигаемый им в его идее, именно так, как, согласно указанному воззрению и предположению, этот предмет был бы созерцаем божественным рассудком. Однако если при этом речь идет о действительно некогда ранее предшествовавшем интеллектуальном созерцании и постижении чистых идей в божественном рассудке, если воззрение именно таково, — то это вновь приводит нас к трудному и малодоступному понятию собственно преэксистенции. Кроме того, как только теперь мы захотим углубиться в подробности и применить это воззрение к отдельным предметам, выяснится, что мы толком не знаем, что следует мыслить себе в художественном смысле под врожденной идеей пышного раскидистого дерева, прекрасного цветка, здания великолепно спланированной архитектуры, какого-либо иного памятника или даже просто могучего образа животного или человека; точно так же и в практической области, если бы речь шла о врожденной идее бравого войска или мудрого распоряжения финансами. Не особенно ясно, чему все это должно служить и куда вести, и едва лишь мы начинаем принимать эту идею за нечто большее, нежели всего лишь фикцию сознания, мы запутываемся в новых, или в очередной раз во все тех же старых, но так и не получивших разрешения трудностях.

Если бы, однако, в совершенно общем смысле был поставлен вопрос: а что, если человеческой душе, вместо целой

системы понятий, мыслительных форм, или целого мира всех возможных идей, присущ или врожден лишь *один*-единственный высший залог потустороннего, который, естественно, в дальнейшем может пробуждаться и прийти к сознанию лишь вместе с полным пробуждением, с выраженным развитием остальной части сознания, или сознания вообще; и душа, таким образом, могла бы выступать не иначе, как в форме воспоминания, и в некотором смысле сама была бы таким воспоминанием, однако не столько воспоминанием о том или ином времени, сколько воспоминанием о вечности, — то я не думаю ни что этот вопрос, будучи так поставлен, предполагал бы непременно отрицательный ответ, ни что для этого есть существенная необходимость или какое-нибудь солидное основание, но что, при известных оговорках, мы можем и должны совершенно спокойно такое предположение принять. Можно ли сомневаться в том, что каждое духовное существо, сотворенное вечной любовью, покуда его связь с этим высшим источником его бытия не будет насильственно прервана или целиком и полностью уничтожена, всегда остается причастным к тому изначальному источнику вечной любви, из которого оно возникло; и коль скоро такая причастность всегда и везде свойственна сотворенному духовному существу, то она должна занимать определенное место и в его сознании, равно как и играть свою заметную роль в развитии этого сознания. В отношении человеческой души это тем менее можно отрицать, что ей в особенности, в ее качестве божественного образа, дается привилегия высшего богоподобия.

Эта всегда и везде сохраняющаяся, и никогда и нигде, кроме одного уже означенного случая, не исчезающая в сотворенной душе причастность к Богу как изначальному источнику вечной любви, этот божественный потусторонний залог в нашем сознании можно было бы, наверно, понять и обозначить как воспоминание о вечной любви, и это воспоминание о вечной любви представляло бы в таком случае одну-единственную врожденную идею в человеческой душе, которую вполне можно предположить.

Мысль о первоначальном воспоминании в человеке, относящемся, собственно, не ко времени, а к вечности, но, вместе с тем, имеющим полное право называться воспоминанием, приводит нас к понятию о времени и вечности и в целом к вопросу об их взаимоотношении, верное и совершенно ясное воззрение о котором могло бы всецело отличаться от господ-

ствующего ныне. Его дальнейшее и полное развитие, однако, требует особого рассмотрения.

### Четвертая лекция

Понятие о реальной преэксистенции человеческих душ в некоем предшествующем бытии есть либо одно из заблуждений, приставших к платоновскому учению о воспоминании, или о врожденных идеях, либо навязанное ему извне произвольное измышление: всего лишь гипотеза, которая ввергла бы нас в неисчислимо множество затруднений и которую никак нельзя ни обосновать сколь-нибудь убедительно или хотя бы правдоподобно, ни даже с удобством принять в качестве исходной. Однако я потрудился доказать, что само понятие может быть сперва отделено от этой некогда принудительно внесенной чуждой примеси, а затем и полностью освобождено от нее, если всего лишь последовательно держаться того существенного, что в этом платоновском понятии высшего воспоминания в течение долгих столетий оказало столь могучее и притягательное воздействие на множество благородных мужей и глубоких мыслителей вплоть до Лейбница, оставив по себе непреходящий и вечный след. В таком, более чистом и лучшем смысле, — полагал я, — и высшем, или, скорее, более простом понимании, хоть и невозможно будет предположить в человеческой способности мышления некий полный и мертвый каркас всех возможных, заранее размещенных в нем разумных понятий, однако, во всяком случае, — *одну*-единственную, насажденную в человеческой душе или врожденную и доставшуюся ей от ее божественного возникновения идею, которая в этом случае не могла бы быть обозначена иначе и проще, нежели это уже было сделано в специально выбранном для сего выражении «воспоминание о вечной любви». Однако подобное воспоминание, — сказал я, — в этом однажды сделанном предположении есть воспоминание не столько о том или ином прошлом (что вновь привело бы нас к реальной преэксистенции душ), сколько воспоминание о вечности, и должно пониматься именно в этом духе, коль скоро понятие в целом вообще имеет смысл. Это, в свою очередь, требует более подробного разъяснения о взаимном отношении и в целом понятия времени и вечности. Эту способность совершенно иного рода воспоминания,

нежели заключенное и данное в обычной памяти, или также это состояние, это свойство или силу души, или как бы еще иначе мы ни захотели это назвать, можно было бы, если бы здесь было своевременным и в целом полезным оживлять уже наполовину забытую, путаную терминологию недавно ушедшего в небытие поколения, назвать трансцендентальной памятью. Однако это было бы всего лишь другим или в свою очередь видоизмененным выражением для обозначения того же самого понятия и предмета, что в лучшем случае могло бы послужить тому, чтобы с помощью столь необычного понятия или его нового и необычного смысла с еще большей ясностью и отчетливостью выявить своеобразие и собственно центральный пункт вопроса в целом, или такого рода исследования. Собственно же пункт, на коем зиждется все целое и суждение о нем, или из коего может и единственно должно исходить верное объяснение и ясное понимание целого, есть, как уже сказано выше, взаимное отношение времени и вечности и истинное понятие того и другого. Обычно или, по меньшей мере, весьма часто вечность объясняется и понимается так, как если бы то было полное прекращение, совершенное отсутствие или безусловное отрицание всякого времени; однако тогда это понятие включало бы в себя полное отрицание жизни и всякого живого существования и в нем не оставалось бы ничего более, кроме ничтожного представления о целиком и полностью пустом бытии, или собственно *ничто*. Вместо бесконечных противоречий, вместо вечной пропасти непостижимого *ничто*, к коему можно было бы применить выражение английского поэта о «зримом мраке», к чему могло бы привести нас это пустое отрицание вообще и в особенности абсолютное отрицание времени, понятие вечности можно было бы с меньшей непостижимостью, с более доступной ясностью и верностью облечь в следующую форму: вечность есть полное, совершенно всеобъемлющее время, т. е. не просто бесконечное вовне (длящееся без начала и без конца), но бесконечное также и внутренне, где, таким образом, в бесконечно живом и светлом настоящем и в его блаженном ощущении все прошлое, а равно и все будущее было бы столь же живым, столь же ясным и светлым, и, более того, столь же настоящим, как и само настоящее. Можем ли мы мыслить себе состояние блаженства иначе, нежели подобным образом, и, больше того, не есть ли это понятие полноты времени одно и то же и не совпадает ли оно всецело с тем состоянием, которое



мы, по меньшей мере, можем себе мыслить и мысли о котором мы едва ли можем избежать? И не есть ли это единственная применимая к божественному сознанию форма бытия, коль скоро мы предполагаем и верим в не только сущее, но и здесь-пребывающее (*da-seiende*), само себя осознающее и живое Божество? О том, что, по меньшей мере, понятие времени вообще отнюдь не так уж безусловно исключено из бытия и сущности, или из действия живого Бога в откровении, существует довольно много намеков, свидетельств и доказательств в самом Писании, ибо почти все избираемые для этой цели выражения указывают лишь на такое полное божественное время, в котором вчера и завтра существуют так же, как и сегодня, тысяча лет подобны одному дню, и еще бесчисленное множество иных выражений означают то же самое и заключают в себе тот же смысл, отнюдь не указывая на ложное понятие вечности как абсолютного отрицания времени. Даже само еврейское имя Бога несет в себе подтверждение этого; и я хотел бы позволить себе привести здесь это подтверждение, ибо это вполне возможно сделать без углубления в сам язык, и мы можем дать наше разъяснение с достаточной отчетливостью, не прибегая для сего к описательным средствам в нашем наречии. В священном языке Ветхого Завета для обозначения высшей сущности употребляются преимущественно два наименования; одно из них есть наименование целиком и полностью всеобщее и обозначает лишь понятие Бога, или Божество вообще; оно же употребляется и в отношении божеств иных, языческих, народов, а иногда также обозначает попросту духов. Другое же еврейское имя Бога употребляется всегда исключительно в отношении истинного, живого Бога Откровения. Это имя образовано от корня, который означает *бытие*, или, скорее (поскольку в древних языках и в первоначальных значениях их слов нам никогда не приходится искать или предполагать всего лишь абстрактное бытие и его пустое понятие), всегда — жизнь и живое здесь-бытие. В одном месте это имя, состоящее из четырех букв, объясняется и структурно членится таким образом, что его значение должно пониматься как «Я есмь тот, кем Я буду»; или, еще буквально и точнее: «Я есмь Тот, Кем Я буду быть». — Это означает не что иное, как: живой и истинный Бог Откровения есть тот, кто от начала со славой явил себя в творении; тот, кто, пусть зачастую и будучи не услышанным и незамеченным, непрестанно открывает себя всему человеческому

роду, а также каждому отдельному человеку; и кто в конце времен, т. е. по истечении этих земных времен и сменяющихся временных периодов, «в полноте времен», согласно библейскому выражению, или «по исполнении времен», явит себя в еще большей славе. Здесь, таким образом, общее понятие времени очевидным образом не исключено из понятия сущности и деятельности Бога; но оно лежит здесь в основе понятия полного времени, длящегося от вечности к вечности, в которое, когда пробьет час, когда придет время, или, иными словами, когда наступит конец, преобразится и наше земное время, в тенетах коего лежит сей чувственный мир. Вопрос, следовательно, заключается лишь в том, имеем ли мы дело с абсолютной противоположностью между временем и вечностью, при которой между ними нет никакого соприкосновения (а значит, нам придется всецело отрицать одно из двух), или же, все-таки, мы вправе говорить о возможном переходе из одного в другую. И тогда, коль скоро абсолютное вообще везде, всюду и в любом отношении (абсолютное мышление, равно как и абсолютное воление), есть элемент, разрушающий жизнь, его следовало бы признать первым источником не только ложных систем, но также и метафизических предрассудков человеческого разума и вообще всех глубоко укоренившихся и унаследованных или врожденных заблуждений. Напротив, согласно лежащему здесь у нас в основе воззрению, то и другое, время и вечность, совсем не отделены друг от друга непроходимой пропастью, будучи лишены между собой всякого соприкосновения, в результате чего одно понятие целиком и полностью упраздняло бы другое, делая его невозможным, но между тем и другим, безусловно, существуют определенные связующие моменты, некоторые точки соприкосновения и перехода. Противоположность не является здесь столь непостижимо абсолютной противоположностью вечного отрицания, но это есть противоположность более живая, подобная различию между жизнью и смертью или же между добром и злом. Вывести нас из лабиринта внешнего явления и нашей собственной внутренней мысли о нем может не столько вопиющая и непримиримая на первый обманчивый взгляд противоположность между временем и вечностью, сколько понятие о двух родах времени, ближайшее рассмотрение и точное определение которого как раз и входит в нашу задачу; и различие между одним, полным, блаженным временем, которое есть не что иное, как внутренний пульс

жизни, в текущей без начала и конца вечности; и между другим, временем плененным и заключенным в оковы мира сего, где одно лишь косное настоящее возвышается и деспотически властвует над всем; прошлое лежит во мраке и окружено смертной тьмой; будущее же подобно боязливой и шаткой тени, колеблющейся в туманных и обманчивых сумерках, до тех пор, пока это надменное в своем блеске настоящее не уйдет, не превратится в свою очередь в ничто и не будет погребено во всеобщем смертном мраке прошлого. Наравне с двумя родами времени, в отношении Бога и мира могут различаться и два рода вечности. Если мы помыслим себе весь сотворенный мир (т. е. возьмем не только этот зримый чувственный мир, но присовокупим к нему еще и незримый мир духов) в его первоначальном совершенстве — таким, как он вышел из-под руки Творца; или также в том его совершенстве и славе, которую он обретет в конце, по истечении земного времени (когда в нем не будет более смерти), и в котором он пребудет вовеки; то в этом отношении, т. е. коль скоро мир будет мыслиться в его изначальном совершенстве, или в совершенстве, достигнутом им в самом конце, мы не можем обозначить мир более удачно, нежели назвав его сотворенной вечностью, самого же Бога — несотворенной. Тем не менее эта сотворенная вечность, мир, согласно тому, что нам известно о нем, не является таковым целиком и полностью; он таков лишь с одной стороны, а именно, на протяжении своего вечного и блаженного течения; однако он не таков со стороны своего первого возникновения. Мир, если он, как нас учат о нем, был создан из ничего, имел начало — совершенно определенное временное начало; и с этой стороны также оказывается, что понятие времени, неизбежным, очевидным и несомненным образом содержащееся в понятии начала мира, отнюдь не может быть решительно исключено из деятельности и сущности Бога, т. е. живого и личного Бога Откровения. Этим я хочу сказать лишь следующее: здесь пред глазами человека лежит решающая точка на распутье, где пересекаются две различные дороги, идущие в противоположных или, во всяком случае, в далеко расходящихся направлениях, с тем, чтобы он сделал свой выбор и вынес свое суждение; и тот ясно видящий дух, который в умонастроении, в образе мысли и во всем взгляде на жизнь хотел бы пребывать в согласии с самим собой, в любом случае должен будет выбирать между одной и другой. Либо это живой и преисполненный любви Бог,

именно тот, которого ищет и находит любовь, коего придерживается вера и на коего устремлена вся наша надежда (а это есть личный Бог Откровения), и при этой предпосылке мир не есть Бог, но отличен от Бога, ибо имел начало и сотворен из ничего; либо же существует лишь *одна* Высшая Сущность, причем мир также вечен и неотличим от Бога; существует вообще лишь *одно*, и это вечное *одно* всеобъемлюще и само есть *все*; и здесь нигде нет сущностного различия, так что даже предполагаемая разница между добром и злом есть лишь обман, обусловленный нравственной ограниченностью или гражданскими предрассудками, которые как таковые, пожалуй, можно признавать и внешне чтить, но которые, однако, будучи взяты внутренне и с большей научной строгостью, по существу ничего не значат. — Равным образом и для нашей, внутренне стоящей на распутье между двумя мирами, эпохи, существует настоятельная необходимость сделать такой выбор. При этом, в общем и целом, речь также может идти лишь об этих двух дорогах, ибо все сомнения и мнения, лежащие посередине между ними, суть всего лишь боязливое колебание из стороны в сторону, которому отчасти придана внешняя видимость научной формы или столь же мало пришедшая к определенности неясная смесь ограниченных и половинчатых воззрений. Однако выбор должен быть свободным и не может быть навязан ни в ту, ни в другую сторону; ибо то, что составляет глубочайшее умонастроение и образ мысли человека, или первую, последнюю и глубочайшую основу этого умонастроения, — не может одержать победу так же, как в процессе ссоры или перебранки, лишь внешне, без внутреннего согласия, и также не может быть достигнуто способом простого арифметического вычисления.

Если, далее, вечность есть не что иное, как живое и полное, свободное и завершенное время, то кто же тогда произвел, кто был причиной возникновения другого, земного, окаянного и расчлененного времени, видящегося не более, чем кандалами для всего чувственного мира; и что же такое представляет собой это время? — Я хотел бы ответить на этот сам собой напрашивающийся и естественный вопрос лишь одним замечанием — что поэтическое выражение о времени, сорвавшемся с петель, хоть оно изначально и прежде всего относилось к исторически вполне определенному времени, может быть распространено и до всеобщности, т. е. может быть отнесено к целому, или, одним словом — что это выражение

допускает всецело метафизическое истолкование. Что есть вообще метафизика и что значит «метафизическое», если не то, что выходит за рамки обычной природы и сугубо земного чувственного? Если же, теперь, человек не может навсегда отказаться от всех надежд, от всяческих перспектив на вечность и вообще от всех помыслов, выходящих хотя бы отчасти за эти тесные земные рамки, не желая вместе с тем перестать быть человеком в высшем, истинном и полном смысле этого слов; то мне кажется, что всякий раз, когда предпринимается попытка выхода или мысленного полета в эти высшие регионы, необходимо также, чтобы слова и выражения равным образом выходили за пределы обычного смысла и словоупотребления. Это совсем не означает, что язык философии в обозначении сверхчувственных вещей и понятий должен пугливо избегать всего живого, всякой видимости жизни (что, строго говоря, никогда не возможно и не достижимо в полной мере, ибо все попытки такого рода вели бы к абстрактному *ничто*). Напротив, самые живые и дерзкие, чудесным образом соединяющие собой все видимые противоречия обороты и формы выражения будут здесь как раз наиболее верными и удачными. В доказательство я мог бы привести множество библейских выражений; ибо во всем, что касается незримого мира, сверхчувственных регионов или метафизических вещей, именно они, если бы мы могли получить от них первое и наиболее свежее впечатление, представились бы нам самыми дерзкими из всех возможных; поскольку же от длительного употребления они обветшали и сделались будничными, нам приходится сперва самым внимательным и пристальным образом присмотреться к ним, с тем, чтобы заново открыть для себя их первоначальный смысл и истинное значение. Если говорить о более близком к нам временном круге, то в недавно отошедшую в прошлое научную эпоху, преимущественно у Лессинга, я нахожу на сей счет отчасти сходное воззрение: он всякий раз, заводя речь об этой сфере, чаще всего намеренно следует такому свободному и дерзкому методу, который я отчасти хотел бы усвоить и себе. Если, теперь, иной раз может быть позволено именно так, гораздо более общо и всецело метафорически, употреблять поэтические выражения в роде только что приведенного (о сорвавшемся с петель времени), то о предмете в целом всего этого рассматриваемого вопроса о времени я продолжил бы приблизительно так: если вечность первоначально и сама по себе есть не что иное, как полное,

и потому завершенное в себе и блаженное время; то время, т. е. время, сорвавшееся с петель, смятенное и разорванное чувственное время, — есть не что иное, как пришедшее, или приведенное в беспорядок, время. И здесь, далее, тут же возникает еще один вопрос: кто же мог привести его в беспорядок, кто мог оказать на него столь разрушительное воздействие при изначально гармоническом, органически-здоровом внутреннем пульсе всеобщей мировой жизни? Согласно той системе, которую я обозначил как *одну* из двух подлежащих нам и предлагаемых нашему выбору дорог, все это есть лишь обман, лишь видимость, рожденная из чувственной ограниченности, включая несчастье и даже боль и страдание наравне с так называемым злом, и все это присутствует лишь для того, чтобы, будучи трагически воспринимаясь нашим чувством и духом, производить на нас пусть и сокрушительное, однако возвышающее поэтическое впечатление. На другом же пути положенного здесь в основу убеждения ответ может быть найден легко, или, скорее, давно уже дан и общеизвестен: подобно тому, как все первые основные и первоначальные силы в сотворенном мире могут мыслиться лишь как духовные, точно так же и та сила, которая изначально привела в беспорядок время и бытие, всеобщую жизнь и мир в целом, была не что иное, как сила духа абсолютного отрицания и бесконечного разрушения, отворотившаяся от своего и всеобщего первоначального источника, — духа, которого я поэтому в другом месте обозначил как изобретателя смерти, влияние и власть коего нам не следует ни умалывать, ни ограничивать в своем представлении, коль скоро он по праву называется князем, или властелином, мира сего. Это не столько дух времени (по меньшей мере не в привычном смысле, где мы под таковым понимаем лишь дух, исторически вышедший из определенной эпохи и с блеском в ней преобладающий; там же, где необходим выход за рамки данной сферы, назад к еще более великому и, возможно, еще более возвышенному прошлому, или даже в другую сторону — в новую эпоху и в новое будущее, — правда, может быть, все еще односторонне ограниченный и в конце концов в любом случае исчезающий и заканчивающийся вместе со своим временем, как только само оно подходит к концу, преходящий дух); но это, напротив, есть дух, который послужил поводом для возникновения и впервые произвел на свет это свихнувшееся и сорвавшееся с петель время мира сего; т. е. он есть родоначальник ложного чувственного

времени вообще и высший правитель и всеобщий царь всех относящихся к нему и соединенных с ним отдельных временных периодов, сменяющих, упраздняющих и поглощающих друг друга, и один за другим низвергающихся в одну общую бездну вечного небытия, так что, напротив, все эти обычно так называемые духи времени суть всего лишь производные от этого первого и высшего духа времени, если мы все еще хотим так его называть, и подчинены ему, будучи для него безусловно вспомогательными. Вера же в такую духовную власть зла, равно как и само понятие о нем, даже в том его простом виде, как оно было дано нам, почти всецело обошли наше время стороной. Эти устаревшие для нынешнего духа времени выражения прежней веры уже более не производят никакого впечатления и чаще всего проходят попросту незамеченными, будучи сводимы на нет путем остроумных интерпретаций либо же тонкого высмеивания. На фоне мертвящей монотонности ослабшего в своем неверии мировоззрения, уже рожденного нейтральным и наконец ставшего безразличным ко всему на свете образа мысли, великий британский поэт — создатель *Каина* представляет собой скорее радостное исключение благодаря тому сильному и решительному впечатлению [которое оставляет по себе его труд]; по меньшей мере, он воздает честь тому, кому честь подобает, называет ребенка своим именем и, будто с натуры, изображает властвующего над миром царя духов вечной бездны во всем его мрачном великолепии, так что мы иной раз недоумеваем, откуда он берет для сего краски и черты, и едва сдерживаемся от того, чтобы спросить, не лежит ли часом в основании этого гениального изображения, столь превосходящего своим сиянием все прочие поэтические опыты автора, личное знакомство?

Между тем, разрушительный дух абсолютного отрицания, имя которого, кроме как в этой поэме, почти нигде уже не слышно, по этой причине отнюдь еще не утратил своей власти над миром, временем и его наукой. И более того, в самоизобретенных системах господствующей временной философии он повсюду, и больше, чем когда-либо, пользуется, пусть даже и в форме неосознанного почитания, всеобщим признанием и высокими, а иной раз и почти божественными, почестями. И впрямь достойно удивления, что в иных системах разума, дошедших до вершины абсолютного, весь теологический раздел обыкновенно целиком и полностью применим к той другой, отрицающей стороне божественной истины: здесь почти



все, даже без какого-либо существенного изменения выражений, подходит для характеристики этого первого и величайшего противника вечной любви и ее Откровения, и гораздо лучше могло бы сказываться и утверждаться о нем.

Другие, в духовном смысле менее извращенные или чуть мягче выстроенные системы разума (пусть это и не особенно бросается в глаза, однако тем самым еще ничуть не менее губительно для верного понимания высших истин) все еще весьма часто смешивают Бога с тем Ничто, из которого он создал мир; или даже случается, что этот косный временной закон самого чувственного мира, ставшего жертвой и преданного всевозможным несчастьям, в более трагическом мировоззрении, по меньшей мере поэтически, обожествляется как слепой фатум железной необходимости.

Если, теперь, вечность сама по себе и изначально есть не что иное, как живое, полное, еще не испорченное и сущностно истинное время; а пребывающее в земных оковах, или тенетах, чувственное время есть расстыковавшаяся и разошедшаяся по швам, или пришедшая в беспорядок вечность; то вполне понятно, что одно и другое не могут не иметь друг к другу касательства и что могут существовать некие переходные точки из одной сферы в другую. По меньшей мере, такой переход дан нам во всеобщем опыте смерти, причем чаще всего он рассматривается и обозначается именно как таковой. Сколь бы тривиально ни звучало выражение по отношению к умершему: «Он сменил временное пристанище на вечное» и все ему подобные; но все же лежащее здесь в основе понятие нельзя назвать собственно неверным. Поскольку же этот вопрос о времени и вечности (и не только в своей связи с жизнью и смертью, но также и в отношении ко всякому бытию и сознанию вообще) столь близко и столь множественным образом касается всякого сколько-нибудь думающего человека; то я не смог бы согласиться, если бы кто-то захотел совершенно исключить его из философии жизни, словно бы он лежал всецело вне границ естественного рассудка всех образованных людей, ибо тем самым вся эта материя отодвигалась бы прочь, в кабинеты теологов или иных ученых, как предмет более подходящий для их праздных диспутов; посему я счел целесообразным, по меньшей мере, сделать попытку представить и изложить все это согласно принятой здесь точке зрения и проистекающей из нее концепции, на совершенно ясном и общепонятном языке. Иные верующие также



говорят об умирании и смерти как о возвращении: либо о возвращении вообще, либо, с особенным добавлением, о возвращении на родину. Я охотно допускаю, что эти обороты речи (в особенности если они суть не более, чем обороты речи и если их скорее всего лишь повторяют с чужого голоса, чем наполняют собственным чувством, или же слишком часто употребляют к месту и не к месту) не всегда способны произвести на нас глубокое впечатление; вместе с тем, в них может заключаться прекрасный, серьезный и верный смысл, где по меньшей мере преимущественно выделяется лишь чисто духовная сторона. Лишь здесь впервые возникает затруднение и возникает вопрос: как можно вернуться туда, где, собственно, еще ни разу до этого не был, или как может нечто заранее называться родиной, которую мы лишь здесь ищем, находим и научаемся воспринимать как таковую; совершенно так же подобные вопросы должны были настойчиво возникать в связи с платоновским понятием воспоминания, если это последнее должно пониматься и мыслиться не как воспоминание о вечности, как здесь у нас, а буквально — как воспоминание о некотором времени. Если же, согласно более живому понятию о времени и вечности, не существует безусловного разделения между тем и другим понятием, но отыскивается множество точек соприкосновения и моментов перехода от одной сферы к другой, одним из которых как раз и является смерть, то все трудности исчезают, все становится совершенно понятным и само собой объясняется с этой точки зрения и при этой начальной посылке. Это и есть та единственная прекрасная сторона смерти, характеризующаяся таким переходом из времени в вечность, или из связанного и разорванного времени — в полное, истинное и блаженное; но она таит в себе и многое другое, ибо смерть вообще есть не простое событие, но весьма сложное явление. Что при этом чаще и резче всего бросается в глаза и что подчас всецело заслоняет собой все прочие и высшие элементы события в целом, — это страдание от порой весьма мучительного недуга, болезненные схватки распадающейся, разлагающейся организации в последней агонизирующей борьбе природы, тяжело и неохотно расстающейся с жизнью. Между тем, также и здесь, по меньшей мере иногда, к общей картине прибавляется и еще одно обстоятельство: когда страдание, даже физическое, вдруг уходит, уступая место почти радостному и, по меньшей мере, спокойному ощущению блаженства, в котором часто видят знак

ближающегося конца. И даже в медицинском наблюдении, более близкое суждение о котором я, впрочем, предоставлю другим, упоминаются отдельные случаи, когда у людей, одержимых сумасшествием, или умственным помешательством, это печальное помутнение, или паралич разумной способности в последний час перед надвигающейся смертью явственным образом отступает, и полноценное, здоровое сознание, часто с особенной ясностью, в последний раз возвращается к больному на краткие мгновения расставания. Совершенно независимо от органических болезней, связанных с уходом, их различных проявлений, или странных феноменов, которые иной раз случаются в этот миг, в умирании можно заметить еще и другой элемент, или чувство; имеется в виду уклонение от решительного перехода, или смелого прыжка в целиком и полностью неизвестную сферу, которое отнюдь нельзя смешивать с недостойным мужчины страхом перед смертью. У большинства людей такое опасение никак не связано ни с тягостным переживанием, или заботой об остающихся в этом мире, ни с каким-либо внутренним сомнением обеспокоенной совести; оно не может быть ни сведено к перечисленным причинам, ни объяснено ими. Все это совершенно отлично по меньшей мере от того чувства, которое я здесь имею в виду, которое я хотел бы обозначить как легкую духовную боязнь перед полной неизвестностью, которая по меньшей мере естественна и которая, по всей видимости, свойственна каждому, кто действительно стоит перед лицом такого перехода, будучи в полном и здравом сознании. Там же, где помыслы давно были направлены к этой переходной точке и на место такой темной неуверенности приходит знакомая и привычная мысль о вечности, мы наблюдаем высшую ясность и преисполненную упования веру, и в то же самое время в органической жизни, после борьбы и еще до окончательного ухода, наступает момент последнего и живительного вздоха уходящей природной силы, и здесь смерть показывает себя со своей прекрасной стороны, которая, безусловно, присутствует в ней. Даже на физиономии только что почившего часто запечатлеваются это трогательное выражение в высшей степени прекрасной смерти, и мы с удивлением видим застывшую на знакомом лице грустно-сладостную улыбку, почти как у дремлющего ребенка, к которой часто не примешивается даже легкий след воспоминания о прошлых страданиях. Тот, кто когда-либо видел такую смерть дорогих ему близких или друзей, тот, без-

условно, сохранит память об этом на всю жизнь. — То, с чем мы имеем здесь дело, есть блаженное предчувствие вечности, которое посещает человеческую грудь, прорываясь через границы времени непосредственно перед окончательным его истечением; я упоминаю здесь об этом предчувствии лишь как об одной из фактически данных точек соприкосновения или одном из моментов перехода между временем и вечностью; ибо для психологически полного понимания человеческой способности мышления в ее развитии существенным образом необходимо рассмотрение и этого последнего кризиса сознания на его завершающем и конечном этапе.

Однако и в самой середине жизни есть множество явлений и мгновений, где можно видеть, как границы времени, по меньшей мере на краткий период такого возвышенного состояния, словно бы разрушаются или исчезают. Сюда относятся отдельные моменты ощущения высшего восторга в молитве, или состояния подлинного экстаза, который, коль скоро он есть действительно подлинный, должен рассматриваться как краткий миг вечности среди времени, дающий возможность бросить мимолетный взгляд в высший мир полной и свободной духовной жизни. Даже внутренняя молитва без слов, если это истинная молитва, при которой в душе действительно нечто творится и свершается, а человеческое нутро претерпевает глубочайшее потрясение, подобна капле вечности, которая падает в душу, преодолевая временную преграду. Подлинный экстаз, если только он действительно может считаться подлинным, со своей органической стороны часто бывает сопряжен с, правда, всего лишь кажущимся началом умирания или, по меньшей мере, чувством, почти до полной неразличимости подобным умиранию и непосредственно предшествующим просветлению или потустороннему импульсу. Между тем, для строгого различения такие явления требуют особо внимательных наблюдений; их общая идея может быть легко обозначена в сознании, неотъемлемой частью коего она является, будучи в то же время сущностно необходимой для достижения полноты знания и формирования воззрения на него; однако в отдельных случаях составить верное суждение часто бывает затруднительно по причине остающихся сомнений. Поэтому здесь будет достаточно лишь мимоходом, не углубляясь в необходимые различения, упомянуть эти явления во взаимосвязи их целого, в качестве одной из ближайших точек соединения, в которых соприкаса-

ются между собой, или, точнее, взаимно друг друга проникают, время и вечность. Существует еще множество видов таких точек; одна из менее удивительных, но оказывающих столь же всеобщее и благотворное влияние на душу и столь же легко понятных, есть та, что имеет место в истинном искусстве и высокой поэзии. Ибо также и здесь именно вечное есть то, что всюду проглядывает из-под земной оболочки чувственного явления, временного события и поэтической образности, и именно на этой проглядывающей из-под внешних украшающих покровов силе вечного зиждется высокое достоинство и влекущее очарование истинного искусства и высокой поэзии; правда, и здесь, так же как и там, должно иметь место строгое различие между настоящим золотом и блестящими эстетскими подделками, или модным блеском, как и везде, где вечное и небесное входит в соприкосновение с земным и преходящим. Насажденное в человеческой душе, доставшееся ей в наследство, или врожденное ей, и здесь вновь проистекающее из сокровенного источника воспоминание о вечной любви, исходя из которого я попытался очистить изначально платоновское понятие от всех чужеродных примесей и посредством сего объяснить и оправдать его, есть не просто основа высшей жизни вообще, но, в частности, еще и одна из величайших кровяных артерий, дающих жизнь искусству и поэзии: однако кроме нее существует еще весьма большое число подобных артерий, столь же важных и ничуть не менее богатых и плодоносных. Такова, к примеру, тоска по бесконечности, которая с большей надеждой и устремлением направлена в будущее, чем вечное воспоминание о любви, которое как таковое более привязано к прошлому и часто даже сливается в восприятии с историческим ощущением действительных прошлых событий; тогда как истинное вдохновение в жизни, как и в искусстве, непосредственно опирается на некое высшее и божественное в настоящем, будь оно действительным или, по меньшей мере, за таковое принимаемым, и глубоко связано с чувством этого настоящего и с верой в него. Таким образом, эти три формы высшего чувства в человеке, проистекающего из бесконечного и вечного и стремящегося охватить божественное, все же в свою очередь естественным образом связаны в своем направлении с тремя временами, или различными категориями земного разделения времен. Безусловно, воспоминание о вечной любви, в том, что касается его влияния на искусство, представляет собой *одно*

чувство, или *одну* врожденную идею, коль скоро мы решили так его обозначить; тем не менее его действие может быть всеобщим и простирается на всю область сознания в целом; в то время как и все остальные чувства внутреннего человека: все мысли, представления и идеи мыслителя или также все картины, образы и идеалы художника, будучи словно в море, или некий поток высшей жизни, погружены в это Единое и основоположное чувство вечной любви, — через подъем к чистой красоте и совершенству приходят к духовному просветлению и преображению. И таким образом это идеальное воззрение на все вещи и на мир в целом со стороны всех ученых мужей платоновского умонастроения или также, в более близком отношении, в частности, к науке или к изобразительному искусству, вполне может быть признано как внятное и удовлетворительное и в этом своем верном понимании, в надлежащих границах и в том месте сознания, к коему оно действительно относится, — допущено и принято вплоть до появления лучшего. Дабы мы могли теперь указать должное место в целом сознания также и двум другим высшим чувствам, что укоренены в человеческой груди словно два божественных свидетельства о вечности: тоске по вечному и живому действительному вдохновению, — необходимо с большей полнотой продолжить психологический обзор сознания во всей сфере относящихся к нему способностей в их взаимном отношении, а затем присовокупить сделанный вывод ко всему сказанному ранее. — При составлении этого очерка духовной жизни и сознания я исходил из его четырех основных сил: рассудка и воли, разума и фантазии, из противоположных и крайних конечных точек и различных сторон света внутреннего бытия; совесть и память, в тех местах, которые по ходу изложения сами подводили нас к соответствующим вопросам, я охарактеризовал как опосредующие вспомогательные способности разума, т. е. стоящие посредине между разумом и волей, как в случае с совестью, и между рассудком и разумом, как в случае с памятью. Таким же образом я хочу объяснить теперь также и устремления, в особенности в той их своеобразной форме, которая свойственна именно человеку, а в сравнении с животными — лишь ему одному; в которой они превращаются в страсти и в которой они могут служить объяснением чувств. Устремления, в том их виде, в котором они становятся страстями, по аналогии с до сих пор принятым воззрением, следует, пожалуй, считать не чем иным, как побуждениями воли,

или волей, переходящей в бесконечность фантазии и тем самым утрачивающей внутреннее равновесие, и наконец, всяческую свободу, по меньшей мере, годную к действительному употреблению. Это срединное положение стремлений между волей и фантазией и в данном случае, конечно, вредное и извращенное взаимодействие двух основных сил в страсти или чувственности, доходящих до степени порочных черт характера, выказывает себя в частности также в собственно естественных устремлениях, общих у человека с животными, где губительное всегда или, по меньшей мере, на первых порах заключено в полном отсутствии меры, в разрушительном неистовстве. Если, теперь, эта неумеренность может достигать столь крайней степени и быть столь пагубной, что вконец изнуряет душу, подрывает здоровье и глубоко унижает дух, и мы иной раз бываем охвачены чувством стыда, сравнивая такое по собственной вине пришедшее к гибели человеческое существо с более благородными и совершенными в своей организации животными видами, у которых отправление их простых естественных надобностей происходит по большей части с тою же регулярностью, с какой день сменяется ночью, а небесные светила восходят и заходят. В чем чаще всего лежит первопричина таких заблуждений? По меньшей мере, в лучшем случае и при условии изначально благородных душевных свойств, это сперва бывает какое-нибудь ложное очарование фантазии, с магической силой овладевающее душой, увлекаая ее все дальше и дальше; однако в любом случае, если человек становится жертвой одной господствующей страсти, всецело попадая во власть одного-единственного предмета или обратившейся в тираническую привычку любовной склонности, это происходит по причине ложного применения, или извращения, силы бесконечного. Как иначе можно было бы вести речь об обманах страстей, охватывающих своей порчей столь значительные жизненные и вообще мировые пространства, если бы в них не имела своей части, или если бы им не способствовала, дурно употребленная фантазия? Даже те ощущения и импульсы, что направлены если и не на удовлетворение естественных потребностей, то на самосохранение и естественную защиту собственного существования, а потому приличны также и животным, такие как страх и гнев, могут достигать чуть ли не бесконечной страстной силы; особенно гнев, если он превратился во властвующую привычку и соединяется с ненавистью, завистью или жадной

мести, которые теперь, конечно, уже не суть собственно естественные устремления и в этой форме едва ли уже могут быть приписаны животным, но являются пороками, характерными для утратившего нравственные устои разумного существа, у которого дикие яростные приступы доходят до грани беснования. Но даже и в случае собственно скупости первой причиной, или внутренним корнем, такой злосчастной влюбленности в земное богатство является причудливым образом искаженное, ложное очарование фантазии, которое в своем высшем проявлении граничит с навязчивой идеей; в ненасытном стяжательстве, в свою очередь, это — ложно направленная сила бесконечного, ни в чем не находящая себе удовлетворения. Дальнейшее нравственное разъяснение или рассмотрение таких заблуждений и страстей не входит здесь в мои намерения, ибо лишь психологическая взаимосвязь целого побудила меня указать место, которое все они внутри этой взаимосвязи занимают. Но даже и здесь я хотел бы, как я уже однажды отметил в приведенных мною ранее сопоставлениях сравнительной психологии, не обращать свой взгляд дольше необходимого вниз, но сколь можно быстрее вновь обратить его вверх. Так же легко можно поступить и здесь, и для этого достаточно сделать то простое замечание, что сама по себе сила бесконечного и стремление к бесконечному, по существу, естественны для человека и принадлежат к его сущности. Порочность и причина всех этих заблуждений лежит в одной лишь не знающей границ чрезмерности, вообще в абсолютном, которое всегда и везде, как в жизни, так и в мышлении, разрушительно и оказывает разрушительное действие, или же в извращенном приложении этого стремления к земным и преходящим, чувственно-материальным и часто совершенно недостойным предметам: ибо это естественное для человека (что видно даже в его страстях и пороках) стремление к бесконечному, там, где оно действительно таково, никак не может быть ни насыщено, ни вполне удовлетворено ни одним из земных предметов. Если же, теперь, это стремление, свободное от всех обманов чувственной природы и от сковывающих уз земной страсти, действительно направлено на бесконечное, которое поистине таково: тогда оно нигде не сможет остановиться, но должно будет, восходя от ступени к ступени, подниматься все выше, и это чистое чувство бесконечного томления, наряду с воспоминанием о вечной любви, есть другое небесное крыло, на котором душа способна воспарить к



божественному. Это во все времена признавалось сторонниками платоновского мировоззрения, и из прежних столетий вполне можно было бы привести целый ряд достопримечательных изречений об этой идее томления. Однако дело не ограничивается одной лишь относительно весьма новой философией европейского Запада. Также и в священных писаниях евреев можно найти прекрасное выражение на этот счет, а именно: там пророк, т. е. муж, наделенный более, чем обыкновенной силой и избранный для высшего божественного предназначения, или служения, как собственным и подобающим ему именем, называется «мужем желаний»<sup>4</sup>, и томление, устремление мыслится здесь как естественная предварительная школа ко всякой высшей, духовной, или божественной, деятельности. В заимствованном отсюда, или в весьма близком, родственном смысле, французский философ<sup>5</sup> нашего времени (чьи принципы и воззрения я, впрочем, не везде и не во всем готов разделять, но который, однако, имеет, по меньшей мере, ту бесспорно великую заслугу, что посреди революционной эпохи, когда возобладал решительно материалистический образ мысли, принявший подчас всецело атеистическое, разрушительное направление, он все же во всех своих произведениях стремился утверждать и провозглашать высшее направление на духовное и божественное в человеке и в мире), назвал этим именем одно из своих самых содержательных и наиболее глубоких произведений. В более раннюю пору, когда я около двадцати лет назад в дружеском кругу излагал на французском языке эту философию жизни, в ту меру, в какую она тогда оформилась в моем представлении, я полагал, что в качестве отправной точки для нее может послужить именно это воззрение, именно эта чистая идея высшего томления; что, однако, в любом случае было бы слишком исключительным, а значит, недостаточным подходом; и, по меньшей мере, здесь, я хочу связать *все* элементы высшего сознания, сколь бы множественны, сколь бы многообразны они ни были, в одно целое, в одном исчерпывающем обзоре.

<sup>4</sup> Так в русском синодальном переводе. В оригинале Mann der Sehnsucht, «муж стремления, муж томления». В современной лютеранской Библии в этом месте стоит von Gott Geliebter, т. е. «возлюбленный Богом». — *Примеч. перев.*

<sup>5</sup> Возможно, речь идет о Клоде Анри Сен-Симоне, последний период философии которого характеризуется религиозно-мистическими настроениями. — *Примеч. перев.*



Даже в искусстве и поэзии существует более чем один такой первоначальный источник, более чем одна сокровенная жизненная артерия высшего чувства; и если воспоминание о вечной любви должно быть признано в качестве одной из них, то кто мог бы сомневаться в том, что столь глубоко корнящееся в человеческой груди чистое томление по бесконечному образует собой второй такой начальный элемент? — В поэзии, по всей видимости, преобладает первый, или элегический, элемент, по меньшей мере в самых ранних и простых поэтических произведениях древнейшей и первобытной эпохи фантазии; это словно щемящее воспоминание об ушедшем мире богов и героической поре; или же отзвук жалобного плача об утраченной райской невинности и первого небесного состояния; или, наконец, в еще более общем и высшем смысле, это напоминает затерянные отголоски блаженной детской поры всего творения, еще до того, как мир духов был приведен в смятение расколом, еще до начала всякого зла и истекающего из него бедственного состояния природы. С этой точки зрения можно было бы, по аналогии с ранее уже употребленным выражением, назвать поэзию вообще трансцендентальным воспоминанием о вечном в человеческом духе, ибо она, т. е. изначальная, первая и древнейшая поэзия, в качестве всеобщего и высшего органа памяти всего человеческого рода, из столетия в столетие переходит от одной нации к другой; однако, проходя в человеческом земном одеянии через все эпохи, она все же всякий раз неизменно вновь указывает назад, на это первое и вечное.

Напротив, музыка есть, пожалуй, томительно-влекущее и именно поэтому также магически-захватывающее и всепроникающее искусство; хотя также и здесь, как и везде в искусстве, высшее и земное связаны друг с другом подобно телу и душе, а небесное томление часто может до неразличимости смешиваться в один тон с земным. И именно это сплавление и слияние чувств, где из наполовину бессознательного земного томления всюду просматривается высшее и вечное томление, придает юности и всем юношеским проявлениям в пору первого раскрытия чувств, первой пробуждающейся любви, столь своеобразное и волшебное сияние, чему внутренняя грация юношеского состояния души способствует еще более, чем внешнее цветение и красота. Правда, о том, была ли в этом юношеском томлении действительно заключена высшая, вечная и непреходящая любовь, как глубоко внутренняя, все

более чистым образом развивающаяся и формирующаяся в земной оболочке светлая сердцевина, была ли эта первая любовь также и истинной, или все это было лишь мимолетным обманом, — обо всем этом можно судить лишь по результату, т. е. по всей проистекшей отсюда последующей жизни. Это должно проявиться в крепко хранимой верности, я бы сказал — во внутренней и внешней верности сердца и всего характера, всей жизни и высшей любви, человеческой и божественной. Поскольку же томление вообще занимает столь важное место в человеке, а не только в качестве кризиса перехода от ребяческого, скажем так, сознания, или бессознательности, к сознанию более зрелому и развитому; как юношеское ожидание в преддверии полноты жизни, или даже сама ее начальная точка; но от начала оно всегда и непрерывно, вплоть до самого конца, остается первой, наиболее сильной и чистой пружиной внутреннего человека, а его никогда не угасающее пламя, все более чистое и сильное, освещает для него путь к высшему бытию; то я хотел бы добавить здесь еще одно наблюдение о том, что связанная с этим томлением надежда настолько тесно соткана с сущностью человека, что едва ли не составляет характерное свойство его внутренней сущности и состояния в целом. И бесы, как сказано, *веруют* и трепещут; любовь сущностно свойственна также и Богу, и она даже есть сама Его сущность, а в известном смысле она также свойственна всем сотворенным вечной любовью; даже в сокровенных жизненных артериях одушевленной природной жизни не стихает это биение пульса всеобщей любви. Надежду Богу приписывать нельзя, ибо в нем все уже исполнено; сама по себе природа может лишь воздыхать и сетовать, и даже если она не безнадежно несчастлива, то сама она все же не может собственно надеяться, по меньшей мере не из собственной силы. Человек, в отличие от всех остальных тварей, есть существо, утвержденное в *надежде*; можно было бы сказать, что он есть бессмертный дух в состоянии надежды, и таким образом он среди всех остальных сотворенных существ предназначен и избран быть возвестителем божественной надежды.

В качестве третьего внутреннего жизненного источника истинного искусства и высшей поэзии, наряду с двумя прежде названными — воспоминанием о вечной любви и чистым томлением, — я назвал истинное вдохновение божественным; и среди различных искусств такое вдохновение я преимущественно приписал бы изобразительному искусству во всем его

объеме, по справедливости включая сюда и высшую архитектуру. Во вдохновении божественное, коим оно исполнено, понимается и представляется не в далекой дали прошлого или будущего, как в случае с воспоминанием или томлением, но схватывается и постигается как настоящее и реальное, и это верно в отношении художественного вдохновения точно так же, как и в отношении того, которое часто составляет эпоху в нравственной и общественной жизни, созидая и порождая истинно новое. Однако божественное красоты, по меньшей мере в духе художника, должно было быть действительным и живо представиться его духовному оку, стать настоящим и предметным, прежде чем оно сможет зримо выступить пред нами во внешнем образе. Как везде и во всяком ином искусстве, совершенство зиждется на своей противоположности и на ее преодолении, точно так же разумеется, что и здесь, для того, чтобы произвести нечто совершенное, высшее вдохновение должно быть сопряжено с величайшей продуманностью, рассудительностью и большой выдержкой в исполнении. Впрочем, не требует особого напоминания, что искусства отнюдь не потому столь четко ограничены по всем сторонам и столь непреложно заключены в свои тесные границы, что в каждом из них прежде всего главенствует особый род высшего чувства или источник высшей жизни. Одно искусство часто переходит в область другого, что не всегда есть всего лишь ошибка или результат сущностного, а потому пагубного и ведущего к заблуждению смещения. В частности, поэзия способна жить и в других областях, можно сказать — во всех прочих, будучи всеобщим искусством. Даже если первое место занимают древние и первобытные поэтические творения, или возвышенные эпические сказания, повествующие о прошлом, — кто захотел бы исключить из поэзии глубокое внутреннее томление, или божественную способность высшей любви и вечной надежды, или вообще всю музыку чувств, которая как раз и представляет собой одушевляющий принцип, или своеобразную сущность лирического искусства? — Или кто поставил бы в упрек, если поэзия стремится теперь иным образом выразить то, что в этих божественных воспоминаниях и томительных предчувствиях составляет ее глубочайший дух и сокровенную сущность, и представить сущностное содержание своего внутреннего бытия в качестве драматического действия, в самой живой действительности и как всецело настоящее; в каком-то отношении она вновь становится

ближе к изобразительному искусству и может усвоить себе те или иные свойственные ему качества. Здесь вообще-то следует предупредить возможное недоразумение. Хотя и не без основания, полагаю, многие настаивают на необходимости строгого различения, с тем, чтобы отделить высшую поэзию от ложной видимости. Поэзия, которая служит страсти, моде или даже прозе и всем лишь сугубо прозаическим целям, не заслуживает этого имени. Иное дело, если поэт оплодотворяет своим поэтическим даром и своим высоким поэтическим мировоззрением (а именно это, а не одна лишь внешняя форма, и делает человека поэтом) прозаическое описание той или иной действительности, того или иного исторического материала; или если он в искусном и гармоническом изложении являет нам образ борьбы человеческих страстей (конечно, не для того, чтобы еще более усилить их накал или способствовать их дальнейшему распространению), но лишь для того, чтобы своим ясным сознанием глубоко проникнуть в их хитросплетение. Это можно было бы, пусть и в совершенно иной области, однако в весьма схожем смысле, как в математических науках, назвать прикладной поэзией, и к этому роду относится множество художественных произведений самых разных эпох.

Различные искусства, или различные направления одного и того же искусства в различные эпохи и мировые периоды у народов, разделенных между собой языком и обычаями, стилем и духом, следует рассматривать как различные диалекты одного и того же языка, имеющие *один* источник и состоящие в близком родстве; в них через все столетия и народы средствами внутреннего, высшего художественного чувства проявляется одно и то же общее разумное понимание, связывая один народ с другим духовными и душевными узами любовной и побуждаемой любовью фантазии и таким образом объединяя их между собой. — Эти вечные основополагающие чувства в человеческой груди, подобно словам-основам или корневым слогам вечного воспоминания, врожденного томления и стремящегося ввысь вдохновения, таким образом, стоят между собой в глубочайшей взаимосвязи (хотя мы еще не в силах в полной мере ее обозреть и чаще можем лишь глубоко чувствовать ее, не имея возможности дать ей исчерпывающее объяснение) и словно бы образуют вместе один общий язык. И если мы, как отмечалось ранее, тщетно силимся внешними, географическими и этимологическими, средствами отыскать по всей земной поверхности тот общий и изна-

чальный язык, от которого произошли все прочие; то не есть ли этот, как я сказал, облаченный в покровы искусств и проглядывающий сквозь них язык, — не есть ли именно он тот самый, столь близкий нам, внутренний, духовный и изначальный язык (однако иного и высшего рода), затерянные и, судя по взаимосвязи, отрывочные отголоски и отдельные аккорды которого, вновь пробужденные подлинным искусством и высшей поэзией, все еще продолжают звучать в нашей груди?

## Пятая лекция

В этой попытке описать духовного человека я исходил из общей идеи внутренней жизни, взяв ее за основу всего последующего развития; ибо, как я уже отмечал, Философия Жизни не предпосылает ничего иного, кроме, собственно, самой этой жизни (точнее — жизни внутренней), и не нуждается ни в какой иной предпосылке. Эту всеобщую идею внутренней жизни я попытался развить в предшествующих чтениях до степени вполне оформившегося и точного понятия человеческого сознания, в соответствии с его отдельными составными частями и внутренней взаимосвязью; и на сем первая часть этого очерка надлежащего способа познания нашего существа и жизни в целом будет закончена, — после того, как я добавлю еще то небольшое, что осталось сказать, дабы привести понятие сознания к его полноте и завершенности, а затем еще раз представлю все целое в едином обзоре, в чем и состоит моя ближайшая задача в ходе этого простого и последовательного развития первоначальной идеи. В моем стремлении глубоко и точно изобразить живую взаимосвязь между мышлением и речью, уже в полагании этих первых основ характеристики человеческой способности мышления, язык послужил мне внешней точкой опоры сравнительного исследования, а наряду с ним — также и искусство, поскольку и оно может рассматриваться как некий внутренний язык высшего рода, тем более, что мы отчасти уже ориентируемся в самом языке, а также в истории его возникновения и формирования — благодаря возможности четко отличать производные и смешанные языки от более древнего и наидревнейшего праязыка; более того, мы можем даже иногда указать вероятную ступенную последовательность развития этих производных языков, и, по меньшей мере гипотетически, в духе, проследить ее ход;

сколь бы фрагментарными ни выглядели до сих пор весь этот мир языков и вся наука о языке, даже после значительных приращений и новейших открытий и исследований; ибо и без того первое возникновение языка вообще, наряду со столь же непостижимой на вид первой мыслью, или началом всякого мышления, остается окутано непроницаемым мраком. Искусство же было названо языком и рассматривалось как таковой не в *том* смысле, в каком, например, поэзия сперва была признана носительницей божественного языка, а затем и сама была отождествлена с таким языком, — будь то благодаря пластической красоте ее внешней формы или благодаря аллегорическим образам, иносказаниям и символическим покровам, в какие иной раз бывает облачено и изобразительное искусство; но эта мимоходом затронутая мысль имела в виду то и заключалась в том, что искусство вообще есть высший духовный природный язык, или, если хотите, некий род внутреннего иероглифического письма и изначальный язык души (не только по своей внешней форме, но и по своей глубочайшей сути; и не только в *одной* своей форме, или в *одном* своем виде, но во всех тех, что сущностно принадлежат к его сфере в целом), — язык, который уже сам по себе понятен всякому, кто восприимчив к нему, кто открылся и стал доступен для него благодаря своему художественному инстинкту и остроте чувств. Ибо ключ к нему лежит отнюдь не в какой-либо заранее принятой условности, как в том, пусть цветистом и чувственно-прекрасном, однако же лишь конвенционально-символическом восточном языке, но в самом чувстве и в самой душе, чьи вечные основоположные чувства под его воздействием, скажем так, пробуждаются, или пробуждаются вновь, — в этом внутреннем слове души истинного искусства, которое можно было бы, по аналогии с тем, как принято говорить о загадке жизни, или о загадке мира, и искать в ней предмет и задачу философии, или так ее определять, назвать загадкой *надежды*, а именно, — вечной, божественной надежды. Загадкой, однако, наравне с жизнью и миром, остается и высшее искусство; притом оно и должно видеться нам загадкой, поскольку всегда или чаще всего оно дает нам уловить лишь отдельные, разрозненные звуки и отрывочные тоны, лишенные полноты внутренней взаимосвязи. — Именно имея в виду эту внутреннюю взаимосвязь между речью и мышлением, языком и сознанием, а также то, что сам человек, по совокупности характерных для него

и свойственных ему, сущностно отличающих его качеств, есть не что иное, как сотворенное Слово (слабый отзвук, или весьма несовершенное отображение, Слова несотворенного, вечного), стоящее среди прочего творения между природой и миром духов; мне придется и впредь, во всяком случае, в этом очерке внутренней жизни, пользоваться идеей языка, а также его характерными или своеобразными свойствами, в качестве внешней точки опоры для сравнений или сопоставлений, проясняющих суть тех или иных, обычно весьма неудобосказуемых и не вполне внятных моментов внутренней мысли; ибо вообще живое мышление и наука об этом живом мышлении не могут быть отделены от Философии Языка.

Я сказал, что всеобщая идея внутренней жизни была положена в основу всего предшествующего развития и что это единственная предпосылка, в которой нуждается Философия Жизни и на которую она имеет право. Здесь мне могли бы возразить, что, дескать, в тех многочисленных отступлениях, в которые я поневоле пускался, следуя ходу развития этой *одной* первоначальной мысли, я предположил, или допустил, еще и многое другое, если и не явным, то скрытым образом, если и не по личному произволу, то исходя из позитивного убеждения. На это вполне естественное и ожидаемое возражение я могу ответить лишь то *одно*, что если мне иной раз и пришлось выразиться с недостаточной долей условности и гипотетичности, то все же моим намерением было поступать именно так, и что всякая иная до сих пор якобы принятая предпосылка, кроме той первой и единственной, должна здесь считаться временным и условным допущением, принятым вплоть до дальнейшего исчерпывающего исследования и окончательного решения, без всякого желания как-либо предвосхищать лежащее здесь в основе убеждение или уже заранее определять его как незыблемое. — Поскольку *сомнение* представляет собой неизбежное и необходимое состояние, или сущностное и основоположное свойство, действительно совершенного человека, то уже сам естественный ход этого изложения приводит меня к тому, чтобы посвятить этой проблеме мыслей, спорящих сами с собой, отдельную его часть, которая и следует здесь непосредственно и естественно. Как предметом и содержанием первого раздела, или задачей на первой ступени этого развития, было расширить, или возвести в более высокую степень, простую и всеобщую, однако слишком неопределенную в этой своей всеобщности, идею



внутренней жизни, и шаг за шагом довести ее до всеобъемлющего и членораздельного понятия сознания: точно так же для следующего раздела и следующей ступени сущностным содержанием и собственной задачей будет провести данное в этом уже полностью очерченном сознании чувство чистой любви, внутренней жизни, или высшей истины (как мы всегда стремимся его обозначать, полагая такое обозначение наилучшим) через кризис сомнения к определенности суждения, внутренней уверенности и твердости или, по меньшей мере, к ясному различению между тем, что известно и бесспорно, и тем, чему все еще должно пребывать в неопределенности.

К этой, весьма подробно очерченной в предшествующих лекциях, характеристике человеческого сознания, в случае требования ее полноты, следовало бы добавить еще и те высшие элементы, которые иные подвергают сомнению, а иные даже решительно отрицают, что и послужило поводом или естественной причиной к тому, чтобы привести их здесь, по меньшей мере, в качестве признанных общечеловеческим чувством фактов сознания, без малейшего желания тем самым как-либо воспрепятствовать более глубокому исследованию, или заранее преградить доступ сомнению, доходящему иной раз до высшей степени накала. Ибо для иных даже самое высокое искусство есть всего лишь плод воображения ищущих в нем своей выгоды гениев и дилетантов; другие же именитые авторы объясняли голос совести и саму совесть как нечто благоприобретенное — как предрассудок, привитый нам обучением и воспитанием, как ведущую к заблуждению привычку. Насколько же большее число сомнений было бы выдвинуто со стороны такой системы отрицания всего высшего против платоновского воспоминания высшей любви, или указанной мной идеи чистого бесконечного томления? Если столь многие выступают против свободы воли, оспаривая ее и подвергая сомнению, то значит, они отрицают саму эту волю: ибо воля, которая не свободна, тем самым не есть уже воля. Если, в свою очередь, иные во всех человеческих помыслах не желают признавать ничего собственно творчески нового, или оригинально-своеобразного, видя во всем этом лишь повторение, лишь перемену мест получаемых извне впечатлений, и отказывая человеческому духу во всякой собственной изобретательской способности, то тем самым отрицается даже фантазия как одна из существенных основных сил сознания, и в результате выходит, что все в сущно-



сти есть лишь память, и то, что мы обыкновенно называем фантазией, есть, согласно этой предпосылке, та же память, только впадшая в делириум<sup>6</sup>. Ведь некоторые даже разум и сущностно разумный характер человека пытались свести к одной лишь чувственности, совсем незначительно превосходящей степень хорошо выдрессированных животных. Все эти особые и отличные от нашего взгляда мнения, каждое из которых требует посвятить ему отдельный доклад в связи со второй темой: «о разуме и свойственном человеку в целом сомнении и состоянии сомнения» (где все они могут ожидать своего решения и непременно найдут его), — нельзя подвергнуть пристальному рассмотрению сей же час и немедленно, ибо здесь нашей целью является прежде всего дать всеобъемлющий очерк человеческого сознания со всеми его высшими элементами и задатками, а также со всеми содержащимися в нем земными и низшими составляющими, исходя из простого мышления и всеобщих идей внутренней жизни.

Идея, такая как наша общая идея внутренней жизни, есть идея сама по себе и в своей форме все еще неопределенная, однако уже относящаяся к определенному предмету, а в своем содержании — к этому ограниченному мышлению; понятие же есть идея, математически измеренная числом, мерой и весом; т. е. оно есть мысль, членораздельная и в совершенстве артикулированная во всех своих составных частях, измеренная во всем своем объеме и своей ценности, взвешенная в своем внутреннем содержании, а также в своем отношении к другим, ей родственным и подобным, принадлежащим к более низкому или, напротив, высшему порядку, — есть тщательно выверенная и завершенная в своих внутренних формах, мысль. Таким образом, нас до сих пор занимало, образуя собой предмет и задачу всего нашего исследования, собственно, лишь *одно* понятие, а именно, понятие человеческого сознания; поскольку та философия, которая не имеет привычки громоздить бесконечные ряды самоизобретенных, произвольно созданных понятий, объединяя их между собой неким иллюзорным подобием закона необходимости, но стремится лишь придать органическую форму всем имеющимся фактам в *одном*, внятном, живом и прозрачном понятии, вообще имеет дело лишь с малым числом таких понятий, и двух

<sup>6</sup> Разновидность психического расстройства, сопряженная с галлюцинациями и образным бредом, при повышенной физической активности и сохранении самосознания.

или трех таких понятий, например, понятия сознания или также понятия науки и самого человека, ей вполне довольно для того, чтобы разрешить и привести к окончательной ясности три интересующие нас загадки: жизни, мира и высшей божественной надежды, — пусть и не в совершенстве и не в полноте, но хотя бы отчасти, в той мере, какая будет для нас плодотворна и благотворна, и в тех границах, которые для нас возможны, нам отпущены и дозволены.

Намереваясь теперь заложить последний камень в основу до сих пор мной развивавшегося совершенного понятия человеческого сознания, дополнив последнее всеми до сих пор недостававшими элементами, я буду придерживаться того же самого метода, что использовался мной и до сих пор, а именно: тот великий и судьбоносный вопрос, ответ на который должен дать себе человек, существует ли вообще истина, способен ли он ее постичь, или насколько она для него достигаема, — до тех пор, пока исследование не дошло до того места, к коему, собственно, сам этот вопрос относится, — я предварительно оставляю в стороне, приняв как таковой до сей поры всегда признававшийся человеческими чувствами факт сознания и включив его в общую схему этого понятия; и лишь, может быть, там, где подобный феномен сознания все еще предстает в несколько сомнительном свете, — вставлять несколько поясняющих слов, дабы устранить возможное недоразумение или предостеречь от чрезмерно поспешных выводов, постулируя как таковой лишь сам чистый факт, для его обоснования и оценки в дальнейшем.

В качестве четырех взаимно противостоящих друг другу конечных пунктов в этом очерке разделенного и погруженного в раскол сознания были отмечены четыре его основных силы: рассудок и воля, где каждый в самом себе, на своем собственном опыте и примере ближайшего окружения, может легко убедиться, сколь редко случается их вполне гармоничное взаимодействие; и что дисгармоническое противоборство часто с наибольшей остротой вспыхивает там, где обе способности действуют с необычайной силой или же одна из них обретает существенный, решающий перевес; затем разум и фантазия, чья четко различимая противоположность дает себя знать как таковая даже во внешней официальной жизни и в гражданско-общественных сношениях, где люди, в большей степени наделенные эстетической фантазией, и художественные, или поэтические, натуры, к каковому классу

(при том, что истинный гений составляет здесь весьма редкое исключение), если брать это понятие достаточно широко, в сущности, принадлежат весьма и весьма многие, и, напротив, натуры практически-разумные и более пригодные к деятельной жизни, однако более или менее ограниченные и сосредоточенные на общей пользе такого практического разума и с подозрением взирающие на всякий высокий полет фантазии или пылкое изъяснение чувства (или, по меньшей мере, плохо их понимающие), образуют человеческие роды, которые лишь крайне редко пытаются проникнуть во внутренний мир своей противоположности, стать на ее точку зрения и судить о ней верно и справедливо. Еще более редкими должны быть исключения, где оба рода чувственного настроения и внутренних способностей объединены в совершенном союзе. Наряду с этими четырьмя основными силами первого порядка, свою характеристику до сих пор получили (сообразно со свойственным им местом в целом человеческого сознания) выведенные из последних и смешанные вспомогательные способности второго порядка: совесть и память, а затем стремления и страсти, представленные как движения воли, переходящие в бесконечность фантазии и таким образом занимающие среднее место между волей и фантазией. Теперь осталось добавить несколько слов о внешних чувствах, и на этом весь круг обычного, погруженного в раскол и страдающего множественным разделением, сознания будет полностью завершен. Я лишь хотел бы, касательно последнего опыта характеристики влечений, обратить внимание еще на один особый их род, сущностно именно сюда относящийся и немаловажный для полного отображения этой стороны человеческого сознания, — который дает нам еще один пример того, до какой степени в самой природе заложена причина или, самое малое, первый повод для сопоставлений сравнительной психологии, подобных тем, что мы предприняли в этом исследовании. Я имею в виду так называемые художественные устремления, которые даже у некоторых из наиболее одаренных чувствами животных, трудолюбивых насекомых и вообще многих видов живых существ представляют собой столь удивительное явление, обнаруживая родство с художественными склонностями и занятиями у человека, которому ведь тоже отнюдь не все достается в результате обучения: у дарований пусть и низшего порядка, но все еще сродственных искусству и всему прекрасному, многое совершается скорее

в силу неосознанного, врожденного инстинкта. Подлинный высокий художественный гений сюда причислять, по всей видимости, нельзя, ибо последний, скорее всего, принадлежит иной сфере: в нем бессознательная продуктивная способность не столь тесно ограничена определенным способом, направлением или формой, но его сущностную основу образует исполненная вселенским бытием и словно бы борющаяся с бесконечным плодотворная сила воображения. Однако это заимствованное из естествознания для сравнительной психологии понятие могло бы быть приложимо к тому чистому чувству бесконечного томления, которое я обозначил как высшее во всей этой сфере и вообще наивысшее человеческое устремление; согласно идее, которую я попытался утвердить в отношении него, это глубоко внутреннее и ничем вполне не насытимое томление в человеке можно было бы вполне называть инстинктом вечности, или также неким, часто имеющим весьма продолжительное действие, поначалу же всегда бессознательным художественным устремлением к высшему призванию и божественному предназначению. — Внешние чувства, таким образом, суть, с одной стороны, служебные инструменты и орудия рассудка в материальном мире, необходимые для накопления в нем опыта и наблюдений и построения из них опытной науки; с другой стороны, эту последнюю можно было бы с определенным правом назвать прикладной фантазией, которая здесь в известном направлении входит в подробное рассмотрение материальных предметов; ибо воспроизведение и репродукция внешнего впечатления в органе, как, например, зримого образа или уменьшенного изображения в глазе, всегда есть лишь подвид или боковая ветвь продуктивной силы воображения в целом. В особенности же также и тот новый орган чувств высшей потенции, который, правда, лишь в качестве исключения, может развиваться или быть сокрытым в чисто материальном элементе, — я имею в виду музыкальный слух или око, восприимчивое к живописной красоте и форме изобразительного искусства, — следует рассматривать как световой луч фантазии, опирающийся на внешний носитель, или проводник.

Для взаимосвязи целого и для того, чтобы еще раз подтвердить с помощью примера сравнительного сопоставления, что тройственный жизненный принцип человеческого бытия в целом зачастую повторяется также и в частностях и может быть точно так же обнаружен здесь в уменьшенном масшта-

бе, однако в тех же самых пропорциях; немаловажным или, по меньшей мере, нелишним было бы заметить, что какие бы физиологические или даже анатомические основания, вполне достаточные для этой естественнонаучной сферы, ни имелись у нас к тому, чтобы предположить в человеке наличие пяти внешних чувств, все же было бы психологически точнее, а с философской точки зрения — просто правильное, — предполагать их всего три. Ибо то, что в восприятиях вкуса имеет место не просто механическое соприкосновение, но присутствует химическое растворение вкушаемого, благодаря чему, собственно, и возбуждается приятное или, напротив, горькое и неприятное ощущение; точно так же, как и в случае с запахом, хоть и не происходит видимого испарения, или улетучивания, все же именно летучая эфирная субстанция исходит от тела и вдыхается внутрь, — есть все же отнюдь еще не достаточная причина для образования особых органов чувств. Ибо ведь точно так же при внутреннем органическом ощущении собственного телесного довольства или, в противоположном случае, боли или страждущего состояния воспринимается, или ощущается, не просто механическое соприкосновение извне; по причине чего некоторые желали бы разделить здесь *один* орган материального восприятия на более мелкие части, предположив большее количество чувств, нежели известно ныне, что в любом случае было бы излишне, ибо, по меньшей мере, с психологической точки зрения, все такие подразделения должны рассматриваться как боковые ветви, или подвиды, одного и того же чувства. Следовательно, если мы считаем все эти материальные чувства за одно-единственное, а значит, существует, собственно, всего три чувства, то очевидно, что последние в точности соответствуют в этой малой и ограниченной сфере тройственной сущности человека и трем составным частям его полной сущности — духу, душе и телу. Глаз из всех внешних органов чувств есть, бесспорно, наиболее духовный; слух, через который мы воспринимаем звук и голос, слово, напев и всякого рода музыку, пожалуй, более всего соответствует душе; материальный же орган чувств есть собственно телесный, поставленный также в качестве служебного органа и стража для охраны органического тела и его благосостояния. После утраты зрения или слуха все остальное тело зачастую может оставаться вполне здоровым; напротив, полный и всеобщий паралич осязания уже знаменует собой близость смерти, по меньшей мере на первый взгляд, ибо

известны и преходящие болезненные состояния подобного рода. Впрочем, и этот третий телесный орган чувств не всегда является столь грубо материальным и всего лишь внешним; но в нем, по меньшей мере, в виде исключения (ибо высший художественный дар зрения и слуха также свойственен далеко не всем), может развиться более духовная форма восприятия, в психическом ощущении родственной жизни и внутреннего света, от которого часто происходит своеобразное и удивительное природное чутье — некий инстинкт, угадывающий незримое во внешних явлениях жизни. Если же, теперь, иные склонны напрочь отрицать это явление и эту способность, то, пожалуй (коль скоро последние даны как факт и в достаточной мере подтверждены опытом), такое отрицание мало что решает и не может иметь веса, будучи простым отрицательным суждением, происходящим от неведения. С другой стороны, столь же большим, если не еще бóльшим, заблуждением является, когда иные, под влиянием первых же наблюдений и опытов, делают из этого природного чутья, иногда и впрямь поразительно верного в своих догадках и предвосхищениях, своего рода невидимый, непогрешимый и всеведущий оракул, рассматривая его так сами и требуя того же от остальных. Ибо в сфере психологии и среди всех присущих человеку вообще и в частности духовных сил и дарований такого оракула не существует, и менее всего, пожалуй, его появления следует ждать в критический момент перехода от обычного сознания к совершенной бессознательности, а от нее, в свою очередь, — к иному, просветленному сознанию, которое как раз в данном случае, стоя посередине между светом и тенью, выказывает порой свое близкое родство с миром грез. Что касается ограниченности духовных сил и способностей человека вообще, и в частности силы его сознания, то даже разум, как уже не единожды отмечалось, нельзя принимать за такой всецело свободный от заблуждения оракул, за абсолютно непогрешимый орган истины; самый светлый рассудок и самое утонченное художественное чутье не всегда являются такими оракулами даже в их собственной сфере; еще менее того воля и фантазия. Даже внутренний голос совести, несмотря на то, что уже само имя ее указывает на внутреннее знание и его непреложность, не всегда и не повсеместно признается таким уж не подверженным обману и непогрешимым, ибо некоторые мыслители и писатели в подобных предметах, по меньшей мере, в отдельных случаях, ввели понятие за-

блуждающей совести. Далее, упомянутое природное чутье, даже там, где оно выступает сильнее и яснее всего, всякий раз предстает индивидуальным и своеобразным, и как таковое его следует рассматривать и оценивать. Это замечание могло бы служить первой путеводной нитью и наиболее важным правилом, которое следует твердо усвоить и не упускать из вида; во-вторых, даже и там, где оно действительно и с определенностью налицо, будь оно совершенно бессознательным, полусознательным или полностью осознанным, — оно все еще нуждается в строжайшем внимании и самом заботливом попечении на протяжении своей долгой и постепенной эволюции, — ничуть не меньшем, чем то, что необходимо для полноты развития и формирования высокой художественной чуткости зрения или слуха, где такая вершина развития образует сокровенное световое пятно, заключенное среди материальных внешних чувств словно некий духовный стержень, новый, внутренний орган чувств в органе внешнем, еще один, невидимый, глаз в глазе видимом, как можно было бы назвать художественное зрение по отношению к обычному.

Итак, мы обобщили в данном обзоре все то, что известно нам о человеческом сознании, чей внешний контур образуют по меньшей мере восемь до сих пор охарактеризованных его составных частей, или способностей; четыре большие основные силы первого порядка: рассудок и воля, разум и фантазия; и затем четыре вспомогательные способности второго порядка, которые, по меньшей мере, с психологической точки зрения, представляются как выведенные из этих первых и возникшие в результате их смешения: память и совесть, затем стремления и внешние чувства. Можно видеть, что эти четыре первые, существенные и главные силы часто лежат в основе гениальных природных задатков неиссякаемой энергии, величия и созидательной мощи; однако, как правило, лишь в отдельных случаях, с явным превышением меры и часто с односторонним преобладанием одной доминирующей и изолированной силы, которая в своем внешнем действии и в целом во внешней жизни часто сдерживается как раз лишь по причине самой этой своей односторонности и изолированности, — оттого, что эти четыре больших рычага и элементарных силы человека в целом не всегда счастливо взаимодействуют, будучи вовлечены в обоюдное противостояние и раскол, чиня друг другу препятствия и помехи. Но не в одном лишь отдельном человеке и только во внешнем опыте эти



четыре основных силы выступают с подобной решительностью и живой энергией: это очевидно и в великом ходе развития рода в целом, во всей человеческой истории. Если мы представим себе теперь живой и пронизательный рассудок греков, а вслед за тем — могучую и властную, не только покоряющую мир, но и являющую чудеса самообладания силу воли римлян; далее, чарующую полнотой своей любовной лирики и дерзкую в своих проявлениях как в жизни, так и в искусстве фантазию христианского средневековья; наконец, упорядочивающий все по своему смыслу и закону, легко связующий между собой все самое удаленное, примирительный в своем посредничестве, однако непрестанно ведущий разрушительную войну против всего вокруг и в том числе против себя самого разум современной эпохи, — мы вновь увидим уже знакомую нам отправную схему человеческого сознания, — первый результат нашего психологического исследования, или науки о собственной самости, — здесь, однако, уже принявшую характер всемирно-исторический, усвоив себе огромный масштаб и дистанции сменяющих друг друга столетий и эпох, — теперь уже как явный результат истории формирования человечества на протяжении всего временного пространства ближе всего к нам стоящих, а в историческом плане лучше нам знакомых трех с половиной тысячелетий после их истечения. Сколь бы существенной неполнотой ни страдало наше исследование в отношении своего начала или середины и сколь много ни надлежало бы еще внести дополнений и уточнений, чтобы дать хотя самую общую картину этих четырех ступеней, исторических эпох, или периодов образования в наиболее знакомом нам регионе: все же в свете поставленной нами цели одного лишь указания будет довольно, чтобы подтвердить, что в историческом плане каждая из этих четырех основных сил человека на своем месте развивается с величайшей решительностью, достигая порой в этом своем развитии колоссального и почти сверхъестественного величия; однако также и здесь внутреннее равновесие между различными силами и гармоническое взаимодействие обыкновенно случается лишь как редкое и счастливое исключение, в целом же, скорее, отсутствует, и, напротив, в этом целом болезненно и мучительно ощущается и осознается как раз недостаток такой полноты совершенства жизни и живого взаимодействия. — Совсем иначе обстоит дело с четырьмя выведенными из этих первых или смешанными и опосредующи-



ми, вспомогательными способностями второго порядка, на которые в целом вполне можно было бы распространить ранее уже приведенное суждение об американских народах и языках, имея в виду проявляющийся также и в них очевидный и величайший распад человеческого рода, все увеличивающуюся глубину процессов разложения, немощь и расщепленность. Внешние чувства — жалкие подсобные средства самого скудного и неудовлетворительного познания для человеческого духа, объемлющего в своем стремлении все бытие, божество и всю вселенную, — тесно ограничены своим ближайшим материальным окружением; и если даже наука из столь бедных и невзрачных начал умудряется порой развить и вывести нечто великое и грандиозное; если даже в самих этих внешних органах чувств истинное художественное чутье образует некую малую и высшую световую искру: то все же и она сама, и сфера ее бесспорного приложения все еще подпадают под великое множество ограничений. Память вообще есть всего лишь с мучительным трудом обретенная механическая способность, которая затем вновь ослабляется и притупляется, и обычно весьма скоро, по меньшей мере отчасти, угасает. Стремления подвержены опасностям множественных отклонений и восторженно-мечтательных заблуждений. Что человеческая совесть не пребывает большей частью в состоянии бессилия, немощи и притупления; что она, напротив, везде и всюду столь чиста, сильна, живо развивается и деятельна, как это ей подобает, — пожалуй, весьма сомнительно; по меньшей мере, нетрудно сделать замечание, что мы не всегда достаточно чутко прислушиваемся к этому внутреннему голосу, являющемуся в то же время органом слуха, и зачастую многое оставляем без внимания. На вопрос о том, есть ли люди, коих в этом отношении следует рассматривать как абсолютно глухих, психологический ответ, пожалуй может быть получен лишь в специальных анналах истории человеческих преступлений или у тех, чья профессия состоит в том, чтобы близко знакомиться с этой печальной оборотной стороной жизни и заниматься ею. По меньшей мере, мне кажется, мы можем предполагать, что такая полная нравственная тупость, некий вид врожденного нравственного идиотизма в отношении всего высшего, всякого сколько-нибудь благородного и праведного чувства, но который, однако, весьма часто может быть сопряжен со своеобразным, в своем роде весьма ясным, рассудком и большой инстинктивной хитро-

стью, по счастью, представляет в человечестве крайне редкое исключение. С другой стороны, по меньшей мере также весьма редки случаи, когда утонченное нравственное чувство, или внутренний слух, даже в самых благородных натурах, развит и сформирован настолько чисто и сильно, настолько безошибочно, остро и уверенно, как, например, музыкальный слух или художественное чутье у великих музыкантов, или у иных любителей и знатоков этого искусства. Возможно, однако, что это всего лишь сообразно с нашим нынешним низведенным состоянием и что даже скорее благо для нас же, если не всегда высшие силы и органы раскрываются в нас для незримого с наивысшей остротой и с всесокрушающей энергией, и чаще всего их изъятия происходят словно бы при приглушенном освещении или даже словно лишь пробиваются сквозь окружающую завесу, что может быть верно также и в отношении совести. По меньшей мере, нельзя отрицать или не видеть того, что для большинства людей четверти часа ясной, зрячей и бодрствующей совести было бы вполне довольно, чтобы их душа навсегда была вырвана из привычной колеи и ввергнута в пропасть неописуемых страданий, для коих в человеческом языке попросту не найдется слов, а в земной груди — жалобных звуков; и что поэтому скорее благо, если разделительная стена, скрывающая от нас незримый мир, окутывает благотворной пеленой, приоткрывающейся лишь изредка и в виде исключения, также и эти тайны вечного духовного страдания, рядом с которым любая чувственная боль и любой земной недуг исчезли бы и обратились в ничто. — Поскольку же вообще довольно часто от самого крайнего заблуждения, от самой низшей ступени и самой тесной ограниченности, в свою очередь, исходит первый счастливый импульс; и тут как бы сама собой находится точка для более высокого начала, от которой теперь и измеряется путь, ведущий к новой жизни: то и здесь, в связанном и расчлененном сознании, из этих расстроенных и обремененных множеством ограничений, подверженных великим заблуждениям и уклонениям четырех вспомогательных способностей второго порядка могло произойти общее основание для уже другого сознания, обладающего большей полнотой жизни и гармонического взаимодействия. И совершенно естественно должен теперь возникнуть вопрос о том, где же во всей этой сфере должна отыскаться общая срединная точка и что может быть в этой срединной точке найдено,

или явлено. В этом отношении, и имея в виду эту цель, я сделал попытку объяснить платоновскую идею высшего воспоминания любви как относящуюся не столько к прошлому, сколько к вечности, — согласно более чистому пониманию, — представив ее как некий род трансцендентальной памяти, и в этом смысле спасти ее (показав ее приемлемость), а заодно и обозначить чистое понятие бесконечного томления в другом, отдаленном регионе человеческих влечений и желаний как высочайшее стремление человеческой души; точно так же, как гениальное художественное и внутреннее природное чутье в своих сферах практически всюду признаются как нечто высшее, и едва ли кто станет отрицать, что нравственное чувство как естественная форма проявления внутреннего голоса совести в общественной жизни есть первое и основное условие и самая надежная точка опоры для всех прочих высоких чувств. Следовательно, чувство и есть та самая срединная точка всего этого разделенного и разорванного сознания; однако я поостерегся бы называть это чувство слишком уж общим словом «нравственное» (ибо это отражало и воплощало бы лишь *одну* сторону и силу целого, тогда как сюда относятся и не могут быть исключены также художественное чувство и всякий иной род истинного вдохновения), но лучше обозначу его словом «внутреннее», в отличие от внешней и материальной чувственной способности. Будучи менее ясно, чем рассудок, и не столь решительно и определенно, как воля; более живо, чем разум, однако и более тесно ограничено ближайшим окружением собственного бытия, — чувство точно так же стоит посредине между четырьмя основными силами, как и между четырьмя опосредующими способностями второго порядка. Оно есть та самая по видимости индифферентная, по сути же — плодотворная и полная срединная точка сознания, в которой сходятся отдельные стремления всех прочих изолированных сил. Именно здесь они встречаются, сталкиваются, пересекаются и взаимно нейтрализуются или же проникают собой друг друга в гармоническом соединении, порождая новую жизнь. Оно имеет самые разнообразные ступени силы и развития, любого рода и любого градуса и степени, от простого, почти безразлично-спокойного ощущения чистого бытия, до высочайшего и жертвенного воодушевления, презирающего смерть и превосходящего всякую жизнь, или до состояния высшего восторга, теряющегося на границе бессознательного. «Чувство

есть все»<sup>7</sup> — можно было бы сказать в этом отношении вместе с поэтом; средоточие жизни и сердце целого; всякая же отдельная и изолированная сила, в сравнении с ним, «лишь дым, которым блеск сиянья без надобности затемнен»<sup>8</sup>. Однако эта срединная точка сознания — не та, которая могла бы своей активной силой, из себя самой властно объединить и органически упорядочить все целое и все обычно изолированные способности и составные части человеческого бытия и деятельности; в этом отношении ее состояние более пассивно. И, если брать точно, чувство есть не столько особая способность, сколько совершенно неопределенное и бесформенное, но живое, подвижное и плодотворно-возбужденное состояние сознания, образующее переходную ступень, или пункт перехода, от начетверо разделенного к живому и полному, взаимодействующему в триединстве, сознанию. Когда разум и фантазия уже более не обособлены и не разделены, но вновь образовали единство в живом чувстве и слились в одной мыслящей и любящей душе: тогда это есть первое начало и общая основа для такого восстановления гармонически-полного сознания. Когда великий рассудок уже не стоит сам по себе, холодный, изолированный и праздный, а сильная воля уже более не слепа и не косно ограничена в своем действии, но оба они срастаются в *одну* деятельную силу живого и просвещенного духа, где каждая мысль есть уже деяние, а всякое слово — сила, что достижимо и возможно лишь в этом средоточии высшей любви: тогда это образует вторую ступень на пути возвращения к первоначально полному сознанию. Однако, прежде чем я попытаюсь дать весь очерк этого пути до самого его завершения и добавить в этой лестнице последний, еще отсутствующий, замковый камень, я должен задать, пусть и с некоторым запозданием, еще один вопрос о силе суждения (которой до сих пор не было указано надлежащее и свойственное ей место), определив, в какой мере ее следует рассматривать как особую душевную способность, в каком отношении она состоит к прочим духовным силам и какое место ей определено занимать в мыслящем сознании. В одном лишь логическом смысле, где под суждением понимается не что иное, как только соединение предиката с субъек-

<sup>7</sup> Gefühl ist Alles — Гете, «Фауст». В переводе Пастернака: «Все дело в чувстве» — *Примеч. перев.*

<sup>8</sup> Nur Rauch und Schall, umnebelnd Himmelsgluth. — Там же, перевод Пастернака. — *Примеч. перев.*

ектом, как, например, в полном силлогизме: «Все люди смертны; Кай — человек, следовательно, Кай смертен» лишь средний член, в котором общее понятие отнесено к частному индивидууму и таким образом сказывается о нем, образует такое суждение, и невозможно сказать (коль скоро разум вообще есть логически соединяющая мыслительная способность), почему этот единственный акт такого соединения между предикатом и субъектом должен полагаться и рассматриваться как особая, отдельная от прочих, способность; ибо таким способом ничто не объясняется, но происходит лишь абсолютно бесполезное умножение подразделов в и без того уже избыточно разделенной мыслительной способности и в целом в человеческой душе. Однако совершенно иначе обстоит дело с суждениями известного рода, которые и впрямь достойны такого названия, ибо действительно имеют в своей сфере решающее значение, и, более того, это их значение общепризнано и не подвергается сомнению, поскольку естественная предрасположенность, опытный взгляд, обширные и разносторонние знания в данном предмете обосновывают и сохраняют его как более или менее твердое и непреложное. Здесь сам акт суждения не есть простая функция мыслительной способности, но, напротив, все суждение в целом, выносимое в соответствии с теми множественными элементами духовного восприятия, из которых оно следует, или которые оно предпосылает, — есть весьма сложный и многосоставный результат этих предшествующих оснований. Однако эту высшую силу суждения тем более нельзя признавать за особую духовную способность в определенной сфере, что в этом случае для каждой такой сферы пришлось бы в свою очередь предполагать еще одну особую духовную способность суждения, ибо верное и точное суждение в одной сфере отнюдь еще не предполагает такой же верности и точности в другой, а различные роды и ответвления этой высшей силы суждения весьма разрозненны и обыкновенно полностью отделены друг от друга. Таким образом, объяснения, для коего общего понятия особой духовной способности как таковой совершенно недостаточно, следует искать совсем в другом месте, что лучше всего может быть пояснено следующими весьма наглядными примерами. Сколь бесконечно многое вмещает в себя порой истинное художественное суждение! Из сколь великого многообразия восприятий, впечатлений, мыслей и ощущений слагается оно, тогда как происходящий из них

конечный вывод есть лишь нечто *одно*, обобщенное с совершенной определенностью для простого высказывания. Как, например: «То или иное превосходное старое полотно не может принадлежать тому мастеру, которому оно, возможно, по случайной ошибке, приписывается, но должно происходить из другой школы». Конечно, я здесь предполагаю, что такое утверждение не только имеет под собой чисто историческое основание и опирается на строгую документацию; ибо в этом случае оно представляло бы собой лишь факт, а отнюдь не суждение, по меньшей мере не художественное суждение. Художественное же суждение должно быть, если и не вполне, то по большей части, почерпнуто из самого творения, из стиля исполнения и множества признаков индивидуальной манеры, и продиктовано верным и опытным чутьем. Восприятия, на коих зиждется такое художественное суждение, столь многообразны, что по поводу их может быть написана целая книга или, по меньшей мере, трактат; однако если это действительно художественное суждение, а не просто историческое исследование, мы всегда натолкнемся здесь на тот или иной момент, словно бы недоступный для строго математического выведения, не позволяющий всем и каждому произвести насильственную доказательную демонстрацию, но происходящий из непосредственного восприятия или художественного чутья, на котором в последней инстанции зиждется суждение. Поэтому наш язык весьма верно и точно соединяет между собой оба эти выражения, а само художественное суждение есть не что иное, как употребленное в особом случае или в отношении особого предмета, приведенное к полной ясности и облеченное в совершенно определенную форму, художественное чувство. Точно так же обстоит дело в сфере общественной жизни с суждением об уместности, или о чувстве такта, когда, например, возникает вопрос, было ли нечто, сказанное в тех или иных деликатных обстоятельствах, действительно необходимо, полностью верно и всецело уместно, или же оно было неуместно и ошибочно; или, также, будут ли бесспорно верными и уместными та или иная форма или тот или иной способ для события, которое еще только должно произойти. Из сколь великого множества деликатных связей, восприятий тонкого чувства и его предпосылок, для коих порой нелегко даже найти характерное и точное слово, бывает составлено такое суждение в какой-нибудь общественной беседе на эту тему, где, как правило, решающий голос отводится

женщинам. Однако суждение такого рода всегда зиждется на непосредственном чувстве подходящего и уместного, которое, хоть и оттачивается и развивается до своей совершенной полноты жизнью и общественными отношениями, однако в то же время должно быть сперва врожденным; ибо там, где оно не таково, его нельзя достичь или симитировать при помощи одного лишь внешнего обучения, а изначальное отсутствие внутреннего чутья не может быть заменено никаким, даже самым блестящим лоском внешнего образования. Точно так же, однако, обстоит дело и в других сферах, и даже научной: например, с проницательным и глубоким взглядом великого врача, стремящегося поставить точный диагноз болезни; или с ясным и зрящим в корень суждением истинного судьи в юридическом смысле и отношении, прилагающим усилия к тому, чтобы в необычайно запутанном процессе или не вполне понятном криминальном случае уловить и отыскать тот ключевой момент, который решает дело, когда наряду с тем, что может быть строго доказано или просто фактически дано, зачастую есть еще многое, в чем лишь психологически верный и опытный в таких предметах взгляд, который, будучи умудрен долгим опытом, способен увидеть все даже самые тонкие диалектические изгибы не только со стороны обвинения и искусной защиты, но и истца, и даже хитрого и изворотливого преступника. То же самое может быть сказано в сфере, на первый взгляд родственной упомянутой только что, однако сущностно отличной от нее и в действительности далеко от нее отстоящей, об уверенном такте опытного государственного мужа, обладающего знанием людей и стремящегося не только к распознаванию политических намерений другого, но и к достижению безошибочного суждения и верного чутья в отношении великих мировых событий, их решительных поворотах и критических моментах. Во всех этих приведенных случаях, к коим легко можно было бы присовокупить и другие, именно на непосредственном восприятии, или на верном чутье, в конечном итоге зиждется собственно суждение, и именно об этом свидетельствуют такие выражения, как «меткий взгляд», «безошибочный такт», и прочие им подобные, содержащиеся в нашем, или в других общественно развитых языках. Поэтому такое суждение, и суждение вообще, можно было бы назвать рассудочным чувством (*Verstandesgefühl*). Оно предполагает рассудок, с одной стороны, как врожденный природный талант в той области, к которой



относится предмет суждения; а с другой стороны, также и рассудок, достигший в той же сфере богатства развития, понаторевший, многоопытный и обретший уверенность. Однако решающим, тем, что, собственно, делает суждение суждением, при этом по-прежнему всегда будет чувство или непосредственное ощущение верного и правильного. Однако я не хотел бы приписывать способность суждения исключительно рассудку; ибо, собственно, она включает в себя не одно лишь понимание того или иного отдельного предмета, но также четкое и определенное различие между двумя предметами, или решение между «да» и «нет». И, следовательно, лучше и полнее всего можно объяснить суждение, если сказать, что оно есть осознанное чувство верного различения, выраженное в общей форме и сообщенное как итог; последнее в отношении чувства не всегда верно, если оно остается внутренним или, по меньшей мере, не заключено в понятии суждения сущностно и с необходимостью. Таким образом, это отступление, которое, собственно, не является таковым, ибо ведь вопрос о способности суждения и том месте, которое она занимает во взаимосвязи целого, сущностно относится к сфере нашего исследования, вновь привело нас к чувству, которое, будучи полным средоточием и живым центром всего сознания, объединяет в себе все его экстремы, от неприметного состояния спокойного и почти безразличного созерцания до высочайшего возбуждения самой оживленной деятельности, от самого малого и незначительного предмета сознания до самого высшего и возвышенного, увлекающего за собой все воодушевления, до ясной рассудительности в этом духовном чувстве различения истины, или осознанном чувстве верного и правильного, как я назвал суждение. В таком возведении духовного чувства в степень самой спокойной и рассудительной ясности, где оно тогда называется суждением, первое относится к последнему так же, как еще не определенная, всецело общая и простая мысль относится к понятию, каковое я объяснил как органически вполне членораздельную, изнутри и вовне математически выверенную, мысль. — Это внутреннее чувство (*Gefühl*), теперь, согласно полному смыслу и объему этого слова, есть то же самое, что ранее я обозначил как чувство (*Sinn*<sup>9</sup>), в тех местах, где я характеризовал тройствен-

<sup>9</sup> *Gefühl*, *Sinn* — оба немецких существительных могут переводиться как «чувство», однако *Sinn* имеет более широкий спектр значений, куда входят такие, как «разум», «понимание», «сознание», и таким образом, мож-



ное живое сознание как состоящее из духа, души и чувства; при этом я оговорил свое право в дальнейшем представить еще более близкое определение собственно тому отношению, в коем это общее чувство состоит к двум другим. Однако именно потому, что понятие о чувстве (Sinn) все больше и больше обретает у нас значение чувства определенного, ограниченного некой особой сферой и лишь для нее открытого, то это выражение, если сей третий элемент тройственного сознания называется просто внутренним чувством (Gefühl), является, собственно, более подобающим, именно потому, что последнее в своей неопределенной всеобщности объемлет заодно все предметы сознания, или виды высшего чувства (Sinns). Это всеобъемлющее высшее внутреннее чувство есть теперь начальная точка для полностью воссоединенного, живо взаимодействующего тройственного сознания; однако оно все же еще не является его последним, замковым камнем. Оно есть всего лишь внутренняя основа, или же глубокий источник, из которого двум остальным (духу и душе) со всех сторон доставляется богатая пища. В них обоих заключается, собственно, вся внутренняя сущность человека, а поскольку дух есть деятельная сила, а душа — более пассивная, хоть и живая и плодотворная способность, то нераздельную совокупность и постоянное взаимопроникновение этих двух сил в виде подобия также можно было бы обозначить как сокровенный духовный союз в сознании и в известной мере рассматривать его как таковой; и мы не были бы совершенно неправы, объяснив сущность человека так, как если бы тот представлял собой дух, обрученный с принадлежащей ему душой, тогда как последняя, в свою очередь, облечена в органическое тело. Однако этот сокровенный брак между духом и душой в человеческом сознании, если мне позволено будет продолжить эту аллегорию, отнюдь не всегда протекает в счастливой гармонии и согласии. Если душа легко увлекается всяким внешним впечатлением и соблазном, устремляясь на все стороны по множеству извилистых путей чувственного мира или скитаясь в зыбких далях фантазии; если дух упрямо, своей собственной силой, утверждает себя в нем, не признавая над собой никакого главенства и презирая все, что окружает его: то в этом случае их союз может иметь лишь бурный характер страстного смятения, лишенного всякой гармо-

---

но предполагать, что Sinn — это чувство, уже более осененное сознанием, осмысленное чувство. — *Примеч. перев.*

нии. Возможно, правда, что и здесь может быть верно сказанное: «Что Бог соединил, то человек да не разделяет»<sup>10</sup>. Хотя в действительности проведение полного разделения здесь, во внутренней взаимосвязи живого сознания, едва ли мыслимо и, пожалуй, невозможно иным путем, кроме смерти, или под воздействием того огненного меча судящего Слова, который, как сказано, «проникает до разделения души и духа, составов и мозгов»<sup>11</sup>. Если же первое соединение произошло от Бога и ему суждено продлиться и достичь совершенства, то оно должно удерживаться и в этой высшей срединной точке, все более и более укрепляясь. Это происходит там, где дух распознает над собой божественную руководящую нить и во всем своем мышлении и действии исходит из этой высшей основы; и там, где и душа также ищет прежде всего этого вечного средоточия любви, вновь и вновь возвращаясь к нему; ибо тогда оба, дух и душа, соединяются в Боге или, по меньшей мере, стремятся к этому соединению. И, собственно, тем самым от человека требуется ничуть не больше, чем требуется от него везде и всегда; разве что эти требования не всегда и не во всем выполняются. Таким образом, собственно, Бог есть замковый камень всего человеческого сознания в целом; данное утверждение и есть та самая точка, к которой нас шаг за шагом подводило наше исследование, и на ней, теперь, завершается понятие, образ или схема сознания в целом.

Основу сознания, в том виде, как мы находим его в нас, и всю его сферу, образуют уже описанные нами четыре основные силы, наряду с четырьмя опосредующими вспомогательными способностями второго порядка. Чувство, т. е. именно внутреннее чувство, включающее в себя все высшие виды чувств, есть полное средоточие сознания, в том виде, как мы с самого начала обнаруживаем его в себе, и одновременно оно есть точка перехода к сознанию более высокому — живому и деятельному, гармонически-единому. Тройственная жизнь сокровенного человека состоит из духа, души и Бога, в качестве третьего, в котором первый и вторая между собой соединены или по меньшей мере, ищут такого соединения.

Но едва лишь только этот замковый камень изымается из человеческого сознания, последнее распадается на сплошь изолированные силы и враждебные противоположности;

<sup>10</sup> Матф. 19, 4—6. — *Примеч. перев.*

<sup>11</sup> Евр. 4, 12 — *Примеч. перев.*

и даже отдельные силы опускаются все глубже и, ступень за ступенью, охватываются все большим распадом. И если еще где-либо в одном месте обнаруживается перевес той или иной стороны, или чрезмерность гениальной силы, то чаще всего это чревато разрушением и противно целому, чиня, по меньшей мере, помехи его гармоническому согласию, а порой даже подавляя и затрудняя свободное развитие других, столь же существенных, его сил.

## Шестая лекция

Согласно созданному до сих пор образу, или исходной схеме человеческого сознания, весь его алфавит, если можно так сказать, состоит из двенадцати букв, или основных элементов, из которых затем в дальнейшем происходят и формируются корневые слоги и основы высшей истины и познания, и, наконец, целые слова и связные предложения в этом сокровенном языке истинной науки, которые в конечном итоге, по всей видимости, должны сойтись в единый и общий ключ и всеобъемлющее основоположное слово жизни. Однако для верного понимания следует добавить еще объяснение касательно *одо́го пункта*, причем наивысшего, в этом сокровенном алфавите сознания, относящегося как раз к последней цели, или также первой основе, его живого средоточия и совершенного единства. Бог должен образовывать собой замковый камень всего человеческого сознания; и никогда не возможно будет отыскать ему на замену никакого другого. Теперь же Бог располагается вне человеческого сознания, или, точнее, *над* ним. Как же теперь следует обозначить в нас, в нашем сознании, то, благодаря чему этот замковый камень, это средоточие единства, которое мы распознаем как пребывающее над нами (притом весьма далеко над нами), — постигается нами, удерживается и наделяется деятельной жизнью? Я не умею обозначить это иным словом, кроме слова *идея*, а именно, идея божественного и самого Божества. Как чувство образует собой общее живое средоточие для малого и обычного сознания и его восьми элементарных способностей: точно так же идея есть третий внутренний принцип, который, будучи взят вкупе с духом и душой, образует высшее тройственное, живое сознание, — не просто спекулятивную, но плодотворную и деятельную, не абстрактно мертвую, но самую живую

идею живого Бога, от которого исходит всякая иная жизнь. По внешней форме и в сравнении с другими функциями сознания или актами способности мышления идея есть понятие, которое в то же время есть образ или символ; ибо все, что является не столько непостижимым, сколько превосходящим всякое постижение, т. е. выходящим за пределы и превышающим всякое понятие, — может быть обозначено не иначе, как посредством образа и постигнуто, или понято, символически. Само слово указывает в своем первоначальном греческом значении на видимое изображение или на образное представление, содержащееся в понятии. Все высшее любого рода, какое мы только способны помыслить, может быть постигнуто лишь посредством такого мышления, которое является в одно и то же время логическим и символическим и в котором логическое мышление разума и символическое мышление силы воображения (именно научного воображения) и внутренне продуктивной способности познания вновь будут едины, внутренне связаны и слиты в одно. Однако идея не есть только мысль и в то же время понятие (но именно потому, что она недоступна собственно пониманию и выходит за пределы всякого понятия, она в то же время есть также образ); но идея, если брать в рассмотрение не столько предмет, сколько внутреннюю форму сознания, есть также мысль, которая есть одновременно чувство, и без этой предпосылки чувства вообще не может иметь места и, строго говоря, едва ли мыслима, что может быть легко пояснено на следующем примере из опыта. Как бы мы захотели преподавать, например, идею истинной любви, сделать ее понятной и доступной кому-то, кто никогда не чувствовал ничего подобного и кто вообще не способен на такое чувство? — Собственно же и строго научно говоря, существует лишь одна идея, заслуживающая этого имени, и это есть *идея* Божества. Все же остальное, что еще называют идеями, будь то в таком же высшем или во всего лишь родственном и аналогичном смысле слова (например, в платоновской философии речь идет о врожденных идеях в неопределенном множественном числе, и я сам только что говорил об идее истинной любви, да и прежде не раз прибегал к подобным выражениям и намерен и впредь придерживаться такого словоупотребления там, где это представится полезным для целей четкой различимости и большей силы обозначения), — все это может лишь в известной мере и лишь условно называться идеей; хотя, конечно, и все прочие

понятия и мысли, стоящие в той или иной степени близости к высшему и божественному, будучи рассматриваемы из этого духовного средоточия божественной идеи, предстают в совершенно ином свете и могут быть в нем очищены, подняты несколькими ступенями выше и отчасти приближены к *единственной* высшей идее живого Бога. Следовательно, такая идея Бога на данном основании отнюдь еще не может считаться целиком и полностью врожденной человеческой душе; в соответствующих местах этого очерка человеческого сознания я попытался указать, самое большее, на ее отдельные элементы, — на воспоминание о вечной любви (согласно очищенному платоновскому понятию этого воспоминания), на бесконечное томление, на голос совести; также из круга (или из четверицы) этих высших элементов не может быть исключены подлинное, высокое искусство и природное воодушевление. Все эти высшие элементы божественного в человеке суть отдельные затерявшиеся звуки, или созвучия, образующие вместе лишь нечто вроде слабого отзвука целого, или же некий первый детский лепет той *одной* божественной идеи, от которой лишь и может быть дано, сообщено и явлено само целое в своей полной силе и ясности, — сообщаемое и мыслимое лишь не иначе, как живое; и все, что таким образом дано в опыте и познании, можно постичь, познать и удержать лишь в вере и через любовь. Тот, кто никогда не испытал ничего от Бога, кому чужда всякая любовь и кто никак не способен верить, тому было бы совершенно напрасно, покуда он пребывает в этом состоянии, говорить о Боге или об идее Бога и обо всем, что из нее проистекает. Если бы, однако, эта идея Бога не была данностью, явленной в откровении, но всего лишь произошла из нашего собственного мышления, например, как необходимое понятие разума, — тогда она была бы не чем иным, как нашей собственной, нами самими произведенной, самодельной мыслью, всего лишь сохраненным отражением нашей самости, или объективацией нашего Я, — что и происходит сплошь и рядом в системах того рода, где тем самым вся внутренняя, деятельная и живая сила, вся подлинная действительность самой идеи по существу всецело снимается и уничтожается. Если же идея Бога дана в высшем опыте и может быть сообщена лишь на этом пути, тогда и саму эту идею мы можем назвать божественной, поскольку это, конечно, не есть всего лишь простая и бесплодная, мертвая идея, как мы привыкли говорить в иных случаях и в отношении

иных предметов; но в ней еще и содержится деятельная, сама по себе живая и порождающая жизнь, сила.

Двенадцать основных элементов сознания, таким образом, суть восемь его всеобщих и особых способностей, а также чувство как живое средоточие этого первого базиса; затем же сюда добавляются, в качестве трех принципов высшей, сокровенной жизни, — душа, дух и только что получившая подробное описание и определение божественная идея; все это в совокупности я назвал алфавитом сознания, который я и намерен сохранить в этой законченной схеме (согласно понятию, измеренному числом, мерой и весом) в качестве основы для всего последующего, в этом ее завершенном числе и окончательной форме. Сколь бы ни было полезно и даже необходимо для развития целого четко обособить друг от друга и упорядочить между собой, определив даже их число, все отдельные составные части такого полного, органически членораздельного и математически разграниченного изнутри и вовне понятия, — но все же здесь не следует проявлять и чрезмерной осторожности, ибо даже само языковое обозначение здесь не всякий раз абсолютно точно, а в различных языках — не всегда единообразно, и многое в этом колеблющемся словоупотреблении обозначается иной раз так, а другой раз иначе; иная вещь представляется и характеризуется как особая духовная способность, или даже врожденный талант, или, напротив, некое редкое счастливое совпадение, гармоничное взаимодействие множества душевных сил, собственно гений, — будучи на самом деле скорее состоянием или переходом из одного состояния и момента сознания в другой. Так, именно с этой точки зрения нас занимал вопрос о силе суждения, — о том, надо ли рассматривать силу суждения как некую отдельную способность, и как именно вообще следует ее характеризовать; и здесь я нахожу нужным присовокупить еще пару слов об уме (Witz)<sup>12</sup>, который близко родствен суждению как осознанному чувству (в том виде, как я его объяснил), занимая среднее положение между ним и гением, — дабы после того, как очерк понятия сознания уже завершен, по возможности охватить вниманием лежащие в стороне боковые ветви, дабы указать надлежащее место также и тем свойствам духа или души, которые суть не столько простые составляющие части и силы сознания, сколько сложное явление второго поряд-

<sup>12</sup> Также: живость ума, смысленность, сообразительность. — *Примеч. перев.*

ка, состоящее из множества элементов. Ум (Witz) также есть само непосредственно угадывающее сознательное чувство и его выражение; однако он отнюдь не всегда предполагает особое знание или глубокое проникновение в ту или иную определенную сферу; но напротив, он весьма часто происходит из наивного незнания и неведения всей сферы, к которой относится его предмет. Можно было бы сказать, что задатком ума, возможно, является самое общее сознательное чувство, не ограниченное никакой особой сферой, относящееся лишь к жизни вообще и лишь в ней находящее простор для своего действия. Однако это в большей мере соответствовало бы понятию обычно так называемого здравого или естественного человеческого рассудка, который сам по себе еще не есть ум и вполне может существовать в отсутствие последнего. Тем не менее очевидно, что если, например, тому или иному человеку отказывают во всякой силе суждения, что означает приблизительно то же самое, как если бы он вообще не обладал никаким сознательным чувством, ни в каком виде, ни в какой форме и ни в какой сфере жизни и мышления; в этом случае от него не следует ожидать в дальнейшем больших проявлений ума. Что, далее, сущностно отличает ум (Witz) от суждения и более всего собственно его характеризует, есть, пожалуй, бессознательное (*das Unbewusste*). Именно поэтому дети, коим вообще свойственна живость, часто демонстрируют и весьма живую игру ума; и этот живой детский ум, безусловно, является одним из наиболее привлекательных среди множества видов и форм ума в целом. До какой степени этот детский ум зиждется всецело на бессознательном и происходит из него (именно по этой причине не следует чересчур удивляться, если дети в самом нежном возрасте кажутся необыкновенно умны), часто можно видеть по тому, что едва лишь эти чада достигают более высокой ступени ясности сознания и развития рассудка, их очаровательный ум тут же бесследно исчезает, и весь их облик меняется на скорее даже отчасти суховатый, торжественный и детски-серьезный. Гениальная бессознательность, все еще присущая самому пронизательному мужскому уму и высшему поэтическому дару, доказывает их родство с гением. Однако же этот ум все еще не есть продуктивная способность и сам по себе продуктивности не достигает; он лишь придается в качестве отдельного элемента, последней духовной приправы, творческим произведениям фантазии или всем иным видам проявления и духовным



порождениям гениальной и продуктивной мыслительной способности. Именно поэтому он способен входить в самые различные виды и формы, не будучи ограничен ни общественной жизнью, ни искусством, ни поэзией; но в качестве добавочной ингредиенции иронии занимает свое собственное, немаловажное место даже в философии (а именно, в сократовской). Многообразие различных видов и форм, в коих развивается богатство ума, есть еще одно общее свойство, еще один момент сходства, в котором его можно было бы сопоставить с суждением; однако такое в высшей степени многообразное развитие в этих двух случаях имеет весьма отличные причины. Непосредственное суждение, или сознательное чувство, потому имеет столь великое множество особых родов, что человеческий дух и рассудок прочно обосновываются не во всех сферах, но обычно лишь в одной или другой. В случае же с умом это великое многообразие различных видов и форм гениальной игры ума проистекает от гибкости, способной принаравливаться и примешиваться к любому предмету и любому роду творений духа. Впрочем, несмотря на то, что ближайшая характеристика этих различных форм и видов игры ума и по возможности исчерпывающий обзор всего богатства этой гениальной и бьющей через край полноты могли бы быть весьма поучительны даже в научном отношении, все эти задачи лежат сегодня вне круга наших изысканий.

Поскольку уже в силу принятой здесь точки зрения и проистекающей из нее, или обозначенной нами в качестве надлежащей, области рассмотрения весь этот опыт построения теории сознания на всем пути ее развития непрестанно перекликается с идеей языка, — я хотел бы, в связи с принятой выше исходной схемой, или так называемым алфавитом сознания, сказать еще несколько слов о действительном алфавите или буквенной системе в различных языках, ибо и она иной раз может предложить нам ту или иную замечательную аналогию с высшим принципом сокровенной жизни и его целостным органическим строем. Однако, собственно, именно слоги, а не буквы образуют собой начальный фундамент языка и его живые корни — ту первооснову, из которой проистекает и выводится все последующее. Буквы, по сути, нужны лишь для расчленяющего анализа, ибо многие из них по отдельности весьма труднопроизносимы, другие же и вообще произнести почти невозможно; слоги, как более или менее простой или составной комплекс букв, суть то первое



и изначальное, что дано в языке; как и вообще всюду синтетическое выступает прежде, чем элементы, на которые оно может быть разложено в дальнейшем. Таким образом, буквы происходят лишь из химического разложения слогов, причем система этого языкового химического разложения весьма отличается в разных языках, что сказывается на результате столь многочисленных известных нам алфавитов. Если мы в наших алфавитах чаще всего насчитываем двадцать четыре буквы, то в некоторых иных, в частности, в наиболее близких нам восточных языках, их число возрастает до тридцати и даже гораздо более; в индийской языковой системе их даже пятьдесят, и четко обозначить их все при помощи наших европейских письменных знаков было бы весьма трудной задачей, а различение их в произношении требует от органов речи немалой гибкости. Иные, в особенности философски глубокие исследователи языка, не желая брать в счет ничего из того, что можно было бы представить как модификацию одного и того же твердого, или, наоборот, мягкого тона, или признать всего лишь вариантом другой буквы, или же объяснить как составной звук, — напротив, хотят свести весь алфавит к весьма малому количеству букв числом всего десять. Из такой, по меньшей мере, не лишенной остроумия, системы следует, что по сути есть лишь три гласных звука (при том, что мы насчитываем таковых пять), ибо Е — это всего лишь приглушенный I, U же есть глухое или темное O; на дифтонги и другие средние звуки между простыми гласными, коими столь богат наш язык, следует в любом случае смотреть как на музыкальные переходы и полутона. В качестве особенно простой и внутренне удивительно связной, хотя, впрочем, по-восточному старозаветной буквенной системы можно, в частности, привести еврейский алфавит. Его двадцать две буквы составляют два отдельных ряда. Десять букв первого и высшего порядка, как я бы их назвал, содержат три гласных, аспираты, о коих пойдет речь далее, и затем простейшие, самые легкие, я бы сказал — детские согласные B, D, G; далее, двенадцать букв второго порядка составляют прочие, более грубые и телесные, звукоподражательные согласные. Все буквы, и в особенности согласные, в соответствии с преобладающим, или, по меньшей мере, преимущественно действующим в каждом языке инструментом, каковы губы, зубы и язык, обычно принято разделять на такое же количество классов, притом дополнительно различают еще носовые звуки и горловые

буквы. Сколь бы анатомически верным и физиологически оправданным ни было такое разделение букв согласно языковым инструментам, — все же для психологической точки зрения (а она учитывает лежащие в основе всей природы параллели между языком и сознанием) и для аналогии внешнего звука и слова с внутренним духовным содержанием оно представляется бесплодным или же недостаточным, поскольку имеет в виду исключительно одну лишь сторону. Традиционное грамматическое деление на гласные и согласные можно было бы считать по меньшей мере неполным, и, пожалуй, есть достаточные основания к тому, чтобы рассматривать в качестве особого, третьего класса еще и аспираты, некоторыми своими характерными свойствами выделяющиеся на фоне двух прежде упомянутых, несмотря на свою видимую родственность некоторым буквам того или иного класса и способность всецело с ними сливаться. Они суть то, что в разнообразных буквенных системах представляется как наиболее индивидуальное и развивающееся самыми разнообразными путями, даже в самих способах начертания: так, словно бы легкое дыхание духа не позволяло запечатлеть себя в том же телесном виде, в каком удерживаются все прочие языковые элементы. В некоторых языках, например в греческом, согласно утвердившейся и преобладающей системе новой эпохи образования, главное придыхание вообще не обозначается и не рассматривается как буква, но выражается лишь как присоединяемый к букве акцент. Придыхания, в различных формах, в которые они входят, в восточных языках и вообще во всех древних языках, занимают особо важное место; это выглядит так, словно высшее дыхание духа дает себя знать тем сильнее, чем ближе мы придвигаемся к точке первого возникновения. Для чувства хорошо заметно, что этот элемент, там, где он выступает в своей еще не ослабленной силе, придает тем самым языку более древний и возвышенный характер, везде сообщая ему тон высокого духовного подъема, что уже отмечалось в отношении арабского языка, и что все еще весьма хорошо заметно в испанском; каковой торжественный и возвышенный тон, правда, в условиях господствующей односторонности вновь может перейти в монотонность. В нашем немецком языке аспирации прежде были распространены гораздо более, нежели теперь. Но чем больше тот или иной язык отполировывается, принимая формы общественной утонченности, тем более он утрачивает эту высшую печать

древности; и в таких языках возникают даже случаи, когда аспирация все еще сохраняется на письме, однако уже не произносится, как во французском. Если, теперь, аспирации образуют собой духовный элемент во всей буквенной системе, то в гласных, напротив, преобладает напевный голос души, и сами гласные выражают музыкальный и одушевляющий принцип в языке. Чем меньше тот или иной язык перегружен согласными, чем более полно звучат в нем простые основные гласные, тем более приспособлен он для пения и музыкального искусства; напротив, согласные, которые отчасти являются звукоподражательными, составляют материальную часть языка, и там, где они слишком преобладают, они сообщают языку телесную тяжесть, хотя они в свою очередь также необходимы для богатства и разнообразия обозначения. И эту достопримечательную аналогию трех классов букв, согласно обозначенному здесь разделению на аспираты, гласные и согласные, я хотел бы попутно затронуть и подчеркнуть в связи с общим тройственным принципом деления человеческого бытия и действия на дух, душу и тело, или телесную внешность.

Если бы мы теперь захотели подойти к этой взаимной аналогии и параллели психологического языкового сравнения с другой стороны, то в этом алфавите сознания, обеспечивающем отдельные элементы для отдельных слогов и целых слов (в свою очередь образующих первые начала нашего высшего познания, согласно коим сам Бог образует замковый камень высшего сознания, чувство же — живой центр обычного и разделенного и даже совокупного сознания как точки соединения с высшим), — я бы предпочел рассматривать вечные основоположные чувства божественного в человеке преимущественно как духовные гласные этого высшего языка внутреннего познания. Эти основоположные вечные чувства весьма часто обозначают как веру, надежду и любовь; но сколь бы ни была сильна наша привычка упоминать их вместе, все же психологически показать их внутреннюю взаимосвязь не всегда так уж легко. Возможно, еще одна аналогия с внешне видимым способна гораздо более простым путем подвести нас к этому пониманию и оказать нам лучшую помощь, чем это сделало бы прямое опровержение или подробное критическое описание тех неправильностей, которые, возможно, там и сям примешиваются к психологическим формам познания. Если эти три чувства, или свойства, или состояния сознания, следует рассматривать как органы познания или

восприятия (или, если хотите, по меньшей мере, органы божественного угадывания или предчувствия), — то в этом отношении и в связи со свойственной каждому из них форме познания их вполне позволительно сравнить с внешними чувствами и их инструментами. В этом случае любовь, с ее первым пробуждающим соприкосновением душ, с ее вечным притяжением, и, наконец, с полным и совершенным единением, очевидно, соответствует внешнему чувству; вера есть внутренний, сокровенный духовный слух, воспринимающий, постигающий и сохраняющий в себе данное ему слово высшего послания; надежда же есть око, чей свет еще издали распознает свой с глубокой тоской ожидаемый предмет. Последнее, конечно, подводит нас к в высшей степени живому понятию веры (или, скорее, уже заранее предполагает его); согласно этому понятию, вера не есть некое всего лишь искусственное и надуманное рассудочное представление, но живое чувство: пусть всецело духовное и разумное, однако все-таки чувство, которое в свою очередь основывается на чувстве (а именно, на чувстве любви) и всецело проистекает из него как из своей основы и корня; и, более того, она сама есть не что иное, как удержанная чистой волей и характером любовь; сказанное верно и применимо также и к самым благородным и сокровенным человеческим отношениям, а не только к отношению с высшим и с самим Божеством. В совершенно ином смысле понятие веры берется или, по меньшей мере, бралось в недавно минувшую эпоху, и об этом другом словоупотреблении, отчасти и ныне еще не утратившем своего влияния, необходимо будет добавить несколько пояснительных слов. Исторический повод и научное возникновение этого другого понятия веры были следующие. После того, как в раннюю эпоху так называемого Просвещения разум был утвержден в качестве безусловно и единственно руководящего начала в человеке и чуть ли не обожествлялся как наивысшее и первое (здесь, очевидно, не обошлось без некоторой примеси недоразумения); и все, что не представлялось тут же и с очевидно-стью как легко объяснимое и разумное, — без жалости объявлялось предрассудком и убиралось с пути, — новая немецкая философия начала с того, что указала этому царствующему надо всем разуму (который также и ею самой признавался в человеке за первое и высшее) на его сверх всякого ожидания большой внутренний дефицит в науке и даже в самой жизни. Доказательство, безусловно, было проведено с величайшей

основательностью, честностью и серьезностью, хотя позднее точка зрения, с которой оно производилось, была оспорена как всего лишь односторонняя и ограниченная. Нельзя, однако, удостоить равной похвалы тот научный метод, коим постарались вооружиться ради победы над этим старым и всеобщим злом разума, и тот путь, на котором пытались искать такой победы. Ибо в сущности то было не что иное, как добровольный, весьма великодушный и с внезапной поспешностью открытый (а пожалуй, что и самочинно самому себе выданный и столь же самочинно взятый) кредит разуму, для всех случаев справедливый и более чем достаточный, — можно сказать, безмерный, — с помощью которого намеревались вновь покрыть в мышлении этот сделавшийся очевидным большой дефицит; в результате чего, однако, как и всегда бывает при таких расстроенных финансах, зло было не устранено, но скорее даже усугубилось. Одним словом, тот же разум, коему (под предлогом, что он должен быть сверхчувственным) был торжественно возбранен путь в главные врата храма науки, тут же подкрался к задней двери, прикрывшись маской веры. То, что носило теперь это новое имя, было всего лишь плодом разума, его самодельным суррогатом веры. Еgo я хотел бы здесь тщательно отделить от той живой веры, что зиждется на основании любви и лишь из нее происходит, и я хотел бы уже с самого начала отметить, сколь велико между ними различие. Скажу кстати, что если я здесь, а также в иных местах ранее, считал порой необходимым привести некоторые доводы, ограничивающие безусловность научных требований и притязаний разума, — то все это направлено лишь против самой этой безусловности того разума, который хочет единолично властвовать, но отнюдь не против разума как такового. В нашем немецком языке (раз уж проведение такой сравнительной параллели везде и всюду служит мне добрую службу в этом исследовании, то, я полагаю, здесь также будет уместно небольшое замечание, касающееся языка) верное ограничение выражено уже в самом слове. Ибо как слово *Verstand*<sup>13</sup> происходит от *Verstehen*<sup>14</sup> и предполагает *Gegenstand*<sup>15</sup> — предмет, который предстоит духу и должен

<sup>13</sup> *Verstand* (нем.) — «рассудок». — *Примеч. перев.*

<sup>14</sup> *Verstehen* (нем.) — «понимание». — *Примеч. перев.*

<sup>15</sup> *Gegenstand* (нем.) — «предмет», букв. «напротив стоящий». — *Примеч. перев.*

быть им проникнут: точно так же Vernunft<sup>16</sup> предполагает Vernehmen<sup>17</sup> и сам есть способность такого тройственного духовного восприятия: знакомой нам путеводной нити над нами, внутреннего голоса совести и чистого самосознания внутри нас, и разумного мышления рядом с нами. Лишь против того разума (Vernunft), который совсем не желает воспринимать (vernehmen) или, по меньшей мере, воспринимает лишь сам себя, и направлены мои напоминания. И как только разум перестает воспринимать и признавать что-либо сверх себя, он, отбросив прочь это высшее, чаще всего перестает принимать во внимание и то, что существует рядом с ним, так же точно не желая понимать или познавать его; однако наиболее неверным образом в этом случае он будет отображать и представлять то, что он всегда находит и воспринимает (или полагает, что находит и воспринимает) внутри самого себя. Разум сам по себе, пребывая в собственных границах, есть хоть и всего лишь *одна*, однако весьма существенная изначальная сила человека, в обычном своем состоянии и сфере односторонне разделенного и объятых расколом сознания; и именно поэтому также в этом одностороннем преобладании он, едва лишь он переступает через все границы и утрачивает всякую меру, точно так же, как и любая другая из этих главных сил сознания, занимающих лишь одну сторону всей внутренней и внешней жизни и образуют лишь один ее полюс, — бывает подвержен весьма большим и даже величайшим заблуждениям. Однако, — можно было бы спросить, — разве возможные заблуждения фантазии по меньшей мере не столь же велики, а ее иллюзии не еще более опасны? Без всякого сомнения, особенно если вопрос ставится так общо. В специальном отношении к нашей эпохе и к настоящему я, однако, полагаю, у нас гораздо чаще возникает повод обратить внимание на беды, причиняемые заблудившимся разумом, нежели боязливо предостеречь от злоупотреблений фантазии: по той простой причине, что среди различных изолированных сил человеческого духа именно разум в наше столетие решительно преобладает. И точно так же всюду мы ясно видим перед своими глазами примеры того, на какие ложные пути становится и в какие пропасти заблуждения, как в жизни, так и в науке, сильный разум (исходя из ложного

<sup>16</sup> Vernunft (нем.) — «разум». — *Примеч. перев.*

<sup>17</sup> Vernehmen (нем.) — «восприятие». — *Примеч. перев.*

начала или неверной точки зрения и решительно и последовательно держась этой ошибки) падает сам и увлекает за собой других и все свое окружение! Мы видим это во всех катастрофах нашего времени и в ужасающей партийной борьбе, охватившей общественную мысль. Опасности, которые могут возникнуть от чрезмерностей одностороннего преобладания фантазии, для нашего времени, похоже, далеко не являются столь всеобщими, непосредственно угрожающими и требующими принятия столь срочных мер, — уже потому, что такая чрезмерность гениальной силы воображения гораздо более редка и встречается не всякий день. Порой это всего лишь слепой шум: мимолетная туча, едва налетев, вскоре вновь рассеивается и, самое большее, после краткого и легкого проливного дождя небо вновь по-прежнему ясно и весь обширный горизонт всеохватного разума вновь так чист и лучезарен, как только можно того пожелать. Более того, даже если такая чрезмерность поистине великой гениальной силы в области фантазии действительно имеет место, то наибольшее действие, обыкновенно из нее проистекающее, есть обретаемое наконец всеобщее признание, хотя и оно достигается с трудом и не вдруг; но даже если в иных случаях оно доходит до степени высочайшего восхищения, так что отдельные разлетающиеся вокруг искры его в тех или иных преувеличенных, напускных и деланных выражениях и пустых фразам порой граничат с подлинным обожествлением: то все же восхищение, сколь бы великим и всеобщим оно ни казалось, все еще всецело отделено от собственно увлеченности, и более того, оно по большей части умеет тщательно отделять себя от последней, держа ее на отдалении. Мы отнюдь не можем сказать, чтобы наша эпоха или хотя бы бóльшая ее часть позволила себе настолько всеобщее увлечение тем или иным, снискавшим даже самое большое восхищение или почти обожествляемым, величайшим художественным гением (тем, что есть в нем решительно одностороннего и заблуждающегося или хотя бы всего лишь произвольного или причудливо-своеобразного), — какое мы видим в случае с противоборствующими системами абсолютного разума в их эпохальной борьбе, свершающейся в науке и в самой жизни. Однако уже сама взаимосвязь целого с необходимостью требует от нас и подводит нас к тому, чтобы наряду с ущербом, который несет с собой деспотическое единовластие разума, затронуть и охарактеризовать также и то препятствие, что может встретить-



ся на пути стремления к познанию, высшей истине и уверенности, когда искусство как исполнительная власть в сфере фантазии занимает неверную позицию в отношении целого или же неверно настроено в своем суждении, и если то или иное только художественное или только поэтическое мировоззрение хочет основываться лишь на себе одном, полагая, что сможет отыскать внутри себя самого последнее основание и твердую почву для себя и всего остального. Как, теперь, когда мы полагали в качестве начальной темы и основы для всего последующего развития высшего познания и науки истинны понятие веры, надежды и любви, нам прежде всего было необходимо точно и тщательно отделить живую веру, основывающуюся на любви и происходящую из нее, от всего лишь вторичной, произвольной и самодельной суррогатной веры разума: точно так же и подобным же образом нам остается не столько провести различие, сколько указать верную цель и положить первое внутреннее основание для идеи надежды и ее внутреннего и близкого родства с искусством, в соответствии со всей взаимосвязью с ним и с эпохой. Подобно тому, как высшая надежда стоит в тесной связи с сокровенным характером человека и образует главную составную часть его своеобразной сущности и как все наше существование, собственно, стоит на уповании, — точно так же и для искусства (которое в этом смысле, в свою очередь, есть лишь верное зеркало человеческого бытия и здесь-бытия) святая надежда есть внутренняя цель и животворящий дух жизни для его произведений. Верное, пусть и художественными средствами исполненное, представление высшей и истинной любви, какого бы рода оно в прочем ни было, хоть и может само по себе быть произведением искусства и представляет собой естественный материал или предмет его; однако будучи столь изолированно, для фантазии оно представляло бы собой лишь фрагмент чувства, лишенный собственно начала, конца и истинной цели, или надлежащего завершения. Вера есть лишь некое подобие прямой линии, лишь путеводная нить сознания для этой жизни в ожидании грядущей. Однако сверх всякой данной любви и сверх всякой определенной веры остается еще некий *избыток* (если можно так это назвать), образованный вещами предчувствиями, любовной тоской, надеждой, пребывающей поверх всякой любви, и высшей истиной, являющейся, по меньшей мере, в мечтах и тайных помыслах; и этот божественный избыток в человеческой



душе (если мне позволено будет употребить это дерзкое выражение) и есть, теперь, собственно, высший материал, незримый предмет и духовное содержание истинного искусства и поэзии. Не то, чтобы этот сокровенный дух и жизненный эфир искусства и высшей поэзии всегда, и даже по своей внешней форме, должен выражаться в одном лишь чувстве томления (как это чаще всего происходит в музыке); и не то, чтобы он, также и внешне, должен представлять движение, определенно и прямо устремленное к будущему, как надежда (которая, наверно, может быть выражена лишь в лирическом напеве, — словесной музыке вдохновенного чувства), — что, конечно, привело бы к величайшей ограниченности и монотонности. Но скорее, эта внутренне одухотворяющая все целое идея надежды может быть вплетена незримой высшей нитью в совершенную и законченную картину подлинного настоящего, и такая скрытость, завуалированность изображения, такая косвенность откровения духа подчас носит характер не только в высшей степени художественный, но и поэтически вдохновенный и глубокий. Томительное воспоминание о навсегда ушедшем исполненном детского блаженства или возвышенного великолепия прошлом есть также, в сущности, лишь отсвет божественной надежды, и в этом широком и вольном поэтическом и художественном смысле само может считаться одной из ее разновидностей. И если древнее искусство, в особенности же и преимущественно древняя поэзия, часто вызывает в нас трогательное впечатление той вечерней поры, какую мы наблюдаем, когда заходящее солнце шлет на землю последние прощальные небесные отблески (сродни последнему скорбному взгляду вслед уходящего древнего величия), — то все же поэзия способна обращать свой дерзкий и одухотворенный взор и на другую сторону, в будущее, как собственно надежда, как утренняя заря, спешащая оповестить о восходе солнца истины и о начале нового, приходящего вместе с ним, времени, — как первый прекрасный луч, возвещающий радость; и таково, по всей видимости, должно быть место, преимущественно подобающее искусству в наши дни. После того, как мы упомянули об этой своеобразной связи искусства с надеждой, о внутреннем родстве и истинном отношении между ними, рассматриваемом в свете нашей эпохи и в целостной взаимосвязи с двумя остальными элементами, в этом основополагающем аккорде внутренней жизни, а именно, в вере и любви, — я хотел бы привести здесь много-

значительное и глубокомысленное изречение одного поэта (с коим меня связывают узы тесной дружбы), которое посвящено именно этому самому трезвучию высшего чувства; ибо оно быстрее всего приведет меня к тому простейшему результату, на который я хотел бы обратить особое внимание. Ибо, несмотря на то, что это поэтическое изречение обращено прежде всего к нашему времени, оно вполне может быть отнесено и к искусству в целом. Оно звучит так: «В эпохе нет ни веры, ни любви; откуда ж взяться в ней тогда надежде?»<sup>18</sup> Этот голос прозвучал в роковое время, беспокойства и опасности коего нарастали столь угрожающе, что, казалось, они в конце концов отсекут и уничтожат всякую надежду; тем не менее вскоре эти грозные опасности были отражены и случился новый поворот, который все изменил. Однако, если понимать это изречение как суждение о собственно нашем времени, то я нахожу его, по меньшей мере, в этом его обобщающем виде, чрезмерно строгим. Наше время не до такой степени лишено веры, как здесь сказано. Конечно, оно довольно давно уже было в этой своей вере прохладно, нетвердо и склонно к колебаниям во все стороны, или, скорее (сказанное, пожалуй, точнее всего охарактеризует это состояние), — оно несколько заплутало и прониклось смутой в самом себе, в своей вере в себя и вообще во всякой вере, во всех смыслах этого слова, от высочайшего до самого обыденного, касающегося внешних жизненных отношений, страдая порой от некоторой забывчивости, — не помня не только древнего и древнейшего, но забывая иной раз даже самое новое и только что пережитое, — так что судящему оку оно чаще всего видится как занятое непрестанными и суетливыми поисками внутри себя, будучи лишено при этом всякой верной путеводной нити. Если же теперь и эти поиски и устремления к вере, тут и там прежде времени удовлетворившись упомянутым искусственным и самодельным суррогатом разума, закончились, то сам этот симптом в отдельности, пожалуй, может указывать на отчасти болезненное состояние, однако никак не должен вести к абсолютно неблагоприятному выводу в целом или служить

<sup>18</sup> Die Zeit hat Glauben nicht, noch Liebe. Wo wäre dann die Hoffnung, die ihr bliebe? — Не удалось идентифицировать ни автора этого стиха, ни произведения, из которого он взят. Упоминание Ш. о близкой дружбе с ним склоняет к предположению, что им был И. В. Гёте, однако источник не найден. Попытка предположить авторство Ф. Шиллера также успехом не увенчалась. — *Примеч. перев.*

основанием для такового. Ибо во всех человеческих вещах, делах или обстоятельствах такое глубокое стремление, коль скоро оно всеобще и неустанно, не может происходить из одного лишь недостатка; но оно в то же самое время предполагает некую естестваенную предрасположенность и способность, пусть даже эти последние не развиты в полную свою меру, не достигли еще крепости и не успели войти в должную форму. Столь же мало или еще меньше можно отказать этому времени в любви: если только воодушевление, с готовностью приносящее даже самые великие жертвы, есть признак любви. Я поэтому не могу согласиться и с заключением, которое всецело лишает нашу эпоху еще и надежды. Ибо если нам и пришлось распрощаться с теми или иными ожиданиями, которые, впрочем, следует признать весьма легкомысленными и незрелыми и которые, поскольку они ни на чем не основывались, точно так же ничем и закончились (притом, нужно сказать, они закончились бы ничем даже и в случае своего исполнения), — то все же мы никак не должны отказываться от высшей, божественной надежды, в которой всякое земное ожидание (если только оно истинно и имеет действительную основу) в конечном итоге находит свое осуществление, и притом осуществление, поразительное своим неожиданным изобилием. И даже если на горизонте вновь появятся одна или две темные тучи, даже если эти все еще или вновь грозящие нашему времени опасности тому или иному опытному наблюдателю, коему высокое положение в обществе позволяет видеть далеко вокруг, покажутся еще более страшными и пугающими, чем все предыдущие, от коих мы еще не успели оправиться, — то все же, после того, как мы были научены опытом в сходных положениях и приблизительно тех же обстоятельствах; и после того, как такое поучение, по меньшей мере, тогда, всеми было воспринято не как только человеческое, но как высшее, — мы даже и в самом худшем случае имеем право воспринимать все происшедшее как, возможно, необходимый и в конечном счете целительный кризис перехода как раз к той самой высшей божественной надежде, которая, вне всякого сомнения, все еще уготована именно нашему времени и о которой здесь довольно будет одного этого упоминания, — тем более, что все, что я, пусть даже слабым и несовершенным образом, пытался выразить когда-либо в прошлом, равно как и все то, что я ныне стремлюсь поведать в этом избранном кругу, а также все, что я намерен сказать когда-либо

в будущем, — все это не имеет, не имело и не будет иметь никакой иной цели или предмета, кроме как тем или иным способом, намеком или словом возвещать и провозглашать эту высшую и святую надежду поистине новой (и не только в обычном земном, но и в сокровенном смысле слова) эпохи, и ее высшей духовной жизни, движущейся к полноте славы, — все более прочно ее обосновывать и, сколько хватает на то моих сил, — осуществлять ее в действительности. — Если же, теперь, это прекрасное и глубокомысленное поэтическое изречение в своем ближайшем применении к нашему нынешнему времени, безусловно, подлежит и должно быть подвергнуто множеству ограничений, — то я, напротив, хотел бы отнести его к искусству (ибо, по меньшей мере, оно весьма хорошо переносит такое употребление), однако и здесь применить его не в общем и безусловном смысле, по меньшей мере не относя его к теперешнему искусству нашей эпохи, ибо в ином случае суждение также и в его адрес было бы чрезмерно суровым и строгим. Если бы, однако, когда-либо прежде или еще ныне существовало искусство или эпоха искусства, о которой можно было бы, если и не вполне буквально и в самом строгом смысле обобщенно, то по меньшей мере в общем и целом, — почти обобщенно, — с полным правом сказать: «В искусстве нет ни веры, ни любви», то можно было бы смело продолжить: «Откуда взяться в нем тогда надежде?» — Я повторюсь еще раз: в применении к нашему немецкому искусству и поэзии это суждение представляется мне чрезмерно строгим, чтобы не сказать — совершенно несправедливым. Если, однако, вера, лежащая в основе этого искусства, которое само есть и не может представлять собой ничто иное, как таинственный иероглиф, или трогательно-возвышенную песнь этой вечной надежды; если, говорю я, лежащая в его основании вера порой была не вполне твердой, по большей части всего лишь самодельной и искусственной или, по меньшей мере, всего лишь поверхностно-заимствованной и скоропреходящей, не выдерживающей испытания огнем, а любовь — точно так же — никогда не пережитой глубоко, но заемной, подслушанной и бездумно перенятой где-то на стороне, — тогда этот суровый приговор и проистекающий из него грустный вывод должен найти здесь свое применение, по меньшей мере, в том, что нигде более, кроме как именно во внутреннем дефекте души, коим поражено самое средоточие живой веры и истинной любви, следует искать причину, из-за которой в послед-

ние периоды искусства недавно минувшего полустолетия, после такого множества восхитительных и дивных начал, успех и дальнейшее развитие зачастую так мало и несовершенно отвечали первому ожиданию; а также, что при наличии весьма большого множества истинно великих талантов, все же столь многое пало с ветвей и кануло в небытие, оказавшись не более, чем пустоцветом, и не произведя зрелого духовного плода, — оттого, что недоставало первой внутренней основы, или же оттого, что само искусство не умело принять верного отношения к эпохе и ее надежде, а если ему это и удавалось, то все же оно не могло утвердиться в непреходящем чувстве любви. Ибо в этом верном отношении никак нельзя ошибаться, а естественный порядок не должен быть извращаем, если мы хотим, чтобы искусство поистине процветало, а сама эпоха без опасения и всецело могла наслаждаться его плодами. Подлинное искусство и высшая поэзия — это прекрасная вершина, цвет надежды на богато раскинувшемся древе человечества, среди его удивительно разнообразных и многочисленных отраслей высшей духовности. Однако само искусство не может быть в свою очередь корнем, и там, где оно пытается быть таковым, этому совершенно определенно предшествует какое-либо иное извращение природного порядка или же причиной здесь является сущностный порок. Мы слышим, что в искусстве садоводства, или растениеводства, проведен успешный опыт высаживания растения обратной стороной: то, что прежде было кроной, теперь погружается в землю до тех пор, покуда не превратится там в корень (что и происходит в действительности), и в то же время прежний старый корень развивается в новую крону; однако в сфере человеческого сознания и совершенной духовности этот головокружительный эксперимент, пожалуй, неприменим и не может быть воспроизведен с целью подражания: соцветия, погруженные в землю, не пустят там корней, но и никогда теперь уже не разовьются в полноценный плод. Безусловно, эстетическое основание не может быть достаточным и удовлетворительным для целой жизни — даже для этой земной, не говоря уже о последующей; исключительно поэтическое мировоззрение даже на загадку жизни и мира дает лишь искусственно уклончивый, лишь мнимый ответ; на загадку же надежды, нить которой им самим полностью утрачена — не дает вообще никакого. Если бы эта прекрасная заря надежды захотела вытеснить собой подлинное солнце или стать солнцем

сама (будь такое возможно), она весьма скоро помрачилась бы, превратившись в темную тучу, и вместо ожидаемого великолепия сияния дня нам пришлось бы созерцать лишь равнодушное серое небо. Этот внутренний дефект в самом основании поэтической фантазии дает себя знать (так же, как порой и в других сферах человеческих деяний и свершений) в по меньшей мере мнимом великолепии роскоши и избытка, наблюдаемом извне, в чем можно усмотреть знак, свидетельствующий о зияющей червоточине глубоко внутри. Я имею в виду, с одной стороны, чрезмерное великолепие, ибо иной раз в нашей современной пробуждающейся поэзии можно наблюдать сущий потоп чрезмерности и избытка совсем уже малопонятных священных чувств; или же, с другой стороны, столь же безмерно расточительные паводки остроумия и шутилой игривости, серьезного юмора и высмеивающей этот юмор пародии, а затем — еще более превосходной иронии, духовно возвышающейся над ними обоими, над всем произведением в целом, надо всем вокруг и, наконец, надо всей вселенной. Лишь в этой односторонней чрезмерности и в абсолютности с той или с другой стороны безусловного решения разума или фантазии заключена первая причина для ранее уже упомянутого, разительно проявляющегося даже в общественной жизни и на этом привычном пути и в этом масштабе совершенно непримиримого раскола между настроенными сугубо эстетически и воспринимающими и судящими обо всем все лишь с этой точки зрения поэтическими натурами и мыслящими практической пользой людьми разума, которые почти столь же чужды и столь же враждебно противостоят друг другу, как два совершенно различных человеческих племени, — приблизительно так, как известный ученый в конце истекшего столетия исторически на всей земной поверхности не находил и не мыслил себе ничего иного, кроме благородно мыслящих и эстетически тонко чувствующих кельтов и вульгарных, тупых и ограниченных моголов. Я должен, однако, и здесь повторно заметить, что, по меньшей мере, для нашего времени гораздо большая опасность с определенностью лежит на стороне безусловного и самовластного разума, ибо происходящий из этой односторонней точки зрения образ мысли рационализма также отнюдь не ограничивается своей школой и научными системами, но весьма часто простирает свое разрушительное действие и губительное, парализующее все высокое влияние на всю сферу общественной

жизни; тогда как, напротив, незначительные эстетические отклонения или гениальные преувеличения, даже если мы захотим признать таковые там, где истинный художественный вкус уже всецело возобладавал, как в наше время, — легко могут быть вскоре затем вновь направлены в верное русло.

Для основания всей жизни, как высшей, так и внешней, необходима твердая внутренняя уверенность и отнюдь не довольно ни одних лишь прекрасных предчувствий, поэтических грез и воодушевленных надежд, ни также в свою очередь с превосходством посмеивающейся над ними иронии. Если, теперь, для достижения этой внутренней твердости и достоверности науки жизни и истины чистое мышление представляет собой хоть и не единственный путь и не первый вход, то все же везде и во всем участвующий инструмент и употребительный орган, — тогда естественно, что на дальнейшем пути к этой искомой науке жизни из совокупного объема развитой до сего момента теории сознания вообще само по себе мышление может в свою очередь, как это уже было обозначено в нашем первом очерке, стать предметом собственного и особого рассмотрения. Здесь, пожалуй, следует прежде всего остерегаться соблазнительного образа мнимой математической достоверности и стремления пересадить ее также и на почву философии через заимствование и копирование математического доказательного метода, — ибо такие усилия ни разу еще добром не окончились. Такая негодная попытка в области науки чем-то почти напоминает то, как если бы в поэзии некто попытался одну лишь игру тонами, рифмами и ритмами, по примеру музыки, выдать за подлинную внутреннюю сущность искусства (тогда как подобная игра лишь добавляет внешних украшений к его образному одеянию) или живописно-изобразительные стихи (сочинение коих есть, скорее, дурная манера или, по меньшей мере, с большой легкостью в нее переходит), как некоторые новые англичане, захотел бы представить в качестве особого жанра. Правда, ранее я сам заявил, что понятие есть всецело математически выверенная внутри и вовне числом, мерой и весом, мысль. Однако, пожалуй, можно считать, что это единственная основоположная математическая формула, которая применима повсюду в философии, да и то — к одному лишь понятию и в качестве руководящей и основоположной идеи для суждения о правильности структуры и полноты ее органического членения; однако никак не для дальнейшего связывания отдельных понятий



с целыми научными положениями и заключениями, ибо всякую завершенную в себе систему знания или спекулятивного мышления можно рассматривать как некий законченный период, или силлогизм; для понятия же, или его предмета, безусловно, в высшей степени важно, является ли он в высшей степени простым и может ли как таковой рассматриваться; имеет ли он двойственную природу, распадающуюся во внутреннем противоречии, или объятую расколом; насчитывает ли он три составные части, живо взаимодействующие в тройственной силе; расходится ли он в четырех противоположных направлениях, пребывая в двойной противоположности и расколе; удерживаются ли и соединяются ли вновь эти обычно разделенные точки в живом средоточии, которое может считаться неким присовокупленным и существенным пятым; образует ли все целое в тройственной противоположности, или в двойном трезвучии, некую шестерицу; или седмирицу в объединении трезвучия и квадрата, будь то в мире мышления или во внешнем опыте и в действительной жизни; или восьмирицу в двойном четырехугольнике в том или ином отношении; девятку как трижды повторенную тройственную силу; в непрестанно движущемся внутреннем счете и живом развитии; или как, наконец, все эти первые основоположные числа различным образом разрешаются и завершаются в десятке. Учение о числах пифагорейцев, если его верно понять, если не вырывать его отдельные утверждения из взаимосвязи и не пытаться намеренно выставить его непонятным, — возможно, не лишено своего внутреннего основания, точно так же, как и платоновское учение о воспоминании, — в том лучшем смысле, в каком я пытался ранее объяснить и оправдать его; правда, если смотреть только исторически, при отсутствии первых и самых чистых источников, нам трудно вынести об этом первом учении вполне справедливое и беспристрастное суждение и увидеть его таким, каким оно было в действительности. Пожалуй, именно пифагорейцы, как община в целом, более всего возвышались над обычным уровнем современной им греческой духовности и ее общей формой; ибо Платон был всего лишь отдельным великим мыслителем, который даже внутри сократовской школы стоит почти совершенно обособленно. Эти серьезные и глубокомысленные мужи всецело отвергли и свойственное вообще греческим обычаям и государственному устройству унижение женского пола, пойдя совершенно



другим путем; и если здесь и можно подвергнуть что-либо сомнению или осуждению, то это, пожалуй, будет именно безусловное превышение меры в противоположную сторону и то, что они имели в виду решительно и всецело мужественный духовный строй женщин, стремясь ввести его и в свой жизненный уклад. Женщины имели право голоса и принимали деятельное участие во властвующем союзе пифагорейцев, будучи существенной составной частью великолепной аристократии этого совершенно нового жизненного строя, против которого, однако, вскоре поднялась жесточайшая реакция и который затем, в ходе всеобщей революции, был низвергнут как слишком вопиюще противоречащий всем прежним эллинским обычаям. Между тем, как Платон, так и Сократ прежде всего из этого источника черпали свое почтительное уважение к женщинам и взгляд на женский пол в целом, тем самым верно предвосхищая, пусть и не во всей полноте, чистое христианское представление о нем, а также обо всем человеческом роде и его высоком внутреннем достоинстве. Относительно учения о числах в этой древней философии и о его простом и верном смысле можно было бы заметить еще следующее. Как существует верное хронологическое чутье, посредством коего великий врач стремится предугадать и часто верно угадывает в своем представлении и проницательном предположении наступление еще только предстоящего кризиса той или иной болезни в ходе ее вероятного критического течения; как подобное же чутье ведет опытного государственного мужа, помогая ему уловить верный ритм в быстротекущем движении мировых событий, биение пульса жизни в надвигающихся событиях, — каковое чутье, однако, нельзя понимать как некий непогрешимый, безошибочный и всеведущий оракул (ибо ничего подобного нет во всей сфере существующего как данность человеческого сознания), как своего рода прорицание или даже как предопределение и роковую необходимость, но лишь как проявление утонченного чувства такта, которое может и изменить, однако чьи восприятия весьма часто оказываются верными и подтверждаются опытом; точно так же существует и арифметическая зоркость, глубоко проникающая во внутреннее и сущностное числовое отношение вещей как таковых, а также всех предметов природы и явлений жизни, которая, возможно, образует существенную часть врожденного таланта научного мышления. Учение пифагорейцев о сокровенном жиз-

ненном числе вещей и их множественных отношений вполне может быть объяснено в этом простейшем смысле и принято или, по меньшей мере, признано состоятельным в оговоренных рамках; и если при таком взгляде на вещи, в ходе их анализа или составления понятия о них, мы обучимся внутреннему счету до пятнадцати и далее, а для начала — хотя бы только до десяти, — то это можно будет считать сдвигом в научном мышлении, пусть даже лишь самым первым его шагом. Таким образом, для понятий (но только лишь для них одних) математическое воззрение и математический подход могут быть приняты и с пользой употреблены также и в философии; и в любом случае, для верного построения и полноты органического членения всякого понятия, к какой бы сфере оно ни относилось, будет в высшей степени важно и существенно верно распознать внутреннее число его самого и его предмета, в точном соответствии с которым, затем, будут находиться мера и вес этого *одного* понятия в его отношении как к иным, родственным или чужеродным ему, понятиям, так и ко всему целому. Дальнейшее же соединение отдельных понятий в периоды или целостные научные системы, по меньшей мере, в философии, не может иметь ни собственно математический характер, ни даже сколько-нибудь ему подобный. Ибо если философия есть внутренняя опытная наука высшей жизни, а значит, покоится на тройственной основе этой жизненной данности внутри, свыше и извне, — то естественно, речь идет не о том, чтобы с видимой строгостью, как в математических дисциплинах, связать между собой в одну цепь отдельные воззрения на эту высшую данность, или — если мы вознамерились исходить лишь из *одного* такого воззрения — его отдельные моменты, обозначая каждый из них определенным символом или простой формулой, — или же просто соединять их между собой произвольно и в разном порядке; но здесь существенно будет постичь эту действительную данность высшего рода в ее чистоте, верно понять ее и надлежащим образом, с совершенной ясностью и внятностью грамматического соединения, выразить в языке, или в слове. В этом случае истинный метод такого самопознания жизни, пришедшей к языку, будет иметь всецело грамматическую природу и строй. Высшая же логика, если бы мы захотели назвать ее так и, вырвав из живой взаимосвязи, представить изолированно, как отдельную элементарную науку, — была бы тогда не чем иным, как внут-

ренным языковым правилом и верной грамматикой живого мышления. Я, безусловно, полагаю, что ее следует рассматривать именно как таковую; и именно с этой точки зрения, в соответствии с выдвинутой идеей такой высшей грамматической верности мысли я и буду подходить здесь к логике — всюду, где речь хоть мельком коснется простой формы мышления и истинного метода знания. Наглядный пример может с совершенной четкостью выявить особенность этой точки зрения — этого двойственного способа суждения и учения о методе. Итак, если мы рассмотрим хотя бы одну систему философии согласно указанному подобию (которое, заметим, в точности соответствует истине), — как целостный период высшей мысли, или как единое положение науки, — то в суждении о ней, в соответствии с обычным требованием математической достоверности и математическим образом мысли, говорилось бы, например, следующее: «Эта система удивительна и в высшей степени совершенна, ибо все в ней самым строгим образом доказано». Но если в частности все приходится строго доказывать, то тем самым вся система в своей основе может быть ложной, — например, если она исходит из ложной начальной точки или вообще лишена всякого истинного, действительного, твердого и реального содержания, но имеет своим мнимым предметом лишь какую-нибудь пустую иллюзию, рожденную силой научного воображения или разума, впавшего в безусловное (*das Unbedingte*). При взгляде же на такой научный метод мышления в философии с другой стороны и с противоположной, высшей грамматической точки зрения, можно было бы сказать: «Все это пустые слова, лишённые всякого внутреннего содержания и всякой ценности, ибо здесь нет ничего от действительной жизни, ничего прочувствованного на собственном опыте». Там же, где содержание истинно и дано в действительности внутренней жизни, — там кое-где могут оставаться лакуны, может иной раз отсутствовать слово, периодическое строение всей системы или общий порядок — быть недостаточно ясным и четким, а кое-что даже быть выражено с огрехами; и тем не менее все в целом может знаменовать собой шаг на пути к высшему познанию, нести свой вклад в его достижение. Суждение не выносится здесь с абсолютной безусловностью, за исключением единственного упомянутого случая совершенной ничтожности вкупе с внутренней пустотой и превратностью. Научное мышление вообще, и, в частности, в философии,

заключено в понятиях, суждениях и наблюдениях<sup>19</sup>: если только под суждениями мы в привычном логическом смысле разумеем соединения между собой или друг с другом понятий или наблюдений. Только что мы вели речь об истинном математическом подходе к понятиям, в соответствии с более чисто и просто понятой тайной чисел у пифагорейцев, а затем — о способе соединения в методе мышления, который в своей последней глубине является по существу грамматическим. Однако ко внутренним воззрениям на тройственную данность высшего рода математический подход совершенно не применим, да и грамматическое сравнение уже более не плодотворно или, по меньшей мере, недостаточно. Для большей легкости и полноты разумения того воспринятого высшего, от которого отталкивается философия, внешнюю точку опоры поясняющего сравнения, наверно, можно было бы получить от естествознания, которое само всецело строится на наблюдении; в частности, это должны быть те опыты в естествознании, в которых, по всей видимости, схватывается суть первых и основоположных феноменов природы и их внутренней жизни, хотя все эти удивительные факты и открывающиеся в них тайны эксперимент представляет нашему взору лишь в весьма уменьшенных масштабах научного сокращения. Но сколь бы ни была мала наша искусственно воспроизведенная молния в сравнении со всеми нашими громоздкими электрическими приспособлениями, — все же сама эта первая искра, в свою очередь, зажгла свет повсюду в естествознании, даровав возможность его верного понимания. Поначалу казавшаяся лишь малозначительной странностью природы, магнитная игла даже самого человека впервые научила сперва ориентироваться на своей планете, а затем находить и прокладывать на ней верные пути, тем самым, со времен первого открытия нового мира, даже в историческом смысле положив начало великой эпохе человеческого духа; к тому же она не просто указывает на северный полюс земли, но, для вдумчивого наблюдателя — еще и гораздо глубже, — на внутреннее средоточие самой природы, где кроется ключ к общему пониманию этой тайны ее живого притяжения. Кто поставил бы глубокомысленному наблюдателю природы в вину, что тот объят весельем, видя, что в

<sup>19</sup> Anschauung — переводится также как «созерцание», «воззрение». Здесь, однако, в связи с последующим отнесением к естествознанию — «наблюдение». — *Примеч. перев.*

цветной призматической картине разъятого и простертого светового луча ему удалось получить словно бы миниатюрное изображение самой небесной радуги? В этих первых основоположных явлениях природа словно бы сама дает нам прекрасный символ для явления гораздо более высокого и в совершенно ином, сокровенном регионе; для божественного феномена истины и его живого постижения и внутреннего усвоения, ради обретения все более твердого знания; ибо таков внутренний генезис истины и истинного познания, и такова, если мне позволено будет это выражение, история возникновения живого знания в человеческой душе, — всюду, где она может быть причастна ему, поднята до него или подняться до него сама. Начало тому полагает первая зажигаемая искра истины, действующая так же, как и удар электрического тока, будучи тем первым лучом познания, который затем все более распространяется, превращаясь в питающий огонь любви. Следующий, второй шаг в этом движении образует магнетическое притяжение душ, которое, от первого соприкосновения и до полного единения, стремится все более глубоко проникнуть собой предмет своей любви и все более основательно изучить его. Я исхожу здесь из предпосылки (о ней еще пойдет речь в дальнейшем), что никакое живое познание невозможно и не может быть найдено и представлено без предшествующего живого соприкосновения и действительного соединения между познающим и познаваемым. Завершающий момент на пути этого стремления к высшему познанию образует то полное раскрытие божественного света, который, подобно небесному знамению мира, иной раз является, когда небеса все еще окутаны тучами негодования, и перед которым рассеиваются все сомнения. Поскольку, теперь, философия, согласно изначальному и прекрасному греческому значению этого слова, никоим образом не есть высшая мудрость, сама вечная истина, или совершенное знание; но она есть всего лишь чистое стремление, все преодолевающая, духовно преодолевающая всякое препятствие *любовь* к истинному познанию божественной истины; и тем самым уже допущено, что эта наука исходит всецело из любви и не может исходить ни из какой другой основы; природный же символ в его поступенном движении являет нам основные черты, первый намек, первое указание на эту основу любви. К этой достигнутой ныне точке я и стремился привести данное исследование.

## Седьмая лекция

«Чувство есть все», — хотел бы я повторить еще раз; недо-  
разумение кроется здесь лишь в словах. Если философия ис-  
ходит из ложной видимости необходимого мышления, то она  
и не может получить никакого иного результата, кроме этого,  
и никогда не выберется из этой искусственной паутины науч-  
ного обмана. Абстрактные выражения, т. е. убитые и превра-  
щенные в пустые формулы, лишенные своего живого смысла,  
если они когда-либо таковым обладали, внутренне угасшие  
или погашенные слова, легко отыскиваются для этого иллю-  
зорного знания тождества, или, точнее, они давно уже для  
него найдены; и если время от времени выражения и меняют-  
ся и совсем иная терминология входит в употребление, то это  
происходит лишь для того, чтобы произвести видимость но-  
визны, тогда как, по сути, перед нами все то же старое заблуж-  
дение, лишь преподносимое нам в измененной форме и обли-  
чии; или же авторами этих перемен движет честное стремле-  
ние и убежденность в том, что истину и знание им удастся  
лучше схватить и удержать в этой новой волшебной формуле,  
пленив ее, наконец; ибо путаность, темнота и невнятность  
всех предшествующих форм ими вполне ощущалась и они ре-  
шили избежать их в несколько измененном порядке мысли.  
Невнятность, однако, заключена не в словах, не в выражени-  
ях и не в терминологии, сколь бы неудобоприятно и по-вар-  
варски они ни звучали, но в ошибочной точке зрения и пре-  
вратном ходе мысли этого мировоззрения тождества, кото-  
рые не могут быть сняты никакой терминологией и никакой,  
даже самой искусной, изобразительной манерой. Совсем ина-  
че обстоит дело там, где философия исходит из действитель-  
ного ощущения того, чего она хочет и что она испокон веков  
предполагала и искала как свой предмет и цель. Здесь труд-  
ность заключена не в самой вещи или в основоположном воз-  
зрении: ибо оно, поскольку само произошло из жизни и чув-  
ственного опыта, столь же ясно и понятно, как образ или яв-  
ление, или чистое впечатление самой жизни; по меньшей  
мере, достаточно ясно для жизни и для применения в ней;  
и достаточно понятно для чувства, родственного тому, на ко-  
тором зиждется оно само. Однако, как и везде, здесь также ча-  
сто бывает нелегко найти верные, со всей живостью характе-  
ризующие, безупречно уместные, меткие и удачные выраже-  
ния. Поэтому я также думаю, что в философии, по меньшей

мере в той, которая исходит из этой точки зрения жизни и живого чувства, будет гораздо лучше и уместнее, если ее служитель, вместо того, чтобы облекать ее мысли и понятия в вериги косной и неизменной терминологии (что, возможно, было бы полезно, благотворно, а иной раз и почти необходимо для наук, строго ограниченных той или иной узкой сферой), здесь усердно старался этого избегать и потому охотно и часто варьировал выражения, использовал все богатство языка, во всей разнообразной полноте научных, а также образных и поэтических способов обозначений, прибегая даже к оборотам общественного языка из всех сфер жизни, с тем лишь, чтобы придать своему изложению сколько возможно живости, поддерживая его в непрестанной смене живого движения, — чтобы прежде всего избежать мертвящего формализма, к которому и без того склоняется наш научный разум — так, как если бы то было его врожденное и унаследованное свойство. Поскольку живая философия есть более высокое и просветленное сознание, или знание, ясное для самого себя: некий род другого, второго сознания в обычном сознании, — то для его обозначения и представления необходим и некий дополнительный язык внутри обычного языка; однако это должен быть язык текучий и живой, а отнюдь не закосневшая система мертвых формул. Философия Жизни может и имеет право брать и заимствовать свои выражения отовсюду: в первую очередь из самой жизни, так что даже и беглые, мимолетные и недолговечные формы и обороты общественного разговорного языка могут иной раз служить ему для меткого и точного обозначения. Но такие обозначения можно искать и находить также и во всех прочих науках; и даже из отчасти уже устаревшей, неуклюжей терминологии и варварского школьного языка прежней немецкой философии можно извлекать пользу для языкового обогащения, в коем нуждается живая философия, тут и там пользуясь отдельным выражением в совершенно ином применении и в новом (порой благодаря такому применению впервые становящимся понятным) смысле, удачно обозначая им то, что обозначается лишь с большим трудом, или же вовсе ускользает от всякого обозначения. Лишь в мертвый скелет косной терминологии, в систему пустых формул не должен превращаться язык философии. Столь живо и твердо мое убеждение в этом пункте, столь тесно, по моему мнению, связано оно с внутренней сущностью и с внутренним духом самой научной истины, что если бы



когда-нибудь с этим предпринятым мною новым изложением философии случилось то же, что бывает порой с теми или иными произведениями литературы и с научными школьными системами в ней, а именно, что некие склонные к тому натуре вырывают из целого отдельные понятия и выражения, дабы пустить их в оборот по отдельности, как удобную мелкую разменную монету, причем здесь весьма быстро стирается и уничтожается всякое своеобразие и всякая печать истины, — я бы любыми путями и всячески противодействовал такому умерщвлению живого духа и низведению его до ничего не значащей и не говорящей буквы, и лучше, если бы то было возможным, изъял бы из произведения все такие выражения и вновь изобрел бы для той же темы совершенно иные и новые, или, по меньшей мере, попытался бы их изобрести. Философия Жизни, или философия, исходящая из точки зрения жизни и из живого чувства, хоть и не может быть всеобъемлющей или претендовать на всеохватность в том смысле, в каком претендует на нее всякая иная философия, исходящая из предпосылки необходимого мышления или из его видимости, — а именно, чтобы вознамериться определить всю совокупность возможного мыслимого, полностью измерив и навсегда закрепив его в представлении, или покуситься на подобное логическое всеведение; но и она может быть названа всеобъемлющей наукой в том смысле, что она затрагивает живое средоточие всякой жизни, а стало быть, и всякого мышления и знания, стремясь к его верному постижению. И если только она не теряет этого своего центра, вновь и вновь возвращается к нему, — то ей, пожалуй, можно разрешить описывать возле него бóльшие или меньшие окружности, освещая его со всех сторон, и не слишком придерживаться раз навсегда заданного строя мыслей, пытаясь облечь его в ту или иную неизменную форму выражения; если она, таким образом, черпает свои выражения из всей сферы жизни и мышления, где только может найти их, свободно выбирая их везде, где они представляются ей наиболее точными и годными для полного выражения чувства, которое столь трудно облечь в слова и которое почти никогда не бывает всецело ими охвачено и уловлено; и даже если ей самой приходится, следуя ходу своей мысли, ее множественным и изменчивым поворотам, возвращаться зачастую к своей исходной точке, однако уже в ином порядке и в обновленном воззрении, — она может пользоваться этой свободой. Научная верность истин-



ного метода мышления, который должен быть живым, имеет характер внутренний; он не зависит ни от каких мелких и внешних частных и мнимых неправильностей, но вполне может существовать наряду с ними. Как в действительном разговоре, где собеседники высказываются относительно того или иного важного и чувствительного пункта, затрагивая его в речи для взаимного понимания и убеждения, сперва роняют словно бы между делом тот или иной наводящий вопрос или рассказывают что-либо, избирая подобие, должествующее служить в качестве перехода, или делая даже весьма близкое заявление, чтобы устранить вероятное недоразумение или ближе и точнее очертить свое уже заранее принятое мнение и разрешить или примирительно сгладить зреющий спор, — дабы затем конечный результат сообщения мог предстать с возможной ясностью и отчетливостью перед мысленным взором слушающего: точно так же и я полагал, что мне простят, если я буду поступать точно так же в этом докладе, от коего я ждал, что он будет иметь вид внутреннего монолога, — буду пользоваться такой же свободой по видимости рапсодического хода мысли, порой не отказывая себе в том, чтобы увлечься тем или иным подвернувшимся кстати эпизодом, полагая, что его изложение гораздо скорее и лучше приведет к общему пониманию, и даже считая его существенным, часто возвращаться к тому же основоположному понятию, дабы лучше осветить его в разнообразных сопоставлениях. Я, однако, надеюсь, что несмотря на все трудности, в итоге все сказанное будет весьма просто сводимо к нескольким вполне удобопонятным мыслям, причем и внутренний закон языка: в целом верное соединение и словесный порядок (если мне позволено будет это выражение), — внутренний грамматический строй живого мышления, о котором я говорил ранее, — также должен быть здесь соблюден, сколь бы несовершенно и ущербно ни было то или иное отдельное слово или выбранное, за неимением лучшего, выражение. Любое выражение, даже самое лучшее и точное, всегда далеко уступает чувству; чувство есть все, оно есть полное средоточие внутренней жизни, точка, из которой исходит философия и к которой она вновь и вновь возвращается; можно было бы (если только это ныне весьма приниженное в своем достоинстве выражение не прозвучит здесь чересчур странно) сказать: оно есть квинтэссенция сознания; если же принять во внимание первоначальный смысл этого слова, в любом случае ведущего

свое происхождение от древнего (притом отнюдь не плоского и не мелкого) научного воззрения, в коем оно как раз обозначает сущностное пятое, прибавляющееся к четырем противоположным конечным точкам внутренне разделенного бытия или к четырем расходящимся направлениям так же разделенной внешней действительности, — если принять во внимание этот его первоначальный смысл, то оно совсем не покажется здесь негодным для обозначения этого центра сознания: ибо, безусловно, чувство как раз и представляет собой такое сущностное пятое, — как в отношении четырех великих основоположных сил внутреннего человека, каким он дан нам в опыте, так и в отношении располагающихся между ними четырех вспомогательных способностей второго порядка. Однако не только для обозначения этого совершенного средоточия чувства внутренней жизни ни одно выражение не может быть признано вполне удовлетворительным, но зачастую оказывается весьма нелегко верно обозначить словами и четко обособить также и любые тонкие восприятия, различия и различения, в нем лежащие или исходящие из него, что всякий раз ясно ощутимо. Даже подлинное и неподлинное в высшем и высочайшем чувстве, сколь бы ясно ни отличались они друг от друга перед внутренним восприятием, подчас бывает нелегко различить и охарактеризовать с той степенью достоверности, чтобы всякий ложный побочный смысл был отсечен и никакое смешение было бы уже не возможно. Сколь велика, например, бывает разница между двумя видами иронии в диалогически-изобразительных произведениях философии, — например, в ее традиционной для сократической школы манере и форме в сравнении с другими подобными сочинениями новейшей диалектики; в одном случае даже в диалектическом трактате с видимой чрезмерностью скептического остроумия в качестве последней цели удерживается бесконечное сомнение, а значит, можно сказать, что такая характерная, грубая и терпкая ирония зиждется на одном лишь общем отрицании; и в другом, напротив, ирония благодушная и полная любви (какую мы видим у Платона) самым тесным образом сплетается с воодушевленностью высшей божественной истиной, будучи почти едина и нераздельна с нею; такая ирония происходит в человеке из его чувства собственной неспособности когда-либо облечь в слова и передать в языке всю ту полноту божественного, что постигается духом. И тем не менее выражения и разговорные обороты, употреб-

ляемые в обоих этих случаях, зачастую столь поразительно близки друг другу, что кажутся если не теми же самыми, то весьма сходными, тогда как внутреннее намерение, дух и течение мысли всецело различны и почти противоположны. И пусть даже истинный художественный гений, в сравнении со всего лишь подражанием таковому, весьма легко распознается нами в его способе выражения и в его свершениях в области чувства, однако нам порой не достает слов, чтобы точно определить характер отличия и удержать его в ясной форме суждения. Конечно (дабы сразу же оградиться от желания шутить на эту тему), также и натянутый и принужденный юмор, с его тягостно-манерными повторами и дополнениями, с его пустой игрой и чрезмерным обилием искусственных острот, весьма разнится с кипящей полнотой истинно поэтического остроумия, где всюду бьет ключом гениальная жизнь веселой и резвой фантазии и даже глубокое поэтическое воодушевление лишь отчасти проглядывает сквозь летучие, цветистые покровы легкой шутки; и тем не менее даже и здесь зачастую трудно прийти к ясности относительно производимых впечатлений и их отличия, так что порой даже в самом общем суждении здесь можно обмануться или напутать, что и происходит весьма часто. В области чувства подражание (по меньшей мере, в частностях) нередко бывает в языке столь неотличимо от оригинального и подлинного, что часто лишь по завершении целого может быть вынесено окончательное и определенное суждение, и для обозначения его не остается уже никаких слов, кроме самых простых: «это правдиво и глубоко прочувствовано», или: «это нечто неподлинное, всего лишь подражательное и внутренне пустое». Вера, Надежда, Любовь — три эти столь часто вместе называемые и в действительности родственные друг другу и глубоко взаимосвязанные духовные свойства, душевные состояния, жизненные побуждения, внутренние органы нравственного чувства, или также решительные акты и разнообразные формы проявления умонастроения, устремленного ко благу и к Божеству, или как бы там еще ни захотели их назвать, — представляются нам, с *одной* стороны, как завершенная основополагающая схема и всеобъемлющий символ всей высшей жизни, и если они являются таковыми, то они являются таковыми равно и для всего высшего мышления и знания, поскольку оно должно быть живым, а значит, зиждиться на жизни; с *другой* стороны, мы видим этот всеобъемлюще-значимый символ

внутренней высшей жизни, как я его назвал, даже слишком часто, и далеко не всегда лишь в религиозно-эстетических стихотворениях, но порой и в весьма плоских назидательных сочинениях, в целях совершенно пустой, по существу суетной и поощряющей суетность игры вялой фантазии со святыми чувствами; так что и здесь строгое отделение подлинного от неподлинного в высшей степени необходимо и заслуживает нашего самого пристального внимания и усердия. Но торжественная серьезность и напускной пафос, с коими произносятся эти слова и затрагивают в речи эти понятия и предметы, ничего не решают; напротив, именно внешняя помпезность выражений и есть первое свидетельство ложности и фальшивой аффектации. Если, однако, этот символ внешнего религиозного трезвучия одновременно содержит основной аккорд всякой посвященной благу и устремленной к божественному высшей жизни, то сказанное должно быть верно не только в отношении внутренней, но и внешней жизни. Более того, эта схема нравственных основоположных понятий должна находить свое отображение также и в обычной жизни, и в ее действительных отношениях, где наиболее сообразным истине будет говорить об этих первых элементах всякой внутренней и всякой лучшей жизни в самой естественной и простой манере, чувство же священного благоговения перед этим наивысшим в человечестве может иметь свою гарантию во внутренней деликатности, безо всякого возвышенного педантизма или сугубо формального налета сентиментальности. Имея в виду цель науки, я, преимущественно в случае каждого из этих трех элементов высшего сознания, старался с самого начала строго отделить истинное и подлинное от имеющего хождение наряду с ними неподлинного; в случае с верой, — сокровенную, живую, прочувствованную и зиждущуюся на собственном опыте и собственной любви веру — от искусственной и заимствованной извне; далее, в случае с надеждой, я стремился показать, что наряду с ограниченно-эгоистической, подвижной страстями партийной надеждой, чьи ожидания не сбываются никогда или сбываются лишь в наказание и в постыжение ей самой, есть еще и иная, — высшая, безусловно божественная и святая надежда, которая на своем магическом языке обращается к нам не только в искусстве и поэзии, но которую мы можем и должны уметь найти запечатлеть также и в действительной жизни и которая, хоть она и по праву зовется вечной, все же в отдельные моменты и в опреде-

ленные к тому исторические эпохи, часто лишь после того, как ее долгое время и напрасно ждали, совершенно неожиданно и внезапно — хоть и в совершенно ином образе, отличном от того, который ей ранее приписывался, — предстает перед нами во всей своей славе и в поразительном сиянии своего конечного исполнения. Точно так же обстоит дело и с понятием любви: поскольку земная склонность часто бывает всего лишь мимолетной, или ее смешивают с обманчивым образом страсти, или даже она вообще оказывается слепой, — я стремился по меньшей мере указать на другую, высшую любовь, которая была бы непреходящей и вечной, и одновременно зрячей и знающей; ибо лишь она может иметь подлинную ценность для познания истины и для понимания жизни, для искомой здесь науки о человеке (в особенности о внутреннем человеке), и оказать подлинное содействие в достижении цели. Однако после того, как три эти принципа, образующие для нашей науки и для самой религии основной аккорд высшего разумного чувства, и в то же время, будучи взятыми в несколько уменьшенном достоинстве, представляют собой движущие мотивы и господствующие потенции в действительной, внешней и повседневной жизни (ибо мы и впрямь почти не в состоянии сделать в жизни ни единого шага вперед, не полагая при этом в основу какую-либо предпосылку доверия, какое-либо не подтвержденное математически предположение, — такое, которое, по меньшей мере теперь, когда момент побуждает нас к действию, не может быть аналитически разъято по всем правилам искусства, — в полноте веры в целое, и не исходя из него как из первой основы) — после того, как также и надежда, в том или ином направлении или форме, признана как собственно внутреннее движущее колесо всего нашего существования; любовь же, будь то истинная или ложная, высшая, смешанная или низменная, если не всего лишь поддельная, всегда образует собой все содержание жизни, все наслаждение ею, и еще больше того: она и есть сама жизнь, — я хотел бы по меньшей мере не столько даже указать, сколько еще раз, опираясь на тот или иной пример из действительной жизни и ее повседневных обстоятельств, напомнить о том, что и без того ясно само собою: об отличии всего лишь резонирующего доверия и веры, почерпнутой лишь из разумных оснований, лишь извне взятой, — от веры живой и в глубочайшем убеждении проистекающей из личного опыта и любви, с тем, чтобы возможно более четко пред-

ставить это отличие также и в высшем регионе. Представим себе, например, что для некоторого тяжело больного, пребывающего в весьма страждущем состоянии, мы ищем врача, который мог бы помочь и спасти. Тот, которого нам рекомендуют, знаменит, обладает широкими познаниями, большим опытом и глубоким суждением; нас уверяют, что на его счету большое количество исцеленных больных, что он никогда не оставляет своих пациентов без присмотра и что он весьма участлив, внимателен и заботлив. Все это весьма лестно его рекомендует, однако мы не знакомы с ним и у нас все еще остается некоторая боязнь и настороженность, еще нет полного доверия. Насколько же иначе обстоит дело там, где все это: и глубина его знаний, и широта и богатство применяемых им целебных средств, и его гениальная проницательность, — известно нам на собственном опыте, где все это мы действительно видели и испытали в момент опасности, если мы всегда с благодарностью вспоминаем его, будучи обязаны ему спасением жизни любимого существа или собственным, уже едва ли чаемым, выздоровлением? Таково же различие между всего лишь резонирующим доверием, исходящим из разумных оснований, и личной верой, основанной на собственном опыте и живом убеждении. По сути это не такое уж и далекое подобие, ибо оно весьма близко граничит с самой вещью, — если только правда, что мы часто бываем больны или, по меньшей мере, страждем душой, и что и в религии навстречу нам также выступает не только неумолимый законодатель косного разума, строгий судия суровой истины, но также и человеколюбивый мудрый врач, участливый и готовый помочь. Или давайте возьмем другой случай, в котором избранный пример еще глубже и ближе подходит к собственно корню глубочайших отношений общественной жизни. Некому выдающихся качеств мужу, как это иной раз случается, предстоит вступить в длительную связь с юной особой, которую он весьма мало знает, или, точнее сказать, почти не знает вообще. В том, что касается ее положения, состояния и даже внешней привлекательности ее образа, или также тех или иных ее талантов, ему даны все возможные заверения. Теперь спрашивается, должен ли он уже проникнуться тем доверием к ее умунастроению и характеру, которое разумно предполагается необходимым для соединения на всю жизнь и должно оному предшествовать; ибо ведь юношески замкнутый характер обычно раскрывает все свои нравственно прекрасные,

благородные и великолепные задатки, а равно и все свои страстные и властолюбивые элементы, возможно, еще таящиеся и дремлющие в нем, лишь вместе с полным развитием своей любви и жизни. Она получила прекрасное воспитание, у нее незапятнанная репутация, вся ее семья пользуется всеобщим уважением, ее предпочитают всюду в обществе, не только благодаря внешним обстоятельствам, но и ее собственным, вызывающим любовь и симпатию, качествам. Другая женщина с уже сложившейся твердой репутацией имеет благоприятное мнение о ней и любит ее как подругу, младшую сестру или собственную дочь. Все это, возможно, представляет собой в совокупности достаточные гарантии, достаточные разумные основания, чтобы возыметь доверие даже и в отсутствие предварительного более близкого знакомства. Сколь, однако, велика разница и сколь по-иному выглядит все предприятие в целом, если сама эта барышня при личном знакомстве умеет внушить ему такое полное доверие всем своим поведением и подкупает его не одной лишь своей внешностью, но совершенно независимо от нее — всеми своими внутренними качествами души, которые он может видеть и ощущать и которые могут стать по меньшей мере основанием для крепкого и счастливого единения сердец в совместной жизни. Пожалуй, для индивидуального приложения трудно установить всеобщие правила и провести верную разграничительную линию между всего лишь рассудочным, лишь внешне обоснованным доверием и всецело личным доверием, обретаемым внутренне в ходе самой жизни, в ее важнейших событиях и наиболее решительных моментах. Весьма часто то, что сперва представляло собой не более, чем всего лишь предварительное, общее и происходящее из разумных оснований доверие, найдя себе скорое и всецелое подтверждение, может перейти затем в глубокое доверие, основанное на личном чувстве. И, как это вообще случается в жизни (а как раз такого, вполне свободного и естественного сравнения ее и всех ее событий и отношений с соответствующими понятиями других духовных регионов мы отнюдь не должны боязливо избегать; но, напротив, его наглядность должна помочь нам ближе познакомиться с этими последними), — именно так происходит теперь часто в сфере высшей веры, в отношении религии и науки: что поначалу было всего лишь верой разума, то позднее, ступень за ступенью, превращается в веру глубоко прочувствованную и проникновенную, день ото дня



становящуюся все более твердой и личной, восходя чуть ли не до степени внутреннего созерцания живой истины. В качестве первого начала, дабы сперва лишь выйти из разумного неверия, и в качестве лучшей основы для дальнейшего и более высокого развития, может поэтому с уважением рассматриваться и получить справедливую оценку также и разумная вера. Однако, если рассматривать ее как завершенную и целостную систему, говоря со всей научной строгостью и сопоставив одно воззрение с другим, можно сказать лишь, что самодельная разумная вера есть не более, чем суррогат веры, и не может быть ею самой, которая сама по себе должна быть живой и исполненной личного чувства, а потому также — покоиться на любви и происходить из нее. По сути, все эти три элемента высшей жизни неразделимы; и для индивидуального применения весьма трудно было бы установить некое общее, действующее для всех случаев и неизменно верное правило, которое бы определяло, в каком порядке эти три состояния чувства и ступени внутреннего душевного развития всегда закономерно следуют или должны следовать друг за другом. Сущностно они представляют собой нераздельное *одно*. Как вера и надежда зиждутся на любви, точно так же и любовь зависит от них обеих, причем это относится ко всякой подлинной любви, как в действительной жизни, так и в высшей сфере. Если ее вера уничтожается враждебной силой, то она утрачивает также и надежду, и внутренний корень своего дальнейшего бытия; если у нее полностью отнимается надежда, то она тем самым хоть и не утрачивает еще веры в себя и свой предмет, однако чаще всего изглаживает сама себя в своем самоуничтожении. То, в чем все они представляют собой единство и всецело сплавлены в *одно*, есть вдохновение. Всякое подлинное вдохновение покоится на той или иной возвышенной и возвышающей вере; оно само есть некий род и форма высшей любви и несет в себе великую и божественную надежду; сказанное верно также и в отношении любви к отечеству, и вдохновения искусством, и не одним лишь религиозным вдохновением, ибо последнее состоит в ближайшем родстве с научным вдохновением, в особенности в том его виде, как его воспринимают древние, и в соответствии с тем местом, которое оно занимает преимущественно в платоновской философии. Между тем, все же остается существенное различие: вдохновение есть лишь возвышенное состояние сознания, которое рассматривается как всего лишь мимолет-



ное, хотя само по себе оно могло и должно было бы быть непреходящим, и так, т. е. в смысле мимолетного состояния, принято воспринимать само это понятие. Эти три внутренних элемента, однако, суть элементы целого всегда возвышенного или вообще высшего сознания. И это есть то самое тройко действенное, всецело и вновь воссоединенное, плодотворное и живое сознание, на которое я постоянно указывал с самого начала, утверждая, что из сознания обычного, поделенного начетверо и односторонне разорванного (каково оно ныне, но каким оно не должно быть и каким оно не могло быть от начала), мы должны вновь возвратиться, или подняться, в живое и высшее сознание; каковое возвращение к истинному сознанию как раз и есть условие истинной философии, и даже более того — есть сама эта философия. Если мы захотим теперь объединить это вновь восстановленное, высшее, или возвысившееся, сознание вместе с этими тремя его элементами под *одним* именем воодушевления, то здесь следует добавить, что это есть всего лишь одно, всеобщее, высшее и устремленное к божественному воодушевление, причем непреходящее и вечное, и в то же время совместимое и действительно соединенное с самым ясным сознанием. Поскольку же, однако, такое, безусловно, весьма высоко ценимое и возвышенное понятие истинного вдохновения встречается в платоновской философии и повсюду в ней преобладает, то можно сказать, что самая существенная часть этого трезвучия христианского умонастроения была ей довольно хорошо известна, хотя идея веры и надежды в этой своей форме и разделении незнакома ей, и она объединяет все это в одно, собственно выделяя из этих трех одну лишь любовь, причем таким образом, что это позволяет представить ее как основание науки, — той науки, о которой здесь только и может идти речь, а именно — науки внутренней и высшей жизни; ибо саму эту науку она рассматривает лишь как всецело пришедшую к сознанию, укрепившуюся в нем и вошедшую в полную ясность, любовь.

В отношении ранее уже упоминавшихся трех принципов живо взаимодействующего, нераздельного и полного сознания — духа, души и чувства — можно было бы сказать, что отношение этих трех свойств может быть приблизительно следующим. Вера есть акт духа, посредством коего высшее чувство отличается и обособляется от всех несущественных, более чисто и более духовно понимается как разумное

чувство, а тем самым еще и утверждается как суждение и удерживается в твердом понятии. Любовь есть направление и обращенность всей души к высшему и божественному, более того, — к самому Богу; надежда же есть та новая жизнь, что происходит из обеих, в которой божественная идея становится действенной и действительной, или она также есть внутреннее чувство, плодотворная восприимчивость к этой божественной идее и ее действующая сила.

Следующая же задача для данной ступени развития человеческого сознания будет состоять в том, чтобы достичь ясности относительно внутренней сути самой науки, с точностью определив которую необходимо затем ответить на вопрос: что же такое есть само знание? как оно появляется и как формируется? Далее нужно объяснить возникновение противостоящего науке заблуждения, тайно обманывающего наше чувство уверенности, подтачивающего и убивающего его; а тем самым будет объяснено также сомнение и разрешен вопрос всеобщего сомнения, после чего должно быть определено место, которое ему надлежит занимать в человеческом сознании. И лишь после всего этого может быть найден и дан ответ на вопрос об отношении веры, вдохновения, любви и Откровения к науке — ответ полный, определенный и более удовлетворительный.

Однако прежде, чем я попытаюсь с большей определенностью представить отдельные элементы, из коих состоит знание, — понимание и постижение, образующие собой его особые виды и ступени; затем познание, которое также еще следует отличать от знания вообще, и, наконец, различные формы мышления: необходимое разума и возможное фантазии, равно как и знающее мышление действительного, — и точнее обозначить в их характерном отличии, дабы затем почерпнуть отсюда совершенную идею самого знания и науки, — я хотел бы сперва предпослать еще одно общее замечание о той достоверности в науке, которой можно ожидать и которой следует искать, в соответствии с положенным здесь в основу понятием этой благороднейшей и высшей человеческой жажды знания, приняв за основу или воспользовавшись в качестве повода изречением весьма знаменитого мыслителя о своей собственной системе. Система Спинозы (а именно его я имею здесь в виду) пользуется довольно скверной репутацией как весьма темная и малопонятная; однако то изречение, или та оценка им своего собственного знания, что послу-

жит мне в качестве удобного перехода, совершенно от этой репутации не зависит и сама по себе абсолютно ясна и общепонятна, что можно будет видеть сразу, как только я приведу здесь его слова. Непонятность его системы, впрочем, вполне возможно, кроется в самой вещи, — в содержании и в точке зрения, принятой в отношении его, а отнюдь не в методе и не в форме изложения. Ибо последняя, напротив, коль скоро мы однажды допустили математический подход в философии, весьма превосходна в совершенстве своей определенности, в ясности и точности понятий и доказательств и даже в самом стиле изложения и выражения, — насколько это вообще возможно в новом латинском школьно-научном языке, который едва ли где еще достигает столь гармонично развитых форм и применяется с такой легкостью. О самой системе и о том месте, которое, согласно принятой здесь точке зрения Философии Жизни, должно быть указано ей, едва ли есть необходимость говорить подробно, поскольку, собственно, это однажды уже произошло и соответствующее суждение было высказано мной еще ранее, а именно, в том разъяснении, где я говорил о двух различных направлениях, или воззрениях, что предлагаются на выбор мыслящему разуму в его стремлении к истине и знанию на распутье между сомнением и верой, одним или другим знанием. Одно из этих двух мировоззрений зиждется на идее живого триединого Бога, которого держится и которого хранит вера, которого ищет любовь и на которого обращена вся наша надежда, и тогда, при этой предпосылке (что весьма существенно и неразрывно с этим связано), мир не является самостоятельным, он имел начало, как нас всех о том учили, и был сотворен Богом из ничего. Или же, согласно другой системе (а по существу, кроме этих двух систем для глубокой и основательной научной философии вообще ничего быть не может) мир никогда не имел начала, он сам вечен и един с Богом; и более того, все есть *одно*, и даже необходимое мышление и необходимое бытие сущностно не отличаются, но представляют собой лишь две различные стороны, или разные формы, *одной*, вечной и необходимой сущности. Труд Спинозы, согласно мнению всех знатоков, как прошедшей, так и нынешней эпохи, считается наиболее удачным представлением этой системы, выполненным с величайшей последовательностью — суждение, с которым я до сей поры совершенно согласен. Какой же выбор должна теперь сделать Философия Жизни, которая все божественное, самого

Бога, в том виде, как он присутствует во внутреннем и высшем сознании, пытается разъяснить для себя самой, полагая и рассматривая Его как данность равным образом внутренне-го и внешнего откровения, — в пользу какого из этих двух воззрений должна она решиться, — в пользу ли живого Бога или же в пользу определяющего собой все остальное краеугольного понятия о единой и необходимой сущности, которая есть одновременно мир и Бог и согласно которой мышление и бытие также рассматриваются как идентичные; в этом вопросе, пожалуй, не может быть ни малейшего сомнения, и более того, — не может быть и самого этого вопроса, ибо он как таковой едва ли может быть поставлен. Тем самым очевидно, что система эта совершенно неприемлема и в основании своем ложна, и равно неверно и ложно исходящее из этой точки зрения высказывание знаменитого мыслителя об этой другой, необходимой мировой системе. Тем не менее в этом окончательном суждении никак нельзя допустить даже самой малой примеси вражды или ненависти. Как раз самый величайший и превосходный ум, самое искреннее и прямое умонастроение, приняв однажды неверную точку зрения, впадают зачастую в самые глубокие, в самые тяжкие заблуждения. В любом случае, однако, самого ученого мужа следует хорошо отличать от его системы, сколь бы строгий суд ни был вынесен над этой последней. Собственно Спинозе (который, будучи евреем, стоял всецело вне христианства и никогда не смотрел на него иначе, как только с врожденным и решительным предубеждением) нельзя ставить эту систему в упрек в той части, что она не согласуется с религией и самым решительным образом ей противоречит; по меньшей мере не настолько и не в той мере, в какой заслуживают подобного упрека многие иные ученые мужи, не имеющие для себя сходного оправдания, однако весь образ мысли и все научное мировоззрение которых всецело и в гораздо более тривиальной и низменной манере обращены против религии, будучи враждебны ей от начала и до конца. — Упомянутое здесь высказывание прославленного мыслителя о себе самом, о своем философствовании в целом и о своей системе содержится в приватных письмах и звучит так: «Он не знает и не хочет решать, является ли его философия лучшей; однако он твердо уверен, что нашел истинную». В целом это звучит весьма скромно; возможно, что сказанное вполне соответствовало его мировоззрению и он действительно так думал; тем не менее в его

словах заключено притязание, с которым нам нельзя согласиться. Спиноза берет здесь слово «философия» не в его изначальном, греческом, значении. У греков лишь софисты выводили свое имя от совершенной мудрости и абсолютного знания; напротив, приверженцы философии, в особенности со времен Сократа и во всей сократической школе, объясняли философию, всецело в соответствии с ее именем, как высочайшую жажду знания и как научное стремление к божественной истине; и это есть тот существенный пункт, в котором тотально различаются взгляды относительно всего того стремления, которое уже на протяжении столетий и тысячелетий развивается в человечестве, никогда, однако, не приходя ни к своему окончательному завершению, ни даже к сколько-нибудь значительному периоду совершенной и всеобщей гармонии; так что уже хотя бы с этой одной стороны сократическое понятие философии, которое я всецело разделяю и сам, получает в конечном итоге нечто вроде исторического подтверждения со стороны другого, математического. Наш же автор (что следует уже из самой его системы) также понимает под философией совершенное знание, или, как это еще можно было бы назвать, вечную истину. Однако может ли это быть истинное всеведение, пусть и не всецело охватывающее собой все пространство спектра, содержащего в себе все действительные частности, но хотя бы, по меньшей мере, интенсивное всеведение, — такое, из которого то другое, внешнее и всеохватное, выводилось бы как всего лишь дальнейшее и полное развитие первоначального внутреннего? И может ли быть такое бесконечное знание и всеведение приписано кому бы то ни было другому, кроме одного лишь Бога? Если же мы все-таки признаем это, то не будет ли более сообразно истине рассматривать предмет и говорить так, как если бы человек существовал здесь лишь в некоем приготовительном состоянии, самое большее, — в поступательном движении от ступени к ступени и в медленном, но неуклонном приближении к высшему знанию. Если ту часть истины и знания, что дарована нам и достижима для нас, действительно можно признать достаточной для жизни, то мы могли бы, или, точнее, вынуждены были ею довольствоваться. Весьма вероятно, однако, что все само по себе достижимое окажется столь велико и необъятно, что ни один человек не будет в силах достичь его в действительности; и почему бы нам в любом случае не ожидать и не предполагать такого, если остается вне сомнения,

что всякий человек по окончании этого приговорительного урока к вечности, который мы зовем жизнью, тем или иным путем придет к совершенной уверенности, ясности и полноте представления о самом себе, о мире, а также о Боге и его отношении к первому и второму? — Если вторую половину суждения о самом себе прославленного мыслителя мы можем счесть за один лишь чистый, естественно проистекающий из всей его системы и сущностно связанный с ней самообман и объявить ее таковым; то все же и в первой его части необходимо будет внести некоторые существенные ограничения и модификации. Имени лучшей философии Спинозы, конечно, не заслуживает, поскольку устремлена к совершенно ложной в этой сфере цели математического знания и поскольку начинается с коренным образом неверной исходной точки мнимой безусловной необходимости — изначально первого и последнего заблуждения разума; вместе с тем она, безусловно, *лучше* многих прочих, не менее ложных, но притом еще и мелких и плоских, а в своей половинчатости и смешанности — еще более пагубных систем. Самые сильные заблуждения, — гласит древнее речение, — суть те, что помогают застрявшей на полпути своего развития науке или образу мысли совершить прорыв к более высокой истине, знаменуя собой целительный кризис перехода; и здесь эту, саму по себе не благую, философию можно в относительном смысле назвать благом, т. е. философией, изучение которой может быть в течение некоторого периода времени полезным и целительным, а именно, для того индивидуума, той нации и той эпохи, которые как раз находятся в состоянии кризиса такого перехода, которые достаточно возмужали для принятия такой пищи и которые способны переработать такую систему заблуждения себе во благо. Примером и подтверждением того, что это суждение не является таким уж негодным и жалким в своей примирительности; что это воззрение не лишено, по меньшей мере, некоторых исторических оснований, может служить как раз наша новейшая немецкая философия последнего времени, где система Спинозы оказала на немецкую натурфилософию в ее начальной стадии развития столь решительное и первенствующее влияние (которое, правда, теперь почти совсем улетучилось); где стоявшие вне всякой системы выдающиеся самостоятельные мыслители старой школы или новой эпохи уделили этой системе и ее следствиям, ее внутренней простоте и возвышенности научного образа мысли, столь величайшее

внимание, хоть и никогда всецело не соглашаясь с нею; так что система эта теперь уже почти полностью переработана и с величайшей пользой и выгодой внутренне преодолена и побеждена, так что в целом она едва ли уже различима, существуя лишь в головах тех, кто все еще выстраивает барьеры и редуты на пути науки жизни и Откровения, являя собой как бы последние и самые густые тени потаенного мрака и бесовского обмана, бегущие перед солнечным восходом нового дня. — Если теперь кому-то покажется предосудительным и неподобающим, что в таком общественном кругу, как собравшийся ныне, я завел речь о той самой опасной системе всецело метафизического заблуждения, о нежелании заглядывать внутрь которой в этой ее особой форме я заявил еще с самого начала, — то я должен буду возразить, что как раз оно — именно это самое мировоззрение, — существенные особенности которого я, как мне кажется, в достаточной мере охарактеризовал как один из главных родов возможного человеческого заблуждения, если всецело отвлечься от этой его конкретной формы, получило широкое и, можно сказать, повсеместное хождение в бесчисленном множестве других, гораздо более доступных и отчасти даже обретших поэтическую привлекательность форм и волшебных пантеистических образов, больших и малых. И после того, как столь многие поэты и снискавшие всеобщую любовь писатели сделали, всецело или наполовину, сознательно или неосознанно, однако все же Спинозистами в этом, более свободном и общем смысле слова, — такая ложная стыдливость и, в любом случае, слишком далеко зашедшие попытки ученого сообщества сделать вид, что ничего не произошло, выглядят явно запоздалыми. Если бы эта другая, божественная опытная философия, в ее совершенно ином роде и совершенно иной форме, была однажды возведена и выстроена с той же последовательностью и полнотой, что и эта исподтишка прокрававшаяся к власти разумная система последовательно проведенного заблуждения, — лишь тогда мы, наконец, с величайшим изумлением увидели бы, что именно знаменует собой эта противоположность и сколь многое она в себе заключает.

Для меня здесь было не столь важно выступить против этой системы и дать ее обстоятельное полемическое опровержение (что в данном случае было за пределами моих намерений и что с точки зрения философии, исходящей из высшей и внутренней жизни, воспринималось бы как нечто лишнее



и бесполезное), сколько представить четкое различие и провести внятную границу между сократическим понятием философии как постепенного приближения к вечной истине и высшему знанию и другим, стремящимся к безусловности, ложным математическим знанием, а вместе с ним — также и боязливым систематическим всезнайством; указанное различие во всем этом предприятии имело для меня совершенно особую, можно сказать, личную важность, ибо я никоим образом не хотел бы быть здесь неверно понятым. После того, как эти три категории возвышенного сознания и внутренней жизни — веру, надежду и любовь — я распознал и с определенностью утвердил также и в качестве существенных элементов и первых основ всякого высшего мышления и знания (ибо это последнее должно иметь жизнь своим предметом и содержанием, своей основой и своим источником), — ничто не было бы столь чуждо моему умонастроению и ничто не противоречило бы ему в большей мере, как желание подвергнуть эту *мою* систему веры, надежды и любви принудительному и наглядному доказательству перед лицом всего мира или попытка навязать ее кому бы то ни было, пусть и одними лишь научными средствами. Даже если бы мне дано было магической силой убеждения и захватывающей риторики превратить мою убежденность в убежденность для всего мира, я едва ли пожелал бы этого, сочтя это неуместным и неправильным, по меньшей мере, в сфере философии. Ибо философия может быть лишь порождением собственной мысли, может лишь свободно происходить из собственного ощущения потребности, в противном же случае она попросту не существует; всякое сообщение в философии не может поэтому иметь никакой иной цели, кроме живого побуждения к правильному и верному самостоятельному мышлению, самое большее с намеком и указанием на ведущий прямо к цели путь, для отличения его от иных, сторонних троп. Всякий, впрочем, кто со всей серьезностью ищет истину, уже имеет тем самым в себе самом, в той или иной форме, *начало* веры, надежды и любви в научном смысле; и более того, не просто начало, а целую *систему*, хоть и не выраженную в этой форме. Если бы мне повезло настолько, что всякий, кто посвятил этому исследованию несколько мгновений искреннего внимания, укрепился бы благодаря ему в той основе высшей жизни и веры, которую оно стремится представить, или, получив в нем возвышающий импульс к своей высшей



цели, может быть, пришел в тех или иных пунктах к большей ясности в том, что составляло для него средоточие любви и жизни, найдя и ощутив более ясным уклад своих собственных мыслей, — я счел бы мою цель и мое намерение в этом первом опыте такого устремления вполне достигнутыми и удовлетворительно исполненными.

Если, однако, мы предоставляем Богу и будущему это безусловное и всецело абсолютное знание (исключая разве что поистине губительный фантом — целиком и полностью ложную и неуместную в сфере философии форму доказательства с ее мнимой математической достоверностью), которое, будь оно позитивным, все же имело бы своим результатом некий род всеведения, — и притом отчасти сами налагаем на себя известное ограничение, довольствуясь сугубо человеческой точкой зрения реальной жизни и всецело держась в этих обозначенных нами пределах, — т. е. решаемся на длительное, восходящее от ступени к ступени, приближение к совершенной истине, — такой, какова она в Боге: то все-таки следует признать, что даже и в рамках подобного ограничения может быть выдвинута идея науки, которая будет не только обеспечивать надежное и твердое основание, всецело удовлетворяющее жизненным нуждам, но и оставлять некое пространство свободы для дальнейшего развития всякого истинного мышления и знания, для самого широкого спектра всех истинно духовных надежд и чистых, возвышенных стремлений, никоим образом не обремененное слишком уж тесными земными ограничениями; науки, которая, покоясь на твердой почве опыта, будет весьма мало затронута сомнением, сколь бы остро и бесконечно в своем влиянии ни было оно, никогда не позволяя ему ни нанести себе существенный урон, ни подточить и подорвать себя. Я назвал это идеей науки, а не ее понятием, как в случае с сознанием; ибо это последнее всецело дано нам во внутреннем опыте и самонаблюдении, и остается лишь представить его в благоупорядоченном и всеобъемлющем понятии столь же полно, как оно существует в действительности, или же лишь обозначить его в общих чертах. Напротив, о науке можно дать лишь идею, в качестве некоей путеводной нити или руководства к тому, как она может и должна быть достигнута и насколько, в какой мере, и каким образом она вообще в действительности достижима; эта идея и руководящая нить на пути к искомому знанию, в свою очередь, может быть выведена лишь из высшей и божественной

идеи (которая есть сама вечная истина) и в первом своем источнике может быть почерпнута лишь из нее. И эта идея науки, наряду с ранее выдвинутым всеобъемлющим понятием сознания, есть, теперь, второй после него шаг, еще один результат и ближайшая ступень в ходе следования всего этого мысленного развития в целом. Эта указывающая на науку как могущую быть достигнутой, вообще достижимую, и на самом деле ведущая нас к ней, ее идея, зиждется, прежде всего, на том, что мы постепенно научаемся все лучше и лучше понимать данную нам истину и что мы также способны на это, и, безусловно, сможем, если только по-настоящему и крепко захотим. Да и как можно было бы столь всецело подвергнуть сомнению тот факт, что мы вообще не лишены способности понимать данную истину, если это, пусть и в весьма ограниченной мере, отчасти заключено уже в самой данности, и простое схватывание ее есть уже начало понимания, хоть и весьма еще несовершенного? Во-вторых же идея действительно достижимой науки зиждется на том, что заблуждение, возросшее всецело на нашей почве, мы в состоянии признать за таковое, а тем самым освободиться по меньшей мере от его безусловного господства, от его тиранического всевластия, если и не от всякого его возможного и остаточного влияния. Ибо, коль скоро мы сами обитаем в этой области нашего заблуждения, ничто не мешает тому, чтобы мы могли всецело обозреть его и точно измерить все его внутренние пропасти. Это требование, как и возможность его выполнения, по сути заключено уже в древнем греческом изречении: «Познай самого себя», — в его более научном смысле; в осуществимости чего также нет никаких причин сомневаться, если только нам удалось отыскать надежное место, некое подобие Архимедовой точки опоры вне нас самих, скажем так, — вне нашего обычного сознания и состояния; и такую точку мы действительно можем обрести в данной нам высшей истине, или, точнее, — она уже дана нам вместе с этой истиной. Что познание заблуждения как такового (посредством коего мы затем еще и освобождаемся от этого заблуждения) возможно, — в этом лучше всего убедиться на примере реального исполнения и через само это исполнение, а именно, — если во всей области нынешнего опустившегося и расщепленного сознания укажем для каждой из основных сил характерное для нее, свойственное ей заблуждение или, по меньшей мере, глубоко коренящуюся в ней склонность к такому заблуждению;

что вполне может произойти на высшей точке зрения вновь гармонически воссоединившегося сознания. Если, согласно всей этой точке зрения, собственно врожденные идеи, как уже отмечалось ранее, едва ли могут быть приняты и допущены (по меньшей мере, не в буквальном и общепринятом смысле), — то все же, в этом расщепленном сознании и для его падшего состояния, вполне можно было бы (и, может быть, с гораздо большим правом) предполагать врожденные заблуждения; конечно, не в качестве слепой необходимости, но одной лишь ложной склонности, или превратившейся во вторую природу дурной привычки, — и лишь как кажущееся врожденным несовершенство, которое уже весьма часто признавалось как таковое в иллюзиях воображения, в границах разума и в возможных заблуждениях рассудка, — однако недостаточно полно, с недостаточной степенью обобщения, а потому также и с недостаточной ясностью. Само же понятие о врожденных человеческой способности мышления научных заблуждениях следует воспринимать точно так же, как нравственную немощ или греховность человека, в том виде, как он есть ныне, — свойственную ему и всему роду и передающуюся по наследству. Познанию заблуждения как такового противостоит признание как таковой истины, а именно высшей и божественно данной, каковое признание истины собственно и образует собой твердую точку внутренней уверенности во всяком знании. И здесь теперь мог бы возникнуть вопрос: как может человек признать истину, которая должна быть сперва дана ему, — становясь тем самым чем-то вроде судьи и господина над нею? Или как может он будто бы вновь узнавать нечто, что сперва дается ему и, стало быть, чего у него ранее не было? — В этом последнем отношении дело обстоит точно так же, как и с врожденными идеями, которые лишь не следует воспринимать буквально в согласии с предположением действительной преэзистенции, и с вечным воспоминанием, которое, будучи поставлено здесь в один общий ряд, вполне может быть оправдано и принято в этом указанном, чистом смысле. Если бы человек оказался целиком и полностью неспособен к такому признанию божественной истины, то это значило бы лишь, что он еще прежде был лишен всех высоких преимуществ перед иными природными существами, дарованных ему Богом, а всякое божественное подобие в нем бесследно угасло или было до конца истреблено. Среди этих других преимуществ не последнее место

занимает также и обычно так называемый опасный дар свободы. Человек создан свободным и остается таковым даже и по отношению к Богу, а значит, именно в его власти раз и навсегда положено признавать над собой Бога или же нет. Поскольку же это так, то в таком свободном признании, коль скоро этот его выбор верен, все еще нет никакого возвышения его личного суждения над законом Бога. Но это всего лишь добровольное согласие с божественной волей, к следованию которой человек призван своей свободой, и более того — он именно для того и создан, чтобы следовать ей. Как только, теперь, человек научится все лучше понимать сообщенную ему высшую истину и все отчетливее различать заблуждение как таковое, он, без сомнения, будет способен все более полно и верно понимать всю реальность внутреннего и внешнего опыта в соответствии с его внутренним смыслом, целью и его истинным значением во взаимосвязи целого, и это есть третий пункт в науке и в ее идее. Я сказал «внутреннего и внешнего опыта». Сперва, конечно, внутреннего. Данное извне и действительное содержание других опытных наук может относиться сюда лишь в той мере, в какой оно связано с внутренним опытом осознания и постижения человеческой природы, и с той особой частью этого внутреннего опыта, что свидетельствует о высшем предназначении, уготованном и возведенном человеку Богом. И как раз именно в таком отношении к внутреннему знанию стоят история, язык и их научное познание. Однако сюда же относится или, по меньшей мере, может быть отнесено также и содержание всей сферы искусства и природы, а также всего естествознания, в том случае, если оно находится в связи с этим высшим опытом или может быть поставлено с ним в такую связь. Это становящееся все более ясным и просветленным понимание высшей по отношению к людям истины, это все более совершенное познание ошибочного и ложного, это достигающее все более полного развития понимание действительного, коль скоро оно также принадлежит к этой сфере, образует собой три основания и три элемента, или также три ступени и сферы науки, которая, таким образом, согласно этой ее идее, может в любом случае рассматриваться как возможная, достижимая и основывающаяся на действительности. Это последнее есть главный пункт, ибо в остальном различные пути, роды и направления мышления принадлежат более ко внешней форме, нежели ко внутренней сущности науки. Су-

щественна лишь общая, единственная для всех направлений и родов путеводная нить, так что, как необходимое мышление разума в его строго логическом соединении, так и лишь возможное мышление, рожденное силой научного воображения в его по большей части символических одеждах, должны — чтобы только не впасть в заблуждение и не опуститься до полного ничтожества — всецело опираться на действительность и на мышление действительности, покоящееся на твердом опытном основании. Лишь там, где необходимое исходит из действительного, оно поистине необходимо; и точно так же возможное есть поистине и на самом деле достижимое возможное лишь там, где оно зиждется на основе действительного. Без этой внутренней опоры то и другое — математические доказательства, с одной стороны, точно так же, как и искусно сформулированные гипотезы, с другой — подобны всего лишь стихам, и отнюдь не тем хорошим стихам, что обладают внутренним и часто весьма глубоким смыслом, но совершенно бессмысленным и бесцельным стихам, свидетельствующим о пустоте мысли. Против внутренней действительности опытной науки духа, покоящейся на указанном признании и понимании данности, познании ошибочного и неистинного, сомнение может весьма мало, или, по сути, вообще ничего. Как только мы начинаем исходить из безусловного разумного знания и принимаем его за таковое, то у нас уже больше нет спасения от бездны скептицизма и бесконечного сомнения. И тогда для внутреннего успокоения человеческой души (которое, однако, не может быть истинным и совершенным) между самодельной разумной верой, которая должна восполнять собой зияющую и неисцелимую внутреннюю пустоту безусловного знания во всем, что касается Божества, и бесконечным сомнением рассудка, по сути, может быть заключено лишь некое подобие перемирия на неопределенный срок, но никак не подлинный мир, самое большее — нечто вроде мучительно достигнутого и все еще весьма двусмысленного конкордата, где каждый пребывает обособленным и изолированным в своей собственной сфере, обещая другому лишь не предпринимать против него враждебных поползновений на время его действия; но о совершенном гармоническом взаимодействии разделенных сил познания, о живом и действительном знании согласно его истинной идее в этом случае думать не приходится, ибо все эти поиски могут вестись лишь на ином пути.

## Восьмая лекция

В искусстве мы уже привыкли исходить из предпосылки, что для свершений в нем нужен подлинный художественный гений, для полного же восприятия и проникновения, для верной оценки и верного суждения о творении гения — особое художественное чутье, или своеобразная восприимчивость к искусству; более того, здесь даже едва ли можно уже говорить о предпосылке: столь глубоко укоренившимся и общепринятым стало это предположение. И точно так же платоновская философия принимает вдохновение за божественную истину, а ее высшее познание полагает в качестве своей основы, а поскольку она исходит из сознания, возвышенного вдохновением, то она, в поисках входа, в свою очередь, делает такое сознание своей предпосылкой. Именно отсюда проистекает и тесная связь этого рода и этого пути в философии с художественным воззрением и вдохновением во все времена и у самых разных народов, — везде, где этот путь получил хоть какое-то развитие, выступив в диалогической или какой-либо иной форме изящного представления; и также эта (сколько сие возможно на почве и в области науки) наполовину художественная точка зрения упомянутой философии. Чем более единовластной была школьная форма в наше новое время и в нашем немецком языке в науке вообще, и в частности также в философии, тем, возможно, большую заслугу имеют перед ней те немногие, кто стремился придать ей этот художественный строй и образ и сохранить его для нее. И если даже, в общем и целом, такая форма и такое воодушевление красотой в философии не получили столь высокой оценки, как это в моем восприятии могло и должно было иметь место, то все же ценителям пришлось взять эти оригинальные свойства под свою защиту и высказаться скорее в их пользу, пусть даже видя в них всего лишь своего рода подсобные средства, способствующие образованию более свободного духовного кругозора и более разностороннему духовному развитию. Сказанное отнюдь не ограничивается одним только нашим немецким языком, немецким образованием и свойственным им обоим своеобразным духовным направлением, с его особенной склонностью к искусству и ко всему прекрасному; но во всем этом очевидным образом проявляется всеобщая потребность эпохи — всех новых наций, как раз в противовес в целом преобладающей здесь школьной форме и математическому

мировоззрению или, по меньшей мере, духовному направлению. Так что и Гемстерхуз<sup>20</sup> (Hemsterhuys), писавший на французском языке (который, собственно, от рождения был ему чужим), выказал величайшее мастерство в этой, весьма близкой к художественной, манере изложения и в своем воззрении на философию, близком к платоническому. Но, тем не менее, несмотря на все это родство и на всеобщее воодушевление красотой, все еще остается водораздел между научным понятием красоты и всего лишь художественным воззрением на нее, согласно коему поэту и художнику высшая красота в то же время и с полным правом вмещается также и в истину, — в его собственную и неоспоримую. Согласно же научному воззрению, между божественной вечной истиной и красотой, пусть даже и высшей, все еще остается некая разделяющая их ступень, — если не интервал, то все же известная линия разграничения. Вечная истина есть сам Бог; если даже в тех или иных представлениях или отдельных высказываниях этой платоновской философии искусства сама высшая сущность получает имя изначальной красоты и обозначается им, — то все же это не в точности и не вполне соответствует научной правильности. Ибо, согласно научному воззрению, даже и наивысшая красота есть лишь совершенное зеркало и чистый отблеск вечного совершенства, однако никак не оно само. Впрочем, я бы дал этому отблеску, дабы лучше выразить эту совершенную чистоту от всякой примеси и от малейшей запятнанности чувственным миром, а также свободу от всякой земной пелены заблуждения, — имя святой красоты, которое подходит ему лучше, чем «изначальная красота» или «высшая красота»; поскольку каждый обозначает эту последнюю, все еще со своей субъективной точки зрения, несколько иначе и отличным образом: один в восторге и увлечении находит ее в Рафаэле, тогда как другой хочет видеть ее лишь в Аполлоне и других высоких божественных образах совершенной античности. Что же такое представляет собой эта красота, в соответствии с чистым и первоначальным ее понятием, в ее отношении к действительности, согласно принятому в нашей Философии Жизни принципу сводить все к действительности, будь то всего лишь естественная и земная или также высшая, духовная и божественная действительность?

<sup>20</sup> Тиберий Гемстерхуз — голландский ученый-классик 1685–1766. Получил должность профессора математики и философии в Амстердаме в возрасте девятнадцати лет. — *Примеч. перев.*



Какое же место занимает красота в этой действительности, как относится она к прочему творению, вообще ко всему тварному миру и к самому Божеству, и что есть она сама по себе и по истине? — В священном языке, говорящем о божественных вещах, и в посвященном ей и тщательно взвешенном выражении речь идет о сотворенной от начала и прежде всех времен Премудрости. Если она называется сотворенной, то, следовательно, под ней не может разуметься и с ней не может смешиваться та несотворенная вечная истина, которая также носит имя всемогущего Слова, через которое были сотворены вся природа и все существа в их изначальной красоте. Эта сотворенная Премудрость, которая, следовательно, сама есть творение, — чем еще может быть она, если не мыслью, не образом, не выражением, не оттиском сокровенной внутренней сущности Божества, в котором внешне зримым образом предстает его недоступная глубина, его неисследимая пропасть; а значит, именно то самое совершенное зеркало и чистый отблеск божественного совершенства? Как бы мы ни захотели это назвать и обозначить, все же всегда надлежит тщательно отличать сотворенную, пусть даже сотворенную прежде всего остального мира и прежде всех времен, сущность от несотворенного бытия вечного всемогущества, ее произведшего. Если бы мы захотели здесь употребить по отношению к ней выражение *душа Бога*, которое встречалось у иных авторов, но которое, однако, было оставлено из опасения тех недоразумений, которые оно могло бы породить, — то и здесь также можно было бы отыскать добрый смысл, хотя бы лишь для того, чтобы отличить это первое сотворенное существо в его чистой первозданной красоте от всего лишь, пусть даже и сколь угодно идеалистически, мыслимой мировой или природной души; правда, в этом случае пришлось бы напомнить и тщательно сохранить в памяти, что данное выражение может относиться только к тварной сущности и применимо лишь в отношении таковой; ибо самому Богу, если соблюдать строгую языковую правильность выражения и словообозначения, не может быть приписана душа, являющаяся всего лишь пассивной способностью, поскольку все в нем есть бесконечная сила и чистая деятельность, и всегда пребывает таковой. — Это есть первая среди всех прочих сотворенная сущность, — подобная прекрасной утренней звезде, в своем чистом сиянии посылающей свой свет всему остальному детски-блаженному, еще невинному и неиспорченному творе-



нию, — внутренний нектар, духовный цвет природы, — сокровенное световое ядро все еще кроющегося в ней изначального райского блаженства; та самая святая красота, что всегда наполняет душу истинного поклонника искусства, даже если он никогда не будет способен всецело ее воспроизвести, и для которой вдохновенный мыслитель напрасно ищет слова и выражения, ни одно из которых не в силах объять эту сущность; особенно покуда он рассматривает эту последнюю как всего лишь мысль или отношение мыслей, считая ее не более, чем идеалом, и пока он еще не понял и не постиг эту тайну любви в ее действительности. — И здесь я, пожалуй, хотел бы употребить недавно уже приведенное изречение великого мыслителя о его собственной философии и науке, и в этом его применении к совершенно другому, хотя и также все еще связанному с высшим знанием, предмету, присовокупить: является ли выдвинутое здесь понятие о красоте вполне верным для художника, т. е. является ли оно совершенно удовлетворительным и единственно достаточным, или все еще есть нужда (в том или ином применении к какому-либо конкретному роду искусства или в возведении системы в той или иной дисциплине) — в каких-либо еще иных, опосредующих понятиях и переходных точках, и не должны ли еще для этой цели присовокупиться к тому различные, столь же существенные элементы, — этого я не знаю, или, точнее, я отнюдь не берусь этого утверждать, но хорошо вижу, что это так и что для самого искусства и для достижения совершенства в нем потребно еще нечто иное, кроме одной лишь чистой красоты; но одно я знаю наверняка, — что это выведенное здесь понятие, кроме которого, пожалуй, едва ли могло быть найдено какое-либо иное, — есть верное и истинное христианское понятие красоты, в сравнении с коим все языческие образы божеств, фантастические природные существа или воплощения духовных идеалов — суть всего лишь отдаленные намеки и телесные образы, или некие множественные осколки и черепки неизвестного разрушенного целого. — Также и это блаженное детское состояние всего творения, бывшее прежде начала всякого несчастья и до разрушения, учиненного злом, о котором я упомянул и понятие которого, по меньшей мере как такового, вообще не следует терять из вида, есть немаловажное и, пожалуй, весьма плодотворное понятие для высшей, духовной цели искусства, и в особенности для внутренней сущности поэзии. Я назвал высшую поэзию, согласно царствующей

в ней идее вечной надежды, занимающейся утренней зарей в этой сфере духовного образования и поэтической фантазии; однако в то же время я отмечу, что также и грустное воспоминание, печальный взор, устремленный назад, в ушедшее великое прошлое, или блуждающий в поисках утраченного детски-блаженного состояния первого начала, собственно, никоим образом не противоречат ей и не находятся с ней в конфликте, но что это чувство также следует рассматривать как отблеск надежды, как отражение ее с другой стороны, точно так же, как луч вечерней зари, ласкающий взор, по оставляемому им впечатлению весьма близок к лучу зари утренней. В этом отношении о поэзии и ее внутренней сущности вообще можно было бы сказать, что она есть духовное эхо души, луч томительного воспоминания о утраченном рае; не то, чтобы сам по себе этот рай и его история, в том виде, как она поведана нам и как британский поэт предпочел ее пересказать, представляли собой единственно достойный или особенно удачный предмет для поэтического искусства; но лишь в связи с тем всеобщим раем природы во всей вселенной, а также с утраченным блаженным детским состоянием творения, — до того момента, как оно было разрушено в результате отпадения от Бога. Тон райского воспоминания, сладостный отзвук небесной невинности и первозданная красота вселенной в ее начале могут, словно некий потаенный животворящий дух или высшая путеводная нить, проникать собою все напевы и художественные представления всякой поэзии, которая лишь не всецело принадлежит одной только земле. Не то, чтобы этот световой луч уже сам по себе должен был или всегда мог составить содержание большого и завершенного в своем развитии поэтического произведения, внешний материал и предмет коего чаще всего будет, и должен быть, несколько более телесным и исторически живым; но, как я уже ранее сказал о божественной надежде, даже при имеющейся у нас на данный момент картине действительности, выполненной с величайшей основательностью и добросовестностью и глубоко и с точностью выверенной в каждой своей черте и мельчайшей детали, — последняя все еще могла бы сокровенным и тайным образом быть внутренней душой целого в этом от начала и до конца внешнем мире представления. Там же, где в том или ином поэтическом произведении такая высшая нить напрочь отсутствует, — там может иметь место лишь проза, пусть даже и облеченная в форму стихов,

может быть, даже искусство, остроумие, исторический взгляд, ирония, — все что угодно, но только не поэзия, чье понятие никогда не может быть полностью отделено от понятия вдохновения, — разве что там, где это понятие уже всецело утрачено или лишь начинает сходить на нет. По меньшей мере, совершенно холодная поэзия рассудка, если мы вообще хотим еще называть ее этим именем, относится к истинной поэзии вдохновения в любом случае лишь так же, как суррогатная вера чистого разума к вере живой и полной чувства, — протекающей из любви и глубокого личного убеждения.

Полная сущность всеобъемлющего вдохновения, согласно его высокому платоновскому понятию, в христианском трезвучии веры, надежды и любви пребывает словно бы разъятой на три временных формы. Ибо несмотря на то, что вера коренится также и в настоящем, она все же всякий раз одновременно связана с чем-то прошлым — с уже имеющимся, уже некогда ранее данным откровением, или священным преданием, — одновременно включая в себя это прошлое. И также при традиционной вере и практической и обыденной внешней жизни (той, которая обычно и вне области религии имеет дело с опытным знанием) почти всегда можно указать на подобную связь с прошлым. Надежда устремлена в будущее, а в любви всецело господствует ощущение настоящего, и даже в вечной любви Бога последняя понимается как такое полное и непреходящее чувство бесконечного, без начала и конца длящегося настоящего, — и не может пониматься никак иначе. Второе отличие, после разделения на три ветви или элемента, рода и формы, в силу которого эти три христианских основополагающих чувства сущностно обособляются, — от единого и всеобъемлющего чувства вдохновения, есть, как уже упоминалось ранее, то, что последнее первоначально означает всего лишь преходящее состояние возвышенного сознания, тогда как эти три категории христианского сознания содержат в себе понятие не просто кратковременного, мимолетного состояния возвышения, — но понятие непрестанно, всегда возвышенного, — действительно возвысившегося, пребывающего в полной ясности и равновесии высшего сознания. Именно поэтому указанная схема христианских основоположных чувств, там, где речь заходит об отношении веры к знанию, и для философии, которая должна показать взаимосвязь знания и веры, или переход одного в другое, будет гораздо более уместной и поведет к цели не только с

гораздо большей легкостью, но и с гораздо большей надежностью, нежели платоновское основание вдохновения для всякого высшего знания, несмотря на очевидное и непреложное, сущностное и глубинное родство этих двух мировоззрений. Что, далее, касается отношения веры к знанию, то позитивная часть догматически-определенной веры в ее обособленной форме относится к религиозной науке и лежит целиком и полностью вне границ философии, ибо, например, ученая экзегеза Св. Писания, хоть, безусловно, и предполагает дух философии и требует его для себя, однако она сама не есть философия. То же самое верно и в отношении имеющего хождение наряду с писаным Откровением церковного Предания, согласно системе, основывающейся на расширенной предпосылке двоякого источника познания для истин веры, а также в отношении его догматической оценки, которая, как затрагивающая собой определенную историческую область, или, если хотите, как спорный вопрос церковного права, остается прерогативой собственно теологии и лежит всецело вне сферы философии. Эта последняя имеет дело лишь с религией вообще и с ее общим понятием в его отношении к знанию. И здесь вступает в силу то великое отличие между двумя путями в философии, — Философией Жизни, которая зиждется на внутреннем, высшем и внешнем опыте и сама являет собой опытную науку, — и безусловной философией разума, — что отношение между верой и знанием в этих двух философиях совершенно не совпадает и сущностно разнится. Согласно безусловному мировоззрению, основывающемуся на необходимо чистом разумном знании и исходящем из него, то и другое, вера и знание, находятся в абсолютной противоположности друг к другу, и единственная связь, в которую они вообще могут быть поставлены, есть та, что вера присовокупляется к знанию под конец в качестве недостающего дополнения. Т. е. если безусловное знание не вполне справляется со своей задачей, или в конечном итоге остается неудовлетворенным в своей собственной области и самим собою, то переход совершается насильственным образом, словно бы одним большим и внезапным прыжком в направлении этой противостоящей и совершенно отличной области веры, дабы найти в ней прибежище и спасение. И в таком случае единственный путь, который еще здесь возможен, заключается если не в полном примирении между собой того и другого, то, по меньшей мере, в нахождении некоего мирного равновесия между точками

зрения веры и знания. Совершенно иным представляется это отношение в Философии Жизни с точки зрения опыта и основанного на нем знания; ибо, во-первых, здесь вера и знание не так строго и абсолютно разделены между собой, как это имеет место на другом духовном пути и согласно его мировоззрению; а что касается порядка расположения и следования, то здесь, на широком поле человеческого и природного опыта, скорее, по большей части именно вера полагает начало еще только вступающему в свое развитие и не вполне оформившемуся знанию. О том, что позитивная часть догматически определившейся веры сама по себе образует специальную область высшего опыта, наряду с также относящимся к этой позитивной части научным исследованием этого специального опыта и всей его области, — уже было упомянуто ранее, так что нет нужды дальше распространяться и повторяться на эту тему, хотя также и здесь вера, с того момента, как она представлена догматически, образует собой основу, или выступает как первое и полагает начало; знание же в этом высшем регионе есть в таком случае дальнейшее развитие или применение, ближайшее и более детальное объяснение веры; покуда точка зрения Откровения удерживается, а ее преобладание над принципом разума сохраняется, до тех пор, пока этот последний не начинает стремиться вытеснить ее или действительно не вытесняет. В области всех других опытных наук и научных открытий порядок тот же самый, равно как и в действительной жизни все великое начинается с веры и исходит из веры, и то же самое подтверждается также и в первых, еще совершенно невзрачных, началах делающего свои первые шаги сознания. Вооружившись верой, Колумб пустился через море на утлом старом корабле, с компасом в руке и верой в него, и, движимый этой своей верой, он открыл новый мир, тем самым положив в человеческой истории и в научном духовном развитии начало новой мировой эпохе для всех последующих столетий; ибо все его исследования, поиски, догадки, предположения — все его помыслы все еще никак не могут быть названы совершенным знанием, и ему едва ли удалось бы заранее найти в обществе полную поддержку его намерения и убежденность в его правоте, до тех пор, пока его дерзкая мысль не превратилась в фактическую данность, в неоспоримый факт действительного опыта, в истинное и совершенное знание. В большей или меньшей степени все великие научные открытия были совершены именно таким или схожим

образом, в таком же последовательном движении от веры к знанию, и именно этот характер чаще всего виден в любом решительном деянии, в любом важном событии действительной жизни, в человеческом обществе и в его историческом развитии. Если бы, однако, некто захотел, чтобы мы привели ему пример с совершенно противоположной стороны первых и почти еще незаметных начал едва только забрезжившего сознания, то я бы ответил: когда младенец впервые с определенным намерением ищет грудь своей матери и сам умеет найти ее; — или, если этот пример будет отвергнут на том основании, что здесь сознание направлено лишь на удовлетворение потребности, то примите другой момент (который близок к первому, однако не столь непосредственно связан с инстинктом или же выглядит как всецело *одно* с ним), где дитя впервые как бы в некотором раздумье или, по меньшей мере, задумчиво и внимательно смотрит на свою мать, словно бы желая сказать что-то, хотя оно еще не умеет говорить; и это впервые распахнутое око любви, этот первый взгляд веры есть, скорее всего, именно взгляд одной лишь веры, хотя он уже включает в себе и различение, и распознавание; этот взгляд младенца есть начало сознания, однако в нем нет еще ясного знания. И не есть ли вообще первый избранный нами пример совершенное подобие того отношения, в котором человек пребывает с Богом? Не есть ли также и для него великое отеческое сердце, которое, словно живой пульс всемогущей силы в бесконечной вселенной, бьется где-то внутри и ощущается им, — не есть ли оно для него та самая любящая материнская грудь, из которой созданный бессмертным дух получает свою первую пищу, свое молоко вечности? На живой точке зрения опыта весьма часто первые и в высшей степени нежные и невинные начала чувства соприкасаются с высочайшей вершиной самого ясного познания, расширившегося до бесконечного изначального источника.

Как, согласно этой точке зрения жизни и живого опыта, вера и знание не вполне разделены между собой и не противопоставлены друг другу безусловно, но находятся в отношении начала и конца; точно так же обстоит дело и с опытом и откровением, как данным содержанием всякого знания, которые точно так же пребывают во взаимной и неразрывной связи и относятся друг к другу как внешнее явление и внутренняя сила, как зримый образ и одушевляющий его жизненный принцип, или внутреннее световое ядро, коему этот зримый

образ служит в качестве органа и носителя, или обнимающей его внешней оболочки. Не только в истории или во всех сколько-нибудь связанных с историей науках, где дух давно уже признается всеми как первое и единственное, что сообщает всему целому его подлинную ценность и собственное внутреннее содержание; но также и в области естествознания, чья сфера среди всех эмпирических ветвей науки составляет для опыта самую протяженную и обширную, дело обстоит точно так же, т. е. данный извне феномен подлежащего факта, или природное явление, образует собой не более, чем внешнее окружение, рассматриваемое лишь как способ откровения и видимая форма тайной жизни, а также господствующего в ней внутреннего закона; каковую форму ученый стремится постичь и проникнуть до самой глубины своим исследованием, дабы ухватить и понять искомый внутренний закон жизни, как существенное и как заключенное в чувственной оболочке ядро бытия. Некоторые отдельные физические науки, такие как ботаника или минералогия, следует рассматривать более как своего рода аппарат, как предварительное накопление материала для некой грядущей науки, но отнюдь не как самую эту науку. Однако как только все эти минералогические факты приведены к одной большой и всеобщей геогностической взаимосвязи, а все отдельные анатомические опыты — соотнесены с одной основоположной физиологической идеей; или, наконец, как только химия, последовательно разлагая и расщепляя, проникает в незримое материи, в разнообразные формы этого незримого и неосязаемого; там, где высшая физика в исследовании великих феноменов электрического удара, магнетического притяжения, призматического разложения светового луча и его искусственного восстановления в целях науки уже готова совлечь последние покровы с сокровенной тайны природы, — там можно видеть, что все научное движение неудержимо устремлено к сокровенному центру всякого внешнего бытия и жизни, ибо весь телесный массив чувственного мира и эмпирической опытной науки образует собой лишь нечто вроде химического осадка, грубого материального шлама, отраженного, разделенного и преломленного отблеска его внутреннего сияния. На это указывают, к этому подводят и об этом косвенно свидетельствуют результаты всей науки и всего высшего научного устремления в области естествознания; и если мы однажды допустили и предположили бытие Бога как Творца этого мира:



чем иным может еще быть природа, если не откровением Бога и его вечной любви, — зримым откровением во внешнем материальном веществе; и может ли она еще когда-либо понимать-ся иначе? И если даже после того, как мы приняли эту точку зрения, те или иные частности представляются нам загадочными, непонятными и темными (что на первых порах вполне допустимо), — то все же это неясное и необъясненное есть всякий раз лишь частность, тогда как целое от начала и до конца ясно, исполнено смысла и удовлетворительно не для одного лишь чувства, но и для пытливого рассудка. В противоположном же воззрении именно отдельное может получать весьма остроумное объяснение и научное понимание, целое же, если оно как таковое не есть откровение Бога, но существует само по себе, как некая особая и загадочная сущность, остается безнадежно запутанным и — будучи лишено цели и божественного значения — для человека совершенно бессмысленным. Если же природа, в согласии с нашим воззрением, рассматривается как зримое раскрытие или откровение тайной внутренней славы Бога, то в этом случае она образует *одно* взаимосвязанное целое с другим, письменным Откровением, в божественном Законе и Священном Предании. Писание и природа, согласно этому воззрению, суть лишь две взаимно объясняющие и дополняющие друг друга половины исписанной со всех сторон книги бытия. Внутренний голос совести весьма часто и, собственно, с древних времен, рассматривали как откровение совсем иного рода, а именно — нравственного чувства и его своеобразного, часто противоположного природе и ее законам и, по меньшей мере, совершенно независимого от нее нравственного законодательства. Но и это внутреннее откровение точно так же двойственно, как и внешнее откровение Писания и природы: ибо совершенно разным представляется оно в возбраниющем и запретительном, тихо, но со страшной отчетливостью предостерегающем, или решительно повелевающем голосе совести, и в другой форме внутреннего откровения — в чувстве религиозного поминовения, в духовной молитве, или также в свободном пространстве бесконечного, устремленного к Богу и ко всему божественному томления. И никоим образом тот или иной вид или форма этого внутреннего религиозного откровения (из коих одна является всецело общей, хотя и интенсивно весьма различной) не должна смешиваться или перепутываться с другой (которая представляется скорее исключением и осо-



бым призванием, или, если хотите, неким особым гением благочестия и высшей одаренностью в нем). Это четверичное божественное откровение: двоякое внешнее (Писания и природы) и двоякое внутреннее (совести и благоговейной молитвы), — имеет свою цитадель в уже неоднократно упоминавшихся четырех вспомогательных способностях второго порядка: в памяти как органе письменного и устного предания и воспоминания, и более того, вообще письменности и языка с их внутренней нитью непрерывной взаимосвязи; затем в способности внешнего чувства и чувственного созерцания природы, из которого, однако, не исключен и непосредственный взгляд в ее потаенную глубину; наконец, в совести и, с другой стороны, в томлении как высшей ступени всякого человеческого стремления, или чистого порыва человеческого духа к Богу. Ибо здесь, в этих подчиненных способностях, где наиболее очевидным образом проявились внутреннее разложение и упадок человеческого сознания, мы также впервые наблюдаем и пробуждение восприимчивости к лучшему, возврат и новое устремление к высшему, и появление божественного семени воскресения и нового пробуждения, или новое оживление умершего сознания и обретение им первоначальной силы и достоинства. Внутреннее откровение благоговейного созерцания (*Andacht*) и молитвы должно, однако, рассматриваться как целиком и полностью отдельное от философии и лежащее всецело вне ее сферы, равно как и ученое объяснение Писания и его научные исследования образуют собой особый научный раздел, суверенный регион во всей высшей интеллектуальной сфере. Как философия не должна смешиваться с экзегетикой, точно так же она не должна ни переходить во всего лишь мистику благочестивых и благоговейных чувств (или, если хотите, в теорию молитвы и чистого созерцания Бога и божественных вещей), ни сливаться с ней до неразличимости: уже хотя бы на том единственном основании, что такая мистика благоговейных чувств с необходимостью и всецело должна опираться на ту или иную определенную данность позитивной догматической веры, лишь в сфере которой она получает не только внешнее развитие своей формы, но также и достаточную внутреннюю гарантию от всех и всяческих мечтательных заблуждений. При этом, конечно, нельзя забывать, что внутреннее и существенное в божественном томлении, равно как и во всех прочих священных чувствах для Философии Жизни, которая сама берет начало

из этого средоточия высшей жизни, никогда не может стать для нее совершенно чуждым, но всегда будет оставаться близкородственным и дружественным; равно как и о том, что она имеет полное право заимствовать отдельные плодотворные в духовном смысле и наполненные живой силой обороты и выражения священного и древнего языка, не становясь от этого экзегезой; и было бы боязливым педантизмом и преувеличенным научным пуризмом желать запретить ей такой подход. Все же, однако, необходимо проводить строгую границу между религией и философией и тщательно ее соблюдать. Даже в область морали, где внутреннее откровение совести образует основу для нравственного законодательства, или в область естествознания, философии не следует переходить всецело, ибо она не должна быть в специальном приложении ни моралью, ни наукой права, ни натурфилософией, — по меньшей мере, до тех пор, пока она хочет оставаться всеобщей Философией Жизни, мышления и знания, — даже если она порой весьма глубоко вторгается в этот удаленный регион своей собственной сферы (к которой последняя, безусловно, относится), — производя иной раз обзор ее целого или стремясь добыть и заимствовать из него для собственных нужд отдельные факты, полезные примеры, достопримечательные явления и разъясняющие подобию. Ей достаточно того, что образует материал, содержание или предмет ее собственной сферы, чтобы не нуждаться ни в чем чужеродном. — К тем четырем родам, формам или источникам высшего, внутреннего или внешнего откровения в качестве существенного пятого и связующего звена и средоточия, в котором все они соприкасаются, взаимно друг друга проникают, оживляют и приводят в равновесие или гармонически полно друг с другом соединяются, — прибавляется еще один, который именно по этой причине с полным правом можно обозначить общим именем откровения вечной любви, а точнее, откровением вечной любви именно в человеке (в отличие от привычного воззрения, где в качестве откровения рассматривается также природа и весь сотворенный мир), — в человеке, однако не просто в чувстве благоговения и вообще не в религиозных чувствах, но во всеобщем чувстве и во внутреннем и возвышенном его сознании. Если, однако, сама любовь есть не что иное, как чистое понятие, внутренний дух, сущностная сила истинной и особенно также и всякой высшей жизни, то именно это откровение любви совершенно особенно и прежде всего прочего должно

образовывать собой материал, содержание и предмет Философии Жизни в качестве внутреннего полного центра пяти священных источников божественного откровения, из которых в восприимчивую человеческую душу изливается всякая высшая жизнь, мышление, вера и знание. Таким образом можно было бы теперь в общем и целом, однако в достаточной мере, обозначить верное отношение для веры, равно как и вдохновения, согласно его платоническому понятию, — к знанию, затем его же для откровения и даже любви; для этой последней, однако, лишь в сугубо начальной мере и весьма обобщенно. Однако для того, чтобы полностью раскрыть идею науки вовне и привести ее к завершенности согласно всем ранее определенным отношениям, будет необходимо с помощью противоположения представить в более ярком свете отдельные составные части этой идеи в их внутренней взаимосвязи, сперва лишь на примере вполне развитой системы врожденных заблуждений. — Эти ранее уже упомянутые и перечисленные отдельные элементы и ступени, или роды и составные части, вместе образующие знание: сперва понимание и объяснение, познание и различение; затем живое мышление и совершенное постижение действительности (образующее собой собственно средоточие знания, если не само это знание) и связанное с ним непосредственное восприятие или признание истины и внутренняя достоверность, — фальсифицируются, дезориентируются или же тайно подтачиваются и, наконец, полностью выводятся из строя и уничтожаются под действием этих врожденных научных заблуждений. Сперва живое мышление превращается в мертвое, отклоняется от своего естественного направления и обращается к ничтожному и пустому. Проистекающие отсюда невнятность и смешение понятий сводят на нет ясность и определенность понимания, устраняя самую возможность чистого познания, верного различения и суждения; и в этой пропасти пустоты затем теряется и исчезает также и всякая твердая почва для действительно истинной внутренней достоверности. Каждая из четырех основных сил человеческого сознания содержит в себе начаток порока, или зародыш гибели, склоняющий к тому или иному роду, или определенной форме, научного заблуждения; последнее укореняется в ней или в ее сфере, развивается там до достижения зрелости и, насколько позволяют обстоятельства, принимает форму ложной системы. Каждая из этих разновидностей и зловредных форм ничтожного

и пустого мышления, как только она бывает обнаружена в том месте сознания, где она угнездилась, и тем или иным образом выдает свое происхождение, легко признается как заблуждение на основании очевидных следствий ее дальнейшего развития, равно как и своего внутреннего противоречия и беспочвенности начала, на котором она зиждется; и в истории человеческого духа и философии, равно как и вообще всех наук, особый характер каждого из таких основных родов научного заблуждения будет общих чертах явственно определен для всякого, кто захочет неподкупным взором проследить ее страницы. Свойственное разуму и особенно распространившееся в этой области научное заблуждение есть уже не единожды упомянутая обманная кажимость безусловности, т. е. иллюзия безусловной необходимости. Эта вводящая разум в заблуждение видимость необходимого знания (подобие математической формы доказательства) возникает непосредственно всякий раз, как только разум как способность логического соединения в мышлении (и в этом своем соединении логически необходимого мышления) покидает твердую почву действительного в его тройкой данности для всякого человеческого познания: изнутри, свыше и извне (во внутреннем, высшем и внешнем, исторически разумном и естественнонаучном опыте), — и хочет обосноваться исключительно в себе самом, стремясь принять свое начало лишь из себя самого, что для него никоим образом не возможно. Как способность логического мышления, разум есть одновременно способность бесконечно продвигающегося развития в этом мышлении; лишь только изобретать, производить что-либо из себя самого он не способен и потому теряет свою область естественно отведенной ему деятельности, как только проникается стремлением выступать в качестве изобретательной и производительной силы, в результате чего и появляются все исчадия ложных метафизических систем. Там же, где однажды дана твердая основа и бесспорное начало чего-либо поистине действительного, — там дальнейшее научное развитие, выведение и расширение может беспрепятственно идти, опираясь на это первое начало, и нет никакой причины для того, чтобы полагать или определять этому движению какие бы то ни было границы, ибо ведь позднее может оказаться, что последние были проведены или слишком рано, или чересчур тесно, — что иной раз случалось в отдельных математических дисциплинах и было запечатлено в их исто-

рии. И поскольку именно в математическом знании безграничность такого дальнейшего научного развития (и именно в самой достоверной и строгой доказательной форме) — коль скоро однажды дана надежная основа первого начала — демонстрирует себя самым очевидным и блестящим образом, — то заимствованный оттуда пример будет видеться тем более уместным и подходящим, что у некоторых мы еще встречаемся с тем предрассудком, что, якобы, даже и первая основа математического знания есть собственное произвольное измышление и изобретение разума, или же чистое порождение внутреннего созерцания рассудка; и что, следовательно, эта наука стоит совершенно сама по себе и отдельно от прочих опытных наук (если, конечно, допустить, что эти последние действительно таковы). В первом развитии и изучении, однако, она, конечно, не представляется чем-то подобным; и если мы понаблюдаем и заметим для себя, сколько времени требуется ребенку, чтобы действительно научиться считать до трех и при этом четко абстрагироваться от внешне воспринимаемых предметов или даже отличать два таких предмета друг от друга и от себя самого, — то мы не сможем не признать это первое начало всякого счета в качестве той эмпирической основы, на которой возводится и зиждется все прочее математическое знание. Геометрические линии и фигуры суть, собственно, лишь зафиксированные во внешнем пространстве и ставшие телесно зримыми, или зримо изображенные, числа и основные арифметические понятия. Если, однако, мы даже первые геометрические представления — такие как точка, прямая линия, круг или две пересекающихся прямых и треугольник, из которых складывается все прочее, захотим мыслить себе как независимые от чисел и существующие сами по себе, — то ведь все эти изначальные геометрические факты даются в опыте; однако в результате проведенного анализа они представляются для науки уже в абстрактной чистоте и в совершенном понятии, в каковом виде они никогда не являются, пребывая в грубом хаосе внешних чувственных впечатлений, — и то же самое, и точно таким же образом, происходит и в других опытных науках. На высшей ступени дальнейшего распространения и приложения математического знания — в астрономии — последнее уже вновь целиком и полностью сращивается с естествознанием, и самые сложные и искусные расчеты и вычисления и математические гипотезы самым тесным образом сплетаются в ней с различными сидериче-

скими фактами, явлениями и наблюдениями. Поэтому в собственном смысле и верном понимании математическое знание, пожалуй, не представляет собой исключения из того всеобщего принципа, что всякое знание зиждется на опыте, — а точнее, на тройственном внутреннем, внешнем и вышнем восприятии, — и именно поэтому отличается от иных опытных наук не столько своим родом, сколько степенью; при этом, далее, не следует забывать, что во множестве случаев применения математического знания в действительной жизни и в естествознании последнее есть не столько материальное знание, сколько, пожалуй, лишь орган и инструмент получения этого знания и дальнейшей его обработки. Согласно одной высокой естественнонаучной точке зрения, математика вообще есть не что иное, как общий эскиз и схема всей структуры, всего внутреннего скелета совокупного природного тела, или даже, скорее, тайный закон удивительного языка откровения того обычно скрытого, а здесь выступившего на свет, бытия, которое мы зовем природой, — его внутренняя грамматика и высшая символика.

Были те, кто полагали, что злоупотребление разумом, для всякого мыслителя весьма легко ощутимое и всегда по меньшей мере признаваемое вероятным, можно в достаточной мере отличить от должного (в естественных и верных границах) применения этой основной сущностной способности человеческой силы мышления, и вернее его предотвратить, если все дозволенное человеку и доступное для него знание, всю его достоверность ограничить чувственным миром; в сверхчувственной же области, как выходящей за эти границы, отказать разуму во всяком праве на суждение, а человеку — вообще во всяком знании. Последнее тем меньше может иметь место, что если все знание является сообщенным, то мера и границы не могут быть ни определены заранее, ни также зависеть от человека, ибо все зависит исключительно от Того, от кого все произошло и кто от начала сообщает и сообщил все, что он хотел сообщить, дать в удел или возложить в качестве бремени всякому из сотворенных им существ. Если же допустить и предположить существование этого сообщения и этого откровения, на котором зиждется религия и наука о ней, то разум никоим образом не может быть ни исключен из этой сверхчувственной области, ни отстранен от участия в осмыслении этого сообщения и этого откровения, ни также лишен права вынести суждение о нем, пусть даже

весьма и весьма обусловленное. Напротив, даже и в этом высшем регионе, с того момента, как только дана, признана и удостоверена первая основа подлинной действительности, применение и употребление разума должно иметь место ровно так же, как и в чувственном мире и в другой, всецело на него направленной и им ограниченной, опытной науке. Что тем самым имеется в виду и как это следует понимать, будет совершенно ясно и вне всякого сомнения, если я добавлю, что хотя теология, точно так же, как и религия, коль скоро ее глубочайшая и внутренняя сущность не должна подвергнуться уничтожению, а само ее понятие — упразднению, — никогда не может быть ни почерпнута из одного лишь разума, ни всецело основываться на одном только разуме; но что, однако, несмотря на это, не только вполне возможно, но и весьма желательно, чтобы теология в своем применении или в своем подходе была и всегда оставалась в этом смысле от начала и до конца разумной, — для предотвращения не только пагубного смешения понятий и всякого рода восторженных недоразумений, но также ненужной полемической увлеченности, безлюбовного злопыхательства и неразумия и всегдашнего поддержания духа любви и высшего единомыслия; и сколь бы частым атакам этот последний ни подвергался и какой бы урон ни претерпевал, он всякий раз должен быть восстановляем в своей полноте.

Таким образом, применение и внешняя форма всякого знания, в общем и целом, могут и должны быть разумными, однако при том само содержание этого знания не должно ни зависеть от разума, ни определяться им. Там, где разум стремится сам производить содержание, возникает как раз тот самый ложный метафизический образ необходимого бытия и необходимого мышления, или ложная видимость тождественной двойственности и внутреннего тождества (*Einerleiheit*) необходимого бытия и необходимого мышления, как двух неразрывно связанных родов или форм единой и вечной сущности, которая содержит в себе изначальную основу всякого бытия и всякого сознания, пребывая в то же время *над* ними обоими; в результате чего, следовательно, понятие личного Божества, над коим, якобы, недостижимо возвышается этот воображаемый фантом разума, должно естественно и полностью упраздниться; — и эта смертоносная для всякой истины изначальная иллюзия разума, безусловно, нигде не утверждается с такой последовательностью, нигде не полу-



чает столь мастерского научного представления и развития, как в системе Спинозы; — и именно поэтому я стремился уже заранее дать о ней общее представление или же освежить его в памяти. Кстати, следует все же отметить, во-первых, что в рамках этого мировоззрения, предполагающем два необходимых и параллельно друг другу существующих Ничто, подлинная гармония так никогда и не была достигнута, и, во-вторых, что равно и никакая иная форма этой системы или новая ее разновидность не смогла обрести всеобщего признания. Как правило, всякий знаток математической достоверности, принимающий участие в этом методе систематического отрицания, ведущем к Ничто, склонен усматривать причину и основание совершенной невнятности (коренящейся глубоко внутри, проникающей собой самые дальние уголки и фибры этого воззрения и сущностно неотделимой от него) — скорее в особенностях строя и в индивидуальных огрехах непосредственно ему предшествующей или ближе всего к нему стоящей системы, а потому считает своим долгом выступить с тем или иным частичным изменением порядка мыслеследования или с новой формой и методом все того же старого заблуждения, словно первоизобретатель и учредитель новоявленной истины, тогда как, на самом деле, всякий раз одна и та же пустая иллюзия логической необходимости в разуме служит опорой для старого заблуждения; и сколь бы часто в течение столь многих столетий ни менялись выражения и внешние одеяния, — скрываемое ими заблуждение, по меньшей мере, с этой стороны, должно быть признано тем же самым и было таковым всегда. Если, теперь, необходимая гармония двух параллельно существующих миров объективного бытия и субъективного сознания рассматривается, согласно идее Лейбница, как предустановленная гармония и, как таковая, выводится из Бога, то посредством такого мнимого признания правящей во всем сотворенном мире державной и всемогущей десницы по сути спасается лишь внешняя форма, тогда как в основе по-прежнему остается мертвый механизм внутренней слепой необходимости, благодаря которому двое одинаково настроенных вышним мастером часов, в остальном никак друг с другом не соприкасающихся, могут теперь идти синхронно, что, правда, не приводит в дальнейшем ни к какому истинному открытию или удовлетворительному результату. Совершенно иначе представляется и выказывает себя внутреннее единство (однако не образующее тож-



дества), — живая гармония (которая, впрочем, не является предустановленной) между внешним чувственным миром природы и внутренним миром мысли и сознания, с точки зрения жизни и исходящей из этой точки зрения и из самой жизни философии; ибо, согласно этой точке зрения, собственно, все, даже и во внешней действительности телесного бытия, наделено жизнью, внутренне одушевлено и само по себе живо. В любом случае, однако, жизнь образует здесь общий источник возникновения, из которого происходит равно как материальное бытие, так и внутреннее мышление, жизнь или сознание; и в этом *одном* общем понятии жизни бытие и сознание вновь встречаются и сливаются друг с другом. Вся противоположность как таковая полностью исчезает; от нее остаются лишь степени различия, ступени перехода, смены одного состояния другим — такие как смена жизни и смерти, сна и бодрствования. То, что мы называем бытием, есть лишь видимое явление некоей мысли, внешнее выражение, телесная форма внутренней жизни; и если эта внутренняя, сокрытая жизнь природы на фоне совершенного, ясного и свободного человеческого сознания или же на фоне еще более чистого и совершенно свободного сознания высших существ представляется скорее бессознательной, то все же она не вполне и не навсегда такова; по меньшей мере, ее следует рассматривать и объяснять не как изначально лишенную сознания, но скорее как такую, сознание которой погружено в некую дрему, в своего рода сновидческое состояние; как застывшую в плену мнимой, а если даже и действительной, то все же не вечной смерти; так что, с другой стороны, в своем воскресении она может восприниматься и как всего лишь начинающаяся, еще не вполне пробудившаяся. И разве не наблюдается даже и в совершенном человеческом сознании точно такое же или весьма схожее чередование между сном и бодрствованием, грезами и мышлением, забвением и воспоминанием, ясного понимания, постижения и познания, и ночи заблуждений, нерасточимой тьмы страстно оспаривающих друг друга, хаотически беспорядочных мыслей? Здесь нигде нет ни непреодолимой разделяющей стены, ни полного обособления, но всюду во множестве есть точки соприкосновения и ступени перехода, которые легко могут быть указаны, из области и состояния жизни и бодрствующего сознания, в другое состояние сна, или мнимо полного оцепенения. Строго говоря, однако, с этой точки зрения жизни не существует никакой

собственно смерти, но лишь смена жизни и ее преходящих форм, хотя даже и в этом нынешнем состоянии не все они могут рассматриваться как целиком и полностью преходящие. В природе нет смерти, т. е. смерть не есть нечто сущностно изначальное; она вошла в творение лишь позднее и случайным образом. А для человека и тем более бессмертие души и понятие такого бессмертия представляет собой не столько пункт символа веры высшей надежды, сколько очевиднейший факт природы, факт неоспоримой, повсюду выступающей нам навстречу истории. Это предположение подлинной жизни во всем бытии, которое, пожалуй, можно было бы называть единственно позволительной гипотезой чувства живой истины, есть изначально рожденная внутренним чувством и существовавшая у всех народов земли всеобщая природная вера древнейшей поры и всей античности; покуда, наконец, позднее однобокая изобретательность искусственно развившегося знания не породила это вопиющее разделение между бытием и мышлением, вызвав тем самым смерть как одного, так и другого; и после того, как бытие и сознание были однажды оторваны от своего общего корня и друг от друга, для заполнения образовавшейся громадной бреши на опустевшее место некогда присутствовавшей здесь жизни пришел вводящий в заблуждение фантом нерасторжимых оков судьбы и непреложной предопределенности для всех вещей.

## Девятая лекция

Среди множества измененных форм и новых словесных формул, в которые теперь принято облекать разумную систему необходимого знания и необходимого бытия, можно подчас обнаружить ту или иную, где первое основание излагается уже не целиком и полностью в форме математического доказательства, как это происходит в дальнейшем, но где разум как способность яйности с определенностью признается как внутренний факт сознания; т. е. по видимости все происходит в точности так же, как в философии, стоящей на точке зрения жизни и исходящей из жизни, с того или иного внутреннего факта мышления, как с первой в опыте внутренней данности, берет свое начало теория сознания или развитие его понятия. Однако есть ли это утверждение в системе разумного знания всего лишь видимость, или же оно делает-

ся со всей серьезностью (в последнем случае вся философия вообще должна была бы рассматриваться как опытная наука и быть таковой провозглашена), — это будет видно по дальнейшему развитию всей системы, а также может быть весьма скоро определено по некоторым довольно простым и легким в распознавании признакам. Если эта система, в том, что касается ее формы, по-прежнему несет в себе ту же старую онтологическую неразбериху и абстрактную невнятицу в якобы математической доказательной форме, то можно уже с большой вероятностью и даже с почти полной уверенностью предполагать, что она, хоть и была отчасти перелицована и подправлена, в своей сущности осталась все тем же неизменным ложным учением о тождестве мышления и безусловно-го бытия, которое здесь преподносится; самый же верный и решительный признак, в коем проявляет себя этот научный фатализм, следует искать в содержании системы, а именно — если в ней доказывают (или делают вид, что доказывают), что нынешнее случайное состояние природы и мира, бытия и сознания, которое никоим образом не могло бы быть изначальным, есть состояние необходимое.

Поистине же, напротив, также и ранее упомянутое, свойственное как отдельному человеку, так и всему человеческому роду во всех своих формах чередование ночи и дня, сна и бодрствования, отлива и прилива, подъема и упадка, жизни и смерти, — в том виде, как оно существует сейчас в природе и являет себя в мире, следовало бы воспринимать как некую историческую опытную данность, живую предлежащую действительность, принимающую самые разнообразные формы, — некое случайно и в сопутствующем русле свободы определяемое иной раз так, а иной раз иначе, изменчивое событие; однако никогда, ни для науки как вечное в этой своей нынешней и преходящей форме, ни — в применении к отдельным случаям действительной жизни — как нечто с необходимостью предопределенное непреложным и неизменным ходом рычагов и шестеренок судьбы; или, по меньшей мере, его не следует понимать и изображать всегда лишь именно так, исключительно в этом категорическом и безоговорочном духе.

Впрочем, эта иллюзия безусловности, как своеобразное заблуждение неверно употребленного и всецело самому себе предоставленного разума, и происходящее отсюда вводящее разум в обман представление о непреложно и строго предопределенной цепи всех явлений и событий, отнюдь не

ограничивается сферой науки и ее внутренним идейным миром: эта идея судьбы занимает большое и важное место еще и в поэзии. Особенно в трагической поэзии древних она предстает во всем своем ослепительном сиянии как слепой фатум железной необходимости. После того, как это понятие, — несмотря на то, что изначально и будучи взято само по себе оно есть не более чем иллюзия, — благодаря всеобщей вере в него, превратилось теперь также и в реальной жизни в действительную, сокрушительной волной проходящую через все столетия силу, оно естественно принадлежит теперь в качестве составной части к сфере художественного воззрения и представления жизни. Однако, конечно, это от начала и до конца трагическое мировоззрение тем не менее остается внутренне и сущностно языческим; и даже самое высокое трагическое искусство все еще стоит на ступень ниже, или, по меньшей мере, занимает некое подчиненное место, наряду с этим полноводным изначальноным потоком древнего и вечного воспоминания в эпических сказаниях и песнопениях древнейшей поры, ибо это есть источник, из коего произошла и была выведена всякая иная поэзия; — живые воды еще нераздельной фантазии которого магическим образом увлекают за собой все и вся, и, подобно объемлющему весь мир морю, несут на своих колышущихся волнах все эпохи человечества и природы. Эпическое стихосложение есть сама поэзия, ибо именно в нем сущность поэзии лежит ближе всего и находит самое чистое выражение; всякая же иная художественная форма ее образует лишь особый род или должна рассматриваться как некая прикладная поэзия, в противоположность к этой первоначальной. Ибо как музыка есть искусство томления, а изобразительное искусство есть выражение и дело высшего вдохновения зримой красотой, точно так же поэзия есть подвижное и сверкающее мировое зеркало на поверхности непрестанно движущегося любовного потока вечного воспоминания. Вдохновение всегда твердо опирается на отдельное позитивное; и именно поэтому также изобразительное искусство внутренне двойственно и в своем характере сущностно разделено между языческой красотой, которая зримым и решительным образом преобладает в древней скульптуре и строительном искусстве, и христианским вдохновением, оказывающим влияние в новой живописи и архитектуре. В известной мере это может быть применимо также и к драматической поэзии, которая как раз по своему

характеру и духу представляет особую разновидность прикладной, отчасти уже переходящую в область изобразительного искусства. В эпической же поэзии, подобно тому, как все потоки сливаются в море, разрешаются и исчезают все противоречия; и в действительно эпической поэме даже древняя мифология уже не должна производить впечатление языческой, по меньшей мере не столь решительное, как в греческой трагедии. Эпоха, могущая похвалиться многосторонним общественным развитием, а также высоким духовным и научным образованием, нуждается (если только она не вполне утратила чутье и орган восприятия всего высшего изначального) преимущественно и прежде всего в такой прикладной поэзии, в которой искусство сможет получить наиболее богатое и высокое развитие. Если же в совершенно холодном рассудочном стихосложении трагическое мировоззрение уже не изъясняется высоким стилем свободной фантазии, но вместо этого целиком и полностью вплетается в художественное полотно прозаической действительности и должно восприниматься и усваиваться как одно целое с нею; то наше впечатление будет тем более горестным, если в скептически-уничтожительных заключительных строках на смену собственноразумной поэтической истине (той первой, древней и полной жизни поэзии, от которой здесь нет уже и следа) приходит теперь в сущности не более чем научная иллюзия пустого понятия и глубокое, горькое чувство всеобщего отрицания.

Во всей системе наиболее существенных научных заблуждений, из которых каждой из четырех основных сил разделенного человеческого сознания преимущественно свойственна одна форма или один род такого заблуждения, совершенно особенным образом характерный именно для данной области сознания и словно бы врожденный ей, не как неизбежное и неизбежное ограничение, но лишь как ошибочная склонность, наследуемый зачаток отклонения, — иллюзия безусловности, кажимость тождественности необходимого бытия и безусловного мышления и знания указана как преимущественно свойственная отклонившемуся от истинного пути и покинувшему свои естественные границы разуму. Я, однако, имея в виду взаимосвязь целого и сплошь и рядом наблюдаемое внутреннее сцепление и соприкосновение между всеми различными путями, формами и родами духовного развития человека, счел нелишним обратить внимание также и на то, что эта система необходимости, или научного

фатализма, весьма существенным образом вмешивается также и в поэтическое мировоззрение и на формы, которые этот фатализм здесь принимает. Как, теперь, эта вводящая в обман иллюзия разума, породившая на свет столь великое множество ложных систем (которые, в сущности, лишь всякий раз в иной форме повторяют одно и то же заблуждение) смогла оказать могучее воздействие и решительное влияние еще и на поэзию, и особенно на внутреннее обоснование трагического искусства, — точно так же особая разновидность научного заблуждения берет свое начало в силе воображения, притом, вполне понятным образом, именно тогда, когда эта изобретательно-продуктивная мыслительная способность целиком и полностью перекидывается на сторону прозаической действительности и телесно очевидного явления, — это заблуждение и научная система заблуждения, происходящая из нее, несет из всех прочих наиболее сухой и материально-грубый характер. Те милые иллюзии еще невинно предающейся игре с образами фантазии, которые здесь, когда речь идет о собственно заблуждении воображения, пусть даже и всего лишь научном, могли бы прежде всего прийти на ум (я имею в виду весь прекрасный сказочный мир и всех вымышленных богов древней мифологии), — как раз менее всего способны нанести ущерб науке и познанию научной истины (так что они, будучи рассматриваемы с одной лишь этой стороны, едва ли бы сюда относились, — ибо все это имеет для нас лишь поэтическую истинность, или, самое большее, для глубокого и проницательного взгляда, — символическое значение, которое, конечно, также является содержательным и в этом смысле истинным). Иначе дело обстояло у древних, в еще реально существующем язычестве, из-за чего там поднялась против него весьма деятельная оппозиция, и нередко раздавались смешивающие все в одну кучу упреки со стороны строгого нравственного учения и философии против отечественной мифологии. Сколь бы справедливыми ни представлялись нам теперь эти упреки, направленные против всего произвольно вымышленного и грубо-чувственного в этих поэтических произведениях, — все же в общем и целом мы далеко не всегда можем полностью с ними согласиться, подчас находя их точку зрения слишком уж тесно ограниченной, и иной раз не можем отрицать, что порой сами древние в недостаточной степени понимали глубокий символический смысл их собственной мифологии, — по меньшей мере далеко не всегда

до конца обозревая ее великую историческую взаимосвязь у всех народов и во всех сказаниях, — и если даже они могли понимать символическое значение в частностях и признавали его как таковое или даже использовали его, то все же это была скорее всего лишь игра рассудка ради узко ограниченной цели преподнесения сиюминутного морального урока в самом ближайшем окружении. В соответствии с более широким охватом всемирно-исторической панорамы всей древности, каковая ныне открывается взору исследователя, нашему новейшему времени, обладающему теперь как более основательной ученостью, так и более высоким духовным пониманием и чуткой наблюдательностью, удалось, по меньшей мере в целом, достичь более отчетливого и ясного понимания этой символической основы древней мифологии и тем самым обнаружить таящуюся в этих поэтических творениях сокровенную нить высшей истины и жизни, ибо именно из нее они брали свое первое начало, сколь бы далеко им в последующем ни пришлось от нее отклониться. Более того, если позволено будет назвать христианством простую религию первых людей и великих святых первобытного мира (ибо ведь истинная религия первоначально могла быть лишь *одна*), — то мы можем и имеем право сказать, что нить христианства и истинного богопознания в язычестве в целом и в его разнообразных мистериях все еще вполне различима и распознаваема в каждом своем повороте и витке; и, может быть, даже весьма полезно проследить этот удивительно извилистый ход человеческого духа в его многообразном развитии — во все стороны и с самых различных точек зрения и взглядов на истину, — сделав его более понятным для себя благодаря такому живому разнообразию выражений. Между тем, это христианство первобытного мира, даже там, где оно сохранилось в своем чистом, свободном от примеси чуждых измышлений и отклонений виде, можно было бы считать лишь неким предварительным или восходящим христианством, еще никоим образом не достигшим равномерности в своем ходе, где иной раз случались остановки, периоды движения вспять, а также пустые интервалы последнего ожидания, покуда действительно не была достигнута вершина совершенства в его неоспоримой и очевидной явленности; однако верно и то, что с этого момента христианство как таковое в глазах наблюдателя продолжает свой путь уже под уклон, если и не в том, что касается его реального уклада, определенности его формы или развития его



духа, то, все-таки, пожалуй, — его нравственного настроения и силы живой веры; и, пожалуй, до некоторой степени такой взгляд оправдан.

Если теперь почти уже общепризнанно (и это общее признание день ото дня все более крепнет), что в этих поэтических творениях, которые на первый взгляд представляются не более, чем игрой фантазии, в то же время скрыты те или иные иероглифы природы и природной истины, — то этого краткого напоминания будет вполне достаточно для того, чтобы, производя обзор развития человеческого сознания, не упустить из вида общую взаимосвязь. Если бы мы захотели в этом исследовании психологически достоверно и детально разобрать все заблуждения фантазии, то здесь для нас открывалось бы весьма широкое поле, точно так же, как и, с другой стороны, еще древние писали обширные труды, посвященные всевозможным ошибочным логическим заключениям и ложным силлогизмам, неверным ходам мысли или же вводящим в заблуждение и ничтожным формам доказательства; здесь также давались правила, с помощью которых можно было распознавать такие ложные формы, защищаться от них и избегать их уловок. Поскольку, однако, все подобные психологические обманы фантазии на каждом шагу встречаются и в реальной жизни и имеют столь же несметное количество индивидуальных и изменчивых форм, сколь неисчислимо велико разнообразие индивидуумов; и поскольку, с другой стороны, все эти логические заблуждения и ложные заключения разума касаются лишь формы, — то как те, так и другие могут иметь место в любой научной системе, точно так же, как они случаются в любых обстоятельствах реальной жизни; и сколь бы полезным для практического применения ни были их подробное рассмотрение и анализ, — все это лежит здесь всецело вне сферы нашего рассмотрения. Под научными заблуждениями, к которым в основных силах человеческого сознания присутствует естественная склонность и расположение и которые я поэтому назвал врожденными, следует понимать лишь такие в корне ложные мировоззрения или научные системы, которые происходят от одностороннего направления и превратного употребления такой основной силы. Притом здесь не может быть никакой речи ни о поэтической фантазии, ни даже о психологических заблуждениях этой душевной способности, но об одной лишь от начала и до конца научной силе воображения, обращенной исключительно



но в эту сторону и на эту область, если вопрос стоит о том, какая ложная система и какое заблуждение в науке вообще или также в естествознании в особенности могли бы произойти из превратного употребления этой силы. Мне кажется, что не что иное, как именно получивший всеобщую известность материализм, атомистический взгляд на природу и все тесно с ним связанное, — атомистическое мышление вообще, сугубо мертвящее воздействие которого на философию является гораздо более важным и гораздо более опасным, нежели влияние той снискавшей дурную славу природной системы, которая ныне по большей части стала уже пережитком и, по меньшей мере, в своей прежней форме выглядит целиком и полностью устаревшей. Это превратное атомистическое природовоззрение нельзя считать заблуждением разума или объяснять как таковое, поскольку разум везде и всюду гораздо более стремится к безусловному единству, нежели к бесконечному разнообразию этих вымышленных атомов, из которых, якобы, все должно состоять, причем, следовательно, не было бы никакой возможности единства, но все распадалось и рассыпалось бы на бесчисленные множества отдельных частиц. Это, пожалуй, нельзя назвать также и заблуждением рассудка, ибо истинный рассудок не действует так просто и обобщенно, всюду и прежде всего атомистически дробя и расчленяя, но прежде всего хочет понимать, т. е. различать внутренний смысл и угадывать истинное значение, видеть целое и познавать саму сущность в ее истинном духе, что предполагает нечто живое и лишь к такому живому применимо. Где нет духа и жизни, там нечего и понимать, и эти простые мельчайшие природные тельца, или не поддающиеся дальнейшему делению мировые частицы, образовывали бы собой как раз такой уже более не объяснимый и недоступный пониманию агрегат, в качестве основы совокупного чувственного мира и природы. Поскольку же, теперь, и материальное расчленение, и анатомия зримых предметов и материалов никогда не сможет пойти так далеко, чтобы достичь этих бесконечно малых изначальных частичек бытия, а химическое разложение тел ведет нас, напротив, к сплошь летучим и всецело ускользающим от всякого грубого схватывания живым элементам природы, — то всю эту гипотезу следует считать чистым, совершенно произвольным и столь же совершенно беспочвенным вымыслом, — хотя и всецело непоэтическим и не только полностью лишенным фантазии, но и, напротив,

убивающим всякую фантазию и самую жизнь, однако при том все-таки вымыслом; и именно поэтому его и приходится приписывать силе воображения, и именно в этом смысле и в этом отношении я ранее сказал, что если сила воображения, а точнее, сила научного воображения, однажды перекинется на эту сторону очевидного и телесного явления, то происходящее отсюда заблуждение будет больше любого иного, — совершенно лишенным животворного начала и безжизненным порождением мозга самого грубо-материального рода. Я бы назвал это воображением смерти, ибо все целое зиждется именно на той иллюзии и на том предположении, что все мертво, — в полную противоположность древней, весьма широко распространенной природной вере, что все, даже и в зримом явлении и в по видимости мертвом телесном мире внутренне наделено жизнью, живо и одушевлено, о чем ранее уже шла речь. Выступать здесь против самого атомистического воззрения на природу как такового или пытаться дать его подробное опровержение было бы совершенно вне моей задачи, поскольку это уже относится целиком и полностью к собственно натурфилософии; и, пожалуй, это было бы даже излишне, поскольку живая натурфилософия с совершенно иной, гораздо более высокой точкой зрения уже давно и почти повсеместно пришла на смену этому духоубийственному природоотрицанию. Во всяком случае один момент все еще представляет собой историческую достопримечательность, а именно: когда Лейбниц противопоставляет атомам Эпикура свои монады — внутренне одушевленные и живые единицы, из коих состоит все, причем, однако, здесь по существу все так же неизменно сохраняется прежнее понятие всеобщего дробления и расчленения; следует сказать, что в этом, как и во многом другом, находит свое выражение та самая характерная черта великого мыслителя, в силу которой он смотрит на заблуждение сквозь пальцы, со снисходительным благодушием, более стремясь с дипломатическим тактом обходить его, нежели пытаться устранить его в корне. Гораздо более укоренившимся во всех науках и гораздо более пагубным и опасным для истинной и живой философии, нежели все эти древние атомы и все ложные природные системы материалистического рода, несущие свое опровержение в себе самих, является атомистическое мышление, естественная склонность и ошибочная предрасположенность к которой заложена в человеческой способности познания и, если

принимать во внимание ее нынешнее состояние, то такую склонность и предрасположенность можно счесть вполне обоснованной. Реальная анатомия есть весьма почтенная и в высшей степени полезная и плодотворная наука, поскольку она не предается мечтам с помощью секционного ножа догнать и вновь изловить давно ускользнувшую жизнь, но стремится лишь к тому, чтобы обнаружить и расшифровать письма, оставленные в мертвой оболочке здоровыми и болезненными состояниями обитавшей в ней жизни. Мертвая анатомия мысли, однако, не приводит к таким счастливым результатам, именно потому, что жизнь, все еще присутствующая в мысли, тут же угасает под рукой прозектора; и из всех наук можно привести множество примеров того, как от духа этого мертвящего анализа бежит всякая высшая истина.

Эти два главных источника философского заблуждения: иллюзия безусловного бытия и тождественного мышления, со всем тем, что из этого следует в самых разнообразных формах научного фатализма или поэтического пантеизма и весьма превратного и ложного трагического мировоззрения, с одной стороны; с другой, атомистическое природовоззрение, наряду со всеми прочими также сюда относящимися материалистическими взглядами; затем само атомистическое мышление и мертвое расчленение понятий и дробление мысли, наряду со столь глубоко коренящимся в человеческой душе представлением о смерти, на коем они зиждутся; все это вместе образует теперь нечто вроде проклятия слепоты, от начала тяготеющее над таким узурпированным самовластием и абсолютным владычеством разума, стремящегося быть суверенным, — или же, в ином случае, — ставший наследственным болезненный симптом превратившегося во вторую природу духовного бесплодия и внутреннего омертвления лежащей всецело в материальных оковах мыслительной способности. Это более общие заблуждения, объективные ошибки разума или превратные направления мысли, при которых личное имеет меньшее влияние или все-таки далеко не такое большое, как в тех формах и родах научного заблуждения, что сосредоточены в человеческой воле и рассудке, где все индивидуально или становится таковым, где характер, настрой ума, страсть, свободное решение и внутренний выбор решают более всего. Именно поэтому также эти заблуждения, происходящие из общего или, по меньшей мере, близко родственного источника, теснейшим образом друг с другом

связаны и так между собой переплетены, что зачастую трудно бывает выделить в чистом виде и строго обособить долю участия одной лишь духовной способности познания от других, волящих и действующих, сил. Заблуждение, преимущественно властвующее над волей (хотя оно зачастую совершенно произвольно) и превратившееся из наследуемой привычки во вторую природу, мне проще всего будет назвать предрассудком яйности, из чего всякий легко опознает саму сущность и то, насколько далеко простирается ее влияние во всей человеческой деятельности и мышлении и во всех житейских воззрениях, а также то, что влияние это все еще заметно даже в духовном регионе, так что даже и самое чистое стремление к высшей истине не всегда бывает свободно от него. Но все же весьма редко это заблуждение принимает вид определенного, всецело идеалистического мировоззрения и завершенной системы такого рода в области науки. Ибо подобная система находит подле себя такое множество противоречий и к тому же в себе самой настолько запутывается в них, что никогда не может быть выстроена вполне последовательно и, по меньшей мере, бывает недолговечной. Обычно она настолько противоречит внутреннему человеческому чувству, что уже в тот момент, когда ее впервые в ярком и рельефном виде преподносят публике, возникает сомнение, действительно ли следует понимать ее утверждения буквально и точно ли все это говорится на полном серьезе? Часто это происходит еще и потому, что первый учредитель и основатель такой парадоксальной Я-системы в последующей ее редакции допускает и признает некоторые весьма существенные модификации или вообще занимает совершенно иную позицию, по существу усваивая совершенно иной ход мысли; чему из истории человеческого духа вообще и в частности из нашей эпохи можно было бы привести множество ярких и близких примеров, если бы это было здесь уместно. Поэтому едва ли есть необходимость в подробном разборе и опровержении действительно так называемого идеализма, ибо он сам в достаточной мере себя опровергает; в любом случае такой разбор и такое опровержение лежат вне сферы этого нашего представления внутренней и высшей жизни; ибо здесь было важно лишь обратить внимание также и на это научное заблуждение как на весьма достопримечательную форму или род такового в завершенной системе научных заблуждений, и для этого несколькими чертами в достаточной мере его оха-

рактизовать. Однако то, что верно в отношении этой системы и может быть сказано о ней, я не хотел бы распространять еще и на идеалистическое сомнение; ибо это последнее, как и всякое сомнение вообще, может представлять собой весьма целительный и благотворный кризис перехода к более твердому и совершенно ясному для самого себя знанию. Мне следовало бы, напротив, верить, что идеалистическое сомнение, сколь бы парадоксальным оно ни представлялось и даже как раз по причине этой своей внутренне ощутимой парадоксальности, как правило, могло бы гораздо скорее и легче вести к благотворному кризису и перемене в научном воззрении, нежели то другое, направленное против свободы воли боязливое жизненное сомнение, которое я назвал бы моральным и которое настолько широко распространено, и для невероятно большого числа людей, даже и вовсе далеких от всяческих притязаний на ученость, в качестве обычного фатализма естественного мышления, представляет собой господствующий взгляд на жизнь. — Здесь речь идет преимущественно лишь о научном вреде, причиняемом человеческому сознанию в его нынешней форме со стороны основных заблуждений; а вред, причиняемый предрассудком яйности, даже там, где последняя не выступает столь очевидным и рельефным образом, в своем тайном влиянии на всякую человеческую деятельность, на человеческое мышление и даже на всякую религию истины, таков, что вполне можно признать, что даже в наиболее удавшихся, самых чистых и совершенных представлениях познанной истины (будь эти представления собственно и сугубо научными, историческими, художественными или всего лишь риторическими и по обыкновению предназначенными для практической жизни) почти всегда присутствует еще и некоторая субъективная окраска, — именно там, где ее как раз не должно быть, — и отнюдь не тот ее род, какой может быть позволен, например, в искусстве и поэзии (хотя даже и здесь не безусловно и не везде) — своеобразное эгоистическое освещение, обращенное к собственному ближайшему жизненному и идейному кругу, — от влияния которого следует тщательно остерегаться, как в других, так и в себе самом. Единственная истинная и верная, не только в жизни, но также и в науке, абстракция, — когда некто умеет абстрагироваться от себя самого; однако такая абстракция отнюдь не имеет всеобщего распространения, и даже при наличии доброй воли бывает весьма нелегко

в полной мере это исполнить; а поскольку здесь уже так часто заходила речь о невнятной путанице мертвых абстракций как пустых мысленных формул, то пусть мимоходом займет свое место также и это замечание, или исправление. Вполне может быть и вполне вероятно, что это понятие абстракции в более старом и более религиозном научном взгляде на мышление имело как раз такой более высокий и верный смысл, поскольку вполне ясно, что мы, например, для того, чтобы размышлять о Боге и божественных вещах и всецело погрузиться в эти наблюдения, сперва должны совершенно забыть обо всем внешнем мире и увести от него свое мышление, затем же при помощи его подняться над самими собой и выйти из нашей ограниченной самости, или из нашего Я. Почти все научные понятия изначально несли в себе великий, возвышенный и истинный смысл; и лишь позднее этот смысл, вследствие износа от всеобщего употребления, опускается до пустой формулы заблуждения. В жизни предрассудок яйности и подверженной ему и ограниченной им воли имеет столь широкое действия и оказывает столь сильное влияние, что можно сказать, что последнее почти столь же широко по своему охвату, как сама жизнь, и простирается на всю ее сферу. Детское своеволие есть самое большое препятствие, стоящее на пути воспитания, а неодолимое упорство и страстный партийный дух есть сила, господствующая над всей общественной жизнью, вызывающая великое множество катастроф или, по меньшей мере, несущая в себе величайшие опасности. Если бы мы захотели распространить свой взгляд на все предрассудки, проистекающие из эгоистической ограниченности, и на то влияние, что оказывают на внутреннего человека и на внешний мир излюбленные мнения, — то глава, посвященная им в одной системе или в одном учебнике практического человековедения, могла бы выйти столь же подробной и обстоятельной, как те, что ранее посвящались ложным силогизмам или всем могущим встретиться в мышлении и в жизни погрешностям против логически-правильной разумной формы; или та, где освещались психологические заблуждения фантазии. Здесь же моя насущная цель, коей я намерен строго держаться, ограничивается лишь тем, чтобы дать краткий, однако, вместе с тем, достаточно полный очерк наиболее существенных научных заблуждений, а также врожденных греховных качеств и естественных предрасположенностей в человеческом сознании, поместив каждое из них на

полагающееся ему место. Для этой, научной, стороны предмета немаловажным или, по меньшей мере, совсем не лишним будет то замечание, что здесь отношение для заблуждений рассудка и воли будет совсем иным, нежели для разума и фантазии и в привычном противопоставлении той или иной односторонне преобладающей силы; поскольку то и другое — рассудок и воля — стоят друг с другом в гораздо более близкой связи взаимовоздействия. В случае с некоторыми заблуждениями, или же превратными, ошибочными воззрениями или направлениями мысли, как, например, с преобладающим духом противоречия, — пусть и извне вызванной, однако самой по себе исключительно страстной реакцией, или неудержимым желанием спорить; причем такие черты характера весьма часто бывают свойственны даже выдающимся мужам: какие только мотивы или тенденции не оказывают здесь своего существенного влияния, развиваясь порой не только в жизни, но даже и в области науки, в могущественную силу заблуждения, — так что подчас бывает трудно определить, что решает здесь в большей степени, — умонастроение, воля, особое направление ума или же тот или иной род рассудка. Так что сомнение есть, по всей видимости, такое состояние, или такое свойственное рассудку направление духа, которое само по себе никоим образом не может быть ни предосудительным, ни греховным, однако все же является заблуждением, а в своем абсолютном расширении способно перейти даже в заблуждение научного отрицания — в величайшее и самое разрушительное из всех возможных. Ранее я уже не раз мимоходом отмечал, что сомнение, по всей видимости, представляет собой одно из характерных основных свойств человеческой сущности, — точно так же, как, например, сон для внешнего органического тела, в противоположность вечно бодрствующим чистым духам, какими мы их себе с необходимостью представляем, — столь же всецело сущностно-характерное состояние органической жизни; точно так же, как врожденная человеческой душе вечная надежда признается чем-то вроде высшей печати и божественной сигнатуры; — что, одним словом, сомнение также и в той же мере следует рассматривать как врожденный характер человеческого духа или хотя бы как неистребимую черту этого характера. И, пожалуй, эта борьба между сомнением и надеждой (которая, в тех или иных частностях и вовне, продолжается даже по достижении окончательной внутренней



уверенности и успокоения и, по сути, никогда не заканчивается в этом бытии) имеет во внутренней и духовной жизни, ничуть не меньшее значение, чем чередование сна и бодрствования во внешней органической жизни имеет для установления правильного равновесия силы и здоровья. Однако преимущественно сомнение должно быть приписываемо рассудку, и именно рассудок есть присущее сомнению место в человеческом сознании, хотя отсюда оно может простирается на весь вообще его круг и на любую иную его сферу. Своеобразная иллюзия в разуме безусловного единства (или неразличения) и необходимости приводит скорее к ложному и лишь воображаемому знанию, где она даже стремится обладать математической достоверностью или же полагает, что уже достигла таковой. Но, несмотря на то, что внутреннее противоречие в этом безусловном мировоззрении (при том, что всякое противоречие отрицается в нем с самого начала и, казалось бы, должно быть полностью из него устранено), — когда оно все-таки пробуждается и приходит в движение, может дать почву для глубоко идущего научного сомнения, — все же это, безусловно, не есть то самое место, где сомнение существует первоначально и где оно впервые возникает. Понимание, напротив, уже само по себе предполагает предшествующее состояние не-понимания; предмет или мысль, которая сейчас впервые понимается, еще прежде должна была существовать как подлежащая нам данность, как задача для нашего изначального неведения, до тех пор, пока нам не удастся счастливо ее разрешить. Более того, само понимание есть не что иное, как переход из неведения в знание, — переход, который, однако, не всегда происходит за один раз, но чаще всего совершается поступенно и требует немалого времени. Сомнение же, как срединное состояние между первоначальным неведением и внутренним поиском достоверности, как раз и образует собой кризис такого перехода, а потому изначальное, несмотря на его превратное употребление и безграничное распространение, в действительности, сомнение должно рассматривать не как препятствие знанию, но, скорее, как необходимое вспомогательное средство и полезный инструмент для его полноценного обретения и внутреннего совершенствования. Удивление в некоторых местах платоновской философии берется как внутреннее духовное пробуждение, внезапное изумление, посещающее душу при счастливой догадке или одной лишь близости открытия ис-



тины; так что можно было бы сказать, что удивление есть мать знания, ибо оно несет в себе его первый начаток, вынося его на свет; сомнение же есть его отец, ибо лишь благодаря ему может совершиться внутреннее обоснование, а также быть определена внешняя форма науки. Поскольку же наука (пусть и взятая лишь относительно и лишь в своей данной определенной форме, но в то же время как таковая и в общем), в том, что касается ее внешнего охвата и внутреннего роста, по существу, никогда не может быть завершена в этом бытии, то, стало быть, и для сомнения нет причин когда-либо до конца иссякнуть; если, однако, оно всегда должно оставаться благотворной силой, деятельно участвующей в знании, то, конечно, от него нужно требовать и ожидать одного-единственного: чтобы оно никогда не оставляло надежды и не забывало об истине как цели и об этом ее внутреннем поиске, коему оно призвано служить в качестве его органа. Собственно, даже и в результате этой безусловной и огульной решимости, в которой уже кроется претензия на некую полную достоверность, а значит, совершенное, хотя и целиком и полностью отрицательное, знание, оно входит в противоречие с самим собою и уничтожает свое собственное основание. — Следовательно, лишь абсолютное сомнение есть научное заблуждение и должно признаваться за таковое лишь в том случае, если оно доводится до степени научного отчаяния, чего никогда не должно было бы происходить, — и лишь в этом безмерном распространении заключена ошибка. Более того, даже здесь было бы трудно установить внешнюю меру и последнюю границу для отдельных индивидуумов, наций и эпох, до тех пор, пока эта сумятица бесконечного сомнения представляет собой всего лишь пассивное состояние внутренней борьбы и еще не поднято до непреходящего, вечного принципа; и, пожалуй, невозможно каким-либо иным образом определить в общих чертах, до каких пор может и имеет право доходить сомнение, чтобы тем самым не утрачивалась всякая надежда; и не может ли оно само в этой пагубной безмерности все же вновь обратиться во благо, содействуя целительному кризису перехода и, будучи освобождено от себя самого, найти врата к истинной цели и к ее внезапно открывающемуся пониманию. Лишь там, где становящееся активной силой абсолютное сомнение намеренно выставляется как последний, конечный результат всякого мышления, как само высшее знание, — там, где оно хладнокровно развивается

и применяется ко всему и вся, — лишь там это есть дух всеобщего отрицания, целиком и полностью ложный и пагубный, разрушающий вместе со знанием также и всякую истину, враждебно противостоящий всякому благу и, конечно, в себе самом заслуживающий названия зловредного. А кто же есть учредитель всякого зла в самом человеке, во всем его мышлении, волеии и знании, равно как и во всем остальном творении, если не этот мрачный мировой дух вечного отрицания, который, однако, порой может облечь себя в лживый свет кажущейся бодрой ясности. После того, как мы, наконец, добрались до этого источника всякого заблуждения, было бы, наверное, нелишним присовокупить еще одно замечание об этом первом учредителе всякой неправды, дабы предупредить, по меньшей мере, одно весьма вероятное и близлежащее недоразумение. В древнем и священном языке он носит имя Духа и Князя мира сего, и еще в древние времена это имя часто ложно истолковывалось в том смысле, будто он есть собственно Демиург и подчиненный Творец этого столь ужасающе разорванного, выбившегося из колеи и павшего в глубочайшую пропасть гибели мира, ибо современникам той эпохи внутреннее состояние природы в нынешнем ее виде представлялось столь несказанно и непоправимо бедственным, что они не смели приписать ее сотворение истинному Богу. Однако пусть даже природа и действительно столь тяжело обременена, томится в плену своей несвободы и внутренне несчастна (ведь именно поэтому в Книге Истины о ней говорится как о «стенающей твари»<sup>21</sup>); пусть мир вообще расстроен, испорчен и скорбит в оковах чуждой власти в гораздо большей мере, чем это кажется на первый поверхностный взгляд, — но все же это восточное мировоззрение с его учением о двух принципах не может быть принято ныне точно так же, как не могло быть принято никогда: ибо тем самым мир и природа, и без того уже пришедшие в изрядное расстройство, должны были бы подвергнуться еще большему разрыву и окончательно разделиться на две части, причем тогда уже невозможно было бы помышлять ни о какой-либо истине, ни о том или ином истинном и несущем радость знании. Это странное религиозное заблуждение азиатской древности, характеризующейся впрочем, весьма глубокомысленным настроением, настолько далеко отстоит от более умеренного, чтобы

---

<sup>21</sup> Рим. 8:22–23. — *Примеч. перев.*

не сказать — более холодного западного образа мысли и настолько ему чуждо, что было бы весьма трудно объяснить или наглядно представить его (именно в этом самом его зловещем и устрашающем виде) какому-либо европейскому ученому. Сколь бы ни было излишним и, более того, противным цели глубоко вникать здесь в ложную систему этого первобытного дуализма восточного мировоззрения, все же здесь будет вполне уместо одно замечание, которое прежде всего будет опираться на предшествующее. Итак, сколь бы мало этот первый родитель лжи ни мог рассматриваться в восточном мировоззрении как Демиург, — все же, как зло везде и всюду, в целом и в частностях, есть обманнный образ блага и подражание ему, точно так же и этот всеобщий дух вечного отрицания является обладателем своего собственного, особого мира, который произведен или даже, в известном смысле, сотворен им самим. А именно, это есть ничтожный иллюзорный мир пустого *ничто*, который теперь (конечно, в заблуждении, в вере в него и в его противопоставлении добру как истинному *нечто*) стал реальным *ничто* и должен как таковое рассматриваться. Действительный мир любвеобильного Творца сотворен из *ничего*, ибо все, что вне его самого, есть, собственно, лишь *ничто*, лишь зеркало его совершенства, лишь отблеск его бесконечной силы и славы; однако даже если этот мир и создан из *ничего*, он все-таки создан *для чего-то* или даже *для весьма многого*, а именно — для все большего возвышения и приближения к своему Творцу и, наконец, для полного и совершенного с ним слияния. Этому благовому и высшему *нечто* как последней цели истинного миротворения выходит теперь навстречу сделавшееся реальным и тем самым злое *ничто* темного мира иллюзии, которое если и не сотворено, то все же образовано и произведено из *нечто*, т. е. из испорченной, отпавшей и расстроенной части истинного мира, — однако произведено в *ничто*, а именно в то самое *ничто*, которое образует собственный мир, круг действия и жизненную атмосферу злого принципа. Если при достижении высшего градуса страстного неистовства, полного отчаяния во всякой истине и наступлении внутреннего расстройств у того или иного человека о нем можно было бы сказать или действительно говорят, что он носит в себе целый ад, — то этот речевой оборот (как это часто бывает со словесными образами и уподоблениями, коими обычно пользуются, не связывая с ними никакой определенной мысли), по сути,

является целиком и полностью истинным и по своему метафизическому смыслу совершенно точным и верным.

Если бы абсолютное сомнение как высший принцип всякого мышления и знания всегда представлялось и выказывало себя в этом всеобщем духе вечного отрицания именно и всецело таким, каково оно есть в действительности; если бы можно было тут же и со всей ясностью и полнотой осознавать, из какого первоисточника оно берет свое начало и куда в конечном итоге ведет, — то это выходящее за пределы всех человеческих соразмерностей, целиком и полностью скептическое мировоззрение было бы куда менее вредоносным, производя в общем и целом гораздо меньшее впечатление и не получая столь легкого доступа к человеческим сердцам. Поскольку, однако, его разрушительная пагубность и идущая наперекор разуму парадоксальность здесь отнюдь еще не достигает той степени очевидности (как, например, в действительно, а не мнимо идеалистической философии), но всячески скрывается и маскируется в весьма остроумных представлениях, которые отнюдь не всегда бывают строго научными, — это мировоззрение может похвалиться гораздо большим числом приверженцев, чем можно было бы предположить: почти в точности так же, как поэтический пантеизм, с коим само это мировоззрение может иной раз входить в некий половинчатый альянс или видимым образом с ним сливаться; и именно потому эту сторону человеческого заблуждения нельзя здесь обойти стороной или коснуться ее лишь поверхностно. Однако все эти доводы и оговорки направлены лишь против абсолютного сомнения и против его (в его превратном употреблении) разрушающего и уничтожающего влияния на жизнь и науку, которое оно начинает оказывать, едва лишь становится всеобщим и достигает власти над миром. Истинное сомнение в его естественных границах и в его направленности на истинную цель (а именно, на познание, никогда не достигающее полноты), напротив, должно рассматриваться как сила, всегда содействующая развитию науки и истины. Именно поэтому сами назначенные свыше стражи общепризнанной и официально одобренной истины действуют, пожалуй, не всегда верно как во внешней жизни, так и в государстве и в области веры, когда они стремятся тут же и без разбора подавить всякое шевельнувшееся сомнение, нигде не оставляя ему даже самой малой лазейки; ибо тем самым они лишь усугубляют духовное зло, если таковое действительно уже нали-

цо, ибо на этом пути сугубого отрицания оно едва ли может быть вообще когда-нибудь до конца устранено.

Итак, теперь система главнейших научных заблуждений, по меньшей мере, в ее наиболее существенных чертах, обозначена с достаточной полнотой. И если эти заблуждения, исходя из их первого возникновения и из их общего характера, будут отчетливо распознаваться как таковые, то тем самым идея науки, с ее различными составными частями и элементами, а также со всей ее сферой и центром внутренней достоверности, уже благодаря самому этому противопоставлению, должна весьма выиграть в ясности и определенности. Если бы мы, однако, захотели выделить общий характер главных из всех этих заложенных в человеческом сознании начатков заблуждения и обозначить сами эти заблуждения (а именно: иллюзию безусловного единства и необходимости в знании, образ смерти в природе и в мертвом атомистическом мышлении, предрассудок яйности и дух вечного отрицания, всецело упраздняющий истину) одним совместным термином, — то для этого у нас не осталось бы ни одного выражения, кроме пустой мыслеформулы мертвого абсолютного; по меньшей мере, именно она будет всецело соответствовать внутренней точке индифференции всякой научной неистинности. Противостоящее ему средоточие верного и истинного знания образует затем внутренний чувственный источник вечной любви, о чем уже ранее неоднократно упоминалось вскользь, в похожих, или несколько иных выражениях. Спасти и обезопасить это живое средоточие всякой высшей истины и истинного знания от нападков абсолютного сомнения — такова была задача; однако она была не в том, чтобы всецело упразднить сомнение как таковое, навсегда устранив его, поскольку сомнение, напротив, всегда будет представлять собой отнюдь не маловажное средство совершенствования и почти незаменимый инструмент живого и движущегося познания. Если, теперь, в определенных таким образом границах для выделения и устранения абсолютного и для распознавания и всегда верного употребления истинного и благотворного сомнения найден достаточный и удовлетворительный ответ на великую задачу и великий вопрос об истине и возможности ее познания в человеческом масштабе, — то тем самым, следовательно, судьбоносный кризис сомнения в человеческом сознании продемонстрирован в своей полноте и счастливо преодолен — и именно так, как эта задача определялась и стави-

лась ранее. И таким образом здесь, как это и требовалось там, внутреннее ощущение истины в этом средоточии любви возвысилось до осознанного чувства или до твердой оценки внутренней достоверности, ее непосредственного восприятия; каковая непосредственная оценка внутренней достоверности должна была бы служить в качестве перехода и связующего звена от прежде развитого понятия сознания к предложенной идее науки, получившей ныне более близкое освещение. Дабы теперь всецело привести к завершению эту оценку или осознанное чувство внутренней достоверности в предпринятом здесь изложении, остается ответить лишь на один вопрос, или присовокупить *одно* замечание; и оно касается как раз внутреннего средоточия истины в этом самом непосредственном восприятии; вопрос же состоит в том, что же такое есть знание само по себе и что, собственно, происходит в душе или в человеческом сознании, когда мы знаем нечто. С давних времен признано, а в среде способных на глубокое мышление никогда особенно не заблуждались относительно того, что истинное знание состоит как раз в том, что мы познаем вещи не такими, как они выглядят внешне, но такими, каковы они сами по себе; и эта внутренняя сущность вещей постигается и понимается тем, кто воспринимает их такими, как они вышли из Бога и как они стоят пред его всеведущим оком, устремленным на них. Чем же было бы теперь истинное знание, если бы оно было доступно человеку? Если предположить бытие Бога, — а как можно было бы вести речь или хотя бы задаваться вопросом о знании или об истине без этой всеобщей, изначальной и вечной предпосылки? — то в этой предпосылке одновременно заключена еще и другая предпосылка — предпосылка вездесущности Бога, в котором обитают и существуют все реальные вещи, хотя эта вездесущность не явлена зримо и остается сокрытой для внешнего oka. И таким образом истинное знание представляло бы собой, если это можно так выразить, чувственное распознавание во всех вещах скрытой вездесущности Бога, и в ходе такого распознавания одновременно постигается также и истинная сущность этих предметов. Первое начало такого духовного осязательного распознавания скрытой истины можно было бы (если мы хотим при этом различать ступени внутреннего развития) обозначить словом *усмотрение*, однако лишь извне и как бы издалека; вторая ступень, затем, представляла бы собой восприятие, т. е. полное и уверенное нахождение внутри себя той или иной

истины; и последняя ступень совершенства есть духовное созерцание, пусть даже оно (беря во внимание человеческую ограниченность) будет все еще лишь косвенным, однако оттого ничуть не менее пронизательным, — созерцание, при котором то, что мы прежде различили лишь внутри себя, теперь в совершенстве предстает также и вовне и может быть предметом сообщения. И, конечно, также и для этой философии внутренней и высшей жизни, которая ставит своей целью открытие пути к ее верному и истинному пониманию, вслед за ее первой ступенью, полагающей в основу совершенное понятие сознания, и за второй, где получает развитие идея науки, — это созерцание истины будет представлять собой третью ступень и одновременно цель и завершение целого. Однако для того, чтобы понять, каким образом возможно такое созерцательное познание, нам нужно лишь вспомнить о том, что не столько мы поднимаемся к божественной идее, сколько, напротив, она сама схватывает нас в свои объятия, сообщает себя нам и действует в нас. — Уничтожительные нападки сомнения вполне и с успехом могут быть направлены против безусловного разумного знания, где это вызывающее внутренний спор действие, или противодействие, в сущности, желательно и благотворно — для того, чтобы разрушить ложную видимость мнимой необходимости. С приходом же действительного опыта все сомнения полностью улечиваются, едва лишь слишком рано, или слишком близко, или слишком тесно проведенная граница утверждаемой или принимаемой на веру невозможности переступается действительностью. Весьма часто уже случалось так, что и в других опытных науках то, что ранее не просто подвергалось сомнению, но считалось и объявлялось почти невероятным и даже всецело невозможным, затем совершенно неожиданно становилось фактом и получало всеобщее признание как неопровержимая данность. А сколь многое из природных явлений может быть названо чудесным, или почти граничит с ним, или, по меньшей мере, производит такое впечатление на наш рассудок, на наш привычный круг понимания? С точки зрения откровения вообще может оказаться весьма трудно провести строгую разграничительную линию, или установить какую-либо непреодолимую стену между тем, что в привычном смысле называют или когда-либо называли естественным и сверхъестественным. И если всякая высшая истина является лишь сообщенной и не может быть никакой иной, — то кто



захочет определять здесь меру и ставить цели самому сообщившему ее? Если бы также и в философии знание и истина были бы действительно сообщенными, понимались и принимались бы как таковые, то все это можно было бы перенести в опыт, как только мы захотели бы черпать из истинного источника и воспринимать философию всецело как высшую опытную науку и так к ней подходить. Дабы, однако, показать, что даже с этой точки зрения сообщенного знания (и что всякое высшее знание таково и может быть лишь таким) человек отнюдь еще не может просто так войти в полноту божественных тайн и затем властвовать и распоряжаться по своему произволению; но что развитие истины в человеческой душе всегда совершается весьма медленно, поступенно и шаг за шагом; что также крайне медленно происходит внутренняя обработка и внешнее применение истинного знания, даже если начало и твердое основание уже найдены или, скорее, даны; что многое также и здесь еще приходится преодолевать и улучшать или еще раз обдумывать и взвешивать; и что даже и здесь еще зачастую возникает почти незаметное последнее препятствие, или новое перенесение сроков окончания, вызванное добросовестной озабоченностью, — я позволю себе добавить еще одно замечание. При этом я поступлю не так, как ранее, когда я в каждой из первых основных силах человеческого сознания стремился отыскать и представить во всю величину зародыш возможного заблуждения, но, напротив, буду предполагать самую чистую волю при самых счастливых задатках уже всецело очистившегося, обретшего новую жизнь и возвысившегося сознания, самую живую восприимчивость любящей истину души, или познающий дух, ищущий величайшей деятельности и силы знания. Нередко даже самым благородным характерам, обладающим открытостью чувств, внутренней подвижностью и чуткой душой, восприимчивой к высшей истине, кроме того, присущ еще и некоторый тайный внутренний страх перед нею, в чем для нас нет ничего удивительного; это не столько последняя иллюзия, сколько, скорее, всего лишь некий тонкий водораздел между первым новым впечатлением и привычной самостью, поскольку, конечно, всякое воздействие высшей истины явственным образом увлекает нас прочь от этой внутренней сферы чувств, а зачастую властно вырывает нас из него, причиняя даже некоторое страдание; отсюда, пожалуй, это тихое сопротивление (к ней следует подходить с самой чуткой бе-



режностью), которое предшествует совершенному приближению и полному слиянию. Или возьмем некий ум, который действительно обладал бы обширным высшим знанием; и, конечно, он достиг его не без помощи известной доли дерзости живого мышления, без которой и вообще никогда не достигается и не может быть достигнуто ничто действительно благое и прекрасное ни в одной из областей, еще менее того что-либо великое; и то же самое верно относительно выражения, ибо дерзкая мысль естественным образом и требует дерзкого языка, и несет его с собою. Где же ему искать теперь меру и границу, путеводную нить и, если можно так сказать, противоядие и защиту от собственной дерзости, если эти мера и граница не произойдут из глубочайшей любви к истине, из чистейшей воодушевленности наукой? Со всех сторон его обступают опасность заблуждений или злоупотреблений, которые, вкупе с высшей ответственностью, вселяют в его сердце заботу и требуют от него быть настороже. Он, наверное, представляет себе, в виде мысленной аллегии, человека, которому доверена и помещена в его ладонь вся полнота истины (а поскольку, с точки зрения сообщенного знания, невозможно заранее определить и провести никакой всеобщей границы, то я могу смело добавить — вся истина на небе и на земле), — так что этого человека, наверное, тут же охватили бы величайшая неуверенность, страх и сомнение, и он не знал бы, следует ли ему открыть ладонь сразу же до конца, или сперва приоткрыть ее наполовину, или же лучше некоторое время вовсе поддержать ее закрытой. Однако если мы вообще оставим в стороне это превосходящее всякую человеческую меру подобие, — то у нас в пользу заключенной в нем необходимой и благотворной медлительности или некоторого промедления и запаздывания во всяком человеческом знании и в его развитии, в границах самой философии и во внутренней области сознания, остается одно лишь понятие о логической совестливости как о необходимом качестве истинного мыслителя, способном оградить его от совершения как внутренних, так и внешних ошибок. Что такая логическая совестливость, если можно это так назвать, если полностью отвлечься от всех нравственных отношений, действительно существует, что она может или должна бы существовать, — само по себе достаточно очевидно; под нею понимается как раз то самое бережное вымеривание и взвешивание не только всех мыслей, но и всякого выражения и всякого слова — пусть даже это

выражение служит лишь тому, чтобы наглядно подчеркнуть высокую важность этой внутренней чуткости ученого в отношении научной истины и отметить то место в сознании, где она, собственно, должна иметь свое средоточие и ту почву, из которой она должна произрастать. Мне, однако, по меньшей мере мало доверия внушила бы одна лишь, пусть сколь угодно гениальная и достойная удивления, дерзость великого мыслителя, если бы я не увидел бы, что к ней примешивается, с ней гармонически связан, или объединен, также и другой, столь же существенный элемент тщательной поступенности. В существенных чертах, однако в несколько иной форме и в ином представлении, это понятие логической совестливости было известно также и в философии греков; поскольку оно отчасти заложено уже в первоначальном смысле этого слова, которое должно обозначать собой бескорыстную любовь и чистое стремление к мудрости и научной истине, и именно так его объясняют греки. Еще отчетливее это явствует через противопоставление, или через противоположное этому понятию понятие софиста, под коим греки понимали низкое ремесло «мудрствующего», или же корыстное и бессовестное злоупотребление научной истиной, при котором она искажается согласно собственному разумению, или обращается лишь к собственной выгоде, ставится на службу страстей, используется ради одной лишь славы или в иных побочных эгоистических целях. Все это греки решительно отвергали как совершенно ничтожное, и следовало бы желать, чтобы и мы также иной раз вызывали в своей памяти эту нравственную строгость древних, их понятие и суждение о высшей истине и их обхождение с этой святыней истинной науки, которую они признавали и почитали как таковую, — и стремились бы ввести их в употребление во благо нашей эпохи.

## Десятая лекция

Если мы представляем себе в своих мыслях нечто реальное, то это представление реального всякий раз содержит в себе также и знание; это не есть пустое мышление, но мышление, имеющее истинное содержание, — сколь бы несовершенным ни было это знание в отношении его внешней взаимосвязи или его внутреннего развития, и сколь бы несовершенным ни было оно в своем выражении и по своей форме. Если толь-

ко эту мысль, содержащую в себе первое представление того или иного реального предмета, мы сами не разрушаем впоследствии (будь то неверным членением или же каким-либо иным путем), не обращаем ее в ничто или не убиваем ее внутренне, так что в конце концов по нашей собственной вине и несмотря на то, что первоначальный предмет нашей мысли был поистине реальным, нам остается от него всего лишь мертвая и ничего не говорящая словесная форма. Дабы теперь также обозначить это существенное различие, этому предыдущему объяснению о внутренней сущности знания нужно придать следующий вид: знание есть живое мышление той или иной реальности. Общее и неопределенное выражение «мышление» является здесь точным и наиболее выверенным, ибо оно объемлет собой все особые виды восприятия и понимания, суждения и постижения, познания и признания, которые суть отдельные составные части и особые отношения, или также различные ступени знания или связанной с ним интенсивной внутренней достоверности. Было бы также менее точно, если бы мы захотели сказать, что верное мышление той или иной реальности есть знание, неесмотря на то, что этот смысл уже заключен в предыдущем высказывании и близко с ним связан. Если мысль, представляющую и объемлющую нечто реальное, называют неверной, то это значит, что она содержит многое или нечто, что не присутствует в данном предмете и что, таким образом, ему не соответствует; то же, что не присутствует в реальном предмете, то, следовательно, по отношению к этому предмету не есть нечто реальное, или, иными словами, не принадлежит ему как его часть, а значит, заведомо исключено из понятия мышления реальности, ибо в данном случае это было бы, наоборот, мышление нереального. Или же выражение о неверном мышлении реального могло бы указывать на это, или это означать, если бы это мышление представляло собой совершенно недостаточное и ошибочное знание, т. е. если бы многое существенное, содержащееся в реальном предмете, не было бы охвачено им или все еще отсутствовало в нем. Таким образом, это было бы выражением, применимым и уместным в том случае, если бы мы хотели обозначить законченное и совершенное знание и при этом отличить его от еще неполного и совершенно не достаточного. Поскольку же знание есть нечто лишь постепенно развивающееся, то понятие знания вообще должно предшествовать понятию совершенного знания. Живое мышление той или иной

реальности, сколь бы еще несовершенно и недостаточно оно ни было, все же содержит уже в себе начаток и первый росток знания; лишь из мертвого мышления никогда не может развиться знание, и более того, если это мышление есть всего лишь форма, с которой не связывается никакого смысла, то это даже не есть истинное мышление. Знание вообще, таким образом, есть мышление некоторой реальности; завершенное же, или совершенное, знание есть в таком случае правильное и полное развитие этого мышления, благодаря коему последнее обретает наибольшую возможную определенность как изнутри, так и вовне. Однако действительное всегда остается тем первым, той основой и тем началом, из которого исходит всякое знание, на которое, следовательно, прежде всего должно быть направлено также и мышление и на которое это мышление всегда должно твердо опираться. В более старой философии высшее, или, как его еще называли (не всегда и не для всех отношений уместным образом), необходимую сущность, — объясняли как такое, чья действительность дана уже вместе с его возможностью, в силу чего доказательство его действительного бытия само собой следует уже из одного лишь понятия всесовершенства. Это есть одна из форм выражения безусловного единства бытия и мышления, коих существует столь великое и разнообразное множество и о которых наиболее существенное из того, что должно быть о них сказано, уже в достаточной мере было нами упомянуто, так что этот пример приведен здесь лишь для перехода и лишь для того, чтобы через противоположность тем более отчетливо обозначить и выделить другое воззрение. А именно, на этом пути философии и с той точки зрения, которая исходит не из мертвого и абстрактного мышления, но из самой жизни, всегда полагая эту жизнь в основание, а также из живого мышления, — реальность и непосредственное ощущение этой реальности, будь то во внутреннем восприятии или во внешнем опыте и даже в высшем откровении, — всегда и везде есть первое начало, из коего развивается все последующее, и то твердое основание, на котором оно зиждется. То необходимое, что прежде всего следует за этой первой реальностью, есть только внутренняя, сущностная и целостностная взаимосвязь этого ранее данного реального; возможное же, которое не есть нечто произвольно вымышленное и химерически составленное, но поистине и, как можно было бы сказать, действительно возможное, образует те-

перь завершение того, что является результатом естественного дальнейшего развития первого начала и его внутренней сущности. Эта простая череда, или естественная последовательность, в живом мышлении образует и определяет собой также и различные ступени понимания и даже внутренние градусы достоверности и ясности во все более развивающемся живом мышлении. Основу целого образует чувство реального, восприятие факта, во всей сфере тройственно данного внутреннего, внешнего и высшего опыта. Первую высшую ступень в дальнейшей духовной переработке, согласно нашей изначальной точке зрения, образует понятие; именно в том виде, как я его ранее объяснил, — как внутри и снаружи; числом, мерой и весом полностью и в точности математически выверенную мысль; причем, следовательно, все отдельные составные части, которые, будучи взяты вместе, образуют эту первую мысль реального, поставлены в правильном обособлении друг от друга и, в свою очередь, объединены в качестве органических звеньев в одно упорядоченное целое, или же, как в геометрии, в одну общую конструкцию. Однако понимание еще никоим образом не есть законченное объяснение, каким, например, было бы доведенное до последнего предела членение, после проведения которого уже не оставалось бы ничего, подлежащего объяснению; ибо даже в соответствии с обычным словоупотреблением мы вполне можем иметь или образовать понятие о целой системе, будь то действительная опытная система или же просто система мысли, также и вне философии, в других областях знания, или о каком-либо ином произведении мысли, или также о каком-либо художественном целом, — и при этом многое в нем не понимать или даже многое находить необъяснимым. Такое понимание и схватывание извне, в верном ограничении завершенной сферы, в отчетливом органическом членении и порядке изнутри, отнюдь не есть еще совершенное понимание, но лишь первая его ступень. Она лишь тогда вступает в свою полную внутреннюю силу (а тем самым в то же время образуется вторая ступень приближения к совершенному пониманию), когда ощущение реального, через познание могущего возникнуть или уже действительно связанного с ним заблуждения и через противостоящее заблуждению и его познанию признание истины, возрастает до осознанного чувства суждения внутренней достоверности; и это есть существенная черта самого знания. Еще одну, третью ступень

дальнейшего развития, или еще более высокого восхождения первого живого мышления, или же его дальнейшего приближения к совершенному пониманию, образует идея, которая уже по одной лишь своей форме в том отличается от понятия, что она не устанавливает, подобно понятию, сущностной и при данных условиях необходимой внутренней взаимосвязи и полностью замкнутой сферы представленной в воспринимающем чувстве реальности, но, напротив, она есть лишь мысль о чем-то реальном, достижимом в известной сфере, в определенном направлении или намерении; точно так же, как и во всем этом изложении о внутренней и высшей жизни, за понятием сознания следует идея науки, а затем исследование или вопрос о том, в какой мере она возможна и достижима. Даже в обычном словоупотреблении это различие соблюдается, когда, например, говорят: «это всего лишь идея», дабы обозначить тем самым некую мысль, имеющую своим предметом нечто возможное, чья действительность, однако, является проблематичной; напротив, под названием понятия, строго говоря, понимают обычно лишь такую мысль, которая имеет своим содержанием по меньшей мере нечто относительно действительное, ибо в противном случае попросту не было бы ничего, что могло бы пониматься. Именно поэтому также идея не всегда может содержать вполне завершенную и органически членораздельную структуру своего предмета, но это есть, скорее, лишь указание, лишь направляющая нить или правило возможности того, что должно быть достигнуто, как оно может быть достигнуто и, например, в какой ступенной последовательности это действительно достигается.

Поистине научная и употребляемая в научных целях идея в силу этого прежде всего сущностно и тесно связана с фундаментом внутренней достоверности этой реально достижимой возможности предмета, составляющего ее задачу, или той задачи, которая составляет ее предмет; таким образом, здесь с осознанным чувством или суждением об этой внутренней достоверности и истинности в знании. Само же полное и совершенное понимание есть<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Здесь рукопись обрывается в связи со смертью автора. — *Примеч. перев.*



## ЛЮЦИНДА

### Пролог

**Г** улыбкой умиления обозревает и открывает Петрарка собрание своих бессмертных романсов. Вежливо и любезно беседует мудрый Бокаччо со всеми дамами в начале и в конце своей богатой книги. И даже великий Сервантес, будучи старцем и уже в агонии, все еще дружелюбный и преисполненный тонкого остроумия, облачает пестрое зрелище своих полных жизнью произведений драгоценным ковром вступления, которое само по себе является прекрасной романтической картиной.

Извлеките великолепное растение из плодотворной материнской почвы, и многое любовно прильнет к нему, что только скряге может показаться излишним.

Но что может дать мое вдохновение своему детищу, которое, подобно ему, так бедно поэзией и так богато любовью?

Только одно слово, один образ на прощание: не один только царственный орел смеет презрительно относиться к карканью воронья; лебедь столь же горд и также его не замечает. Его не беспокоит ничто, кроме того, чтобы блеск его белых крыльев оставался незапятнанным. Он думает лишь о том, чтобы благоговейно прильнуть к коленам Леды и чтобы все, что в нем есть смертного, выдохнуть в песне.

## Исповедь неловкого

*Юлий – Люцинде*

Люди, со всем тем, чего они хотят и что они делают, представились мне, когда я о них вспомнил, пепельно-серыми фигурами, лишенными движения; но в окружавшем меня священном уединении все состояло из света и красок, и свежее теплое дыхание жизни и любви оведало меня, и шелестело, и шевелилось в каждой веточке пышной рощи. Я взирал и одинаково наслаждался всем: и сочной зеленью, и белыми цветами, и золотыми плодами. И так я видел внутренним оком единственную, вечно и безраздельно любимую во многих образах: то в виде ребячливой девушки, то в виде женщины в полном расцвете и энергии любви и женственности, и потом в виде достойной матери с серьезным мальчиком на руках. Я вдыхал весну, ясно видел я вечную молодость вокруг себя, и, улыбаясь, сказал я: «Если мир является далеко не лучшим или полезнейшим, то все же я знаю, что он является прекраснейшим». В таких моих чувствах или размышлениях меня ничто не могло бы потревожить, ни всеобщее сомнение, ни собственный страх. Я уверен был в том, что мне удалось проникнуть углубленным взором в сокровенные недра природы; я чувствовал, что все вечно живет и что смерть тоже дружелюбна и является лишь иллюзией. Однако я об этом не слишком размышлял, по крайней мере к членению и расчленению понятий я был не слишком склонен. Но я охотно и глубоко терялся во всех сочетаниях и сплетениях радости и боли, которые придают вкус жизни, интенсивность впечатлению и являются источником духовного сладострастия и чувственного блаженства. По жилам моим струилось тонкое пламя; то, о чем я мечтал, было не только поцелуем, объятием твоих рук, то было не только желанием уничтожить мучительное жало тоски и охладить сладостный пыл в обладании; не только по губам твоим я томился, или по глазам твоим, или по твоему телу: то была романтическая спутанность всех этих моментов, чудесная смесь разнообразнейших воспоминаний и томлений. Все мистерии женского и мужского своеволия, казалось, витали вокруг меня, когда меня, уединенного, внезапно всецело зажгло твое подлинное присутствие и мерцание цветущей радости на твоем лице. Шутки и восторги стали тут чередоваться и превратились в единый пульс нашей объединенной жизни; мы обнимались столь же



свободно, как и благоговейно. Я очень просил, чтобы ты хоть однажды всецело предавалась страсти, и я умолял тебя сделаться ненасытной. Тем не менее я прислушивался со спокойной рассудочностью к каждому чуть слышному проявлению радости, чтобы ни одно из них от меня не ускользнуло, чтобы не допустить прорыва в гармонии. Я не просто наслаждался, но я ощущал и наслаждался также и наслаждением.

Ты так необыкновенно умна, любимейшая Люцинда, что ты, вероятно, давно уже пришла к заключению, что все это только чудный сон. К сожалению, это так и есть, и я был бы безутешен, если бы мы в близком будущем не смогли осуществить его, хотя бы частично. В действительности же было только то, что я перед этим стоял у окна; как долго — этого я точно не знаю, так как вместе со всеми правилами рассудка и нравственности я утратил также и способность к учету времени. Итак, я стоял у окна и смотрел на волю; утро во всяком случае заслуживает того, чтобы назвать его чудным: воздух тихий и достаточно теплый; зелень здесь передо мной совершенно свежа; и сообразно тому, как широкая равнина то поднимается, то опускается, спокойный, широкий серебристо-светлый поток извивается большими взмахами и дугами до тех пор, пока он вместе с фантазией влюбленного, подобной качающемуся на нем лебедю, не углубится в даль и медленно не потеряется в необъятном. А возникновение рощи с ее южным колоритом в моем воображении обязано, вероятно, большой купе цветов, находящейся здесь, рядом со мной, среди которой имеется достаточно апельсиновых. Все остальное легко поддается психологическому объяснению. Это была только иллюзия, милая подруга, все это — иллюзия, кроме того, что я перед этим стоял у окна и ничего не делал, и что я сейчас сижу здесь и делаю нечто, что также является немногим более или скорее даже менее, чем ничегонеделанием.

То, о чем я говорил сам с собой, было описано тебе вплоть до этого момента, как вдруг посреди моих нежных мыслей и глубокомысленных чувств, содержанием которых являлось столь же изумительное, сколь и запутанное драматическое соответствие наших объятий, я был прерван нелепым и нелюбезным случаем. Он прервал меня именно тогда, когда я намеревался в ясных и подлинных периодах развернуть перед тобой точную и обстоятельную историю

нашего легкомыслия и моей меланхолии; я намеревался также построить чем далее, тем более исчерпывающее в силу естественных закономерностей разъяснение наших недо-разумений, относящихся к сокровенному средоточию тончайшего бытия, и описать многообразные результаты моей неловкости, а также ученические годы моей возмужалости. Эти годы я не могу обозревать ни в целом, ни в отдельных частностях без многих улыбок, без некоторой тоски и достаточного самоудовлетворения. Однако я хочу попробовать в качестве образованного любителя и писателя изобразить грубую случайность и превратить ее в целесообразность. Но для меня и для этой рукописи, для моей любви к ней и для ее построения как такового нет цели целесообразнее той, чтобы я с самого же начала уничтожил то, что мы называем порядком, отдалился от него, определенно присвоил себе право создавать очаровательное смешение и это право проявил на деле. Это тем более необходимо, что материал, который наша жизнь и наша любовь сообщают моему вдохновению и моему перу, является столь неудержимо нарастающим и столь неуклонно систематичным. Если бы дело сводилось к форме, то это в своем роде единственное письмо приобрело бы в силу этого невыносимое однообразие и монотонность и утратило бы то, чем оно хочет и чем оно должно быть: изображением и дополнением прекраснейшего хаоса возвышенной гармонии и интересных наслаждений. Итак, я пользуюсь моим неоспоримым правом на смешение для того, чтобы вложить сюда на совсем ненадлежащее место один из тех многих разбросанных листков, который я под влиянием тоски или нетерпения, не найдя тебя там, где вернее всего должен был бы найти, — в твоей комнате, на нашей кушетке, — заполнил или испортил пером, только что употребленным тобою, первыми повернувшимися словами, — листок, который ты, добрая, без моего ведома заботливо сохранила.

Выбор не будет для меня трудным. Он падает на дифирамбическую фантазию о прекраснейшей ситуации, ибо из числа мечтаний, уже поведенных бессмертным буквам и тебе, воспоминание о прекраснейшем мире является наиболее содержательным, и прежде всего потому, что оно обладает известным рода сходством с так называемыми мыслями. Ведь если только мысль о том, что мы живем в прекраснейшем из миров, переходит в определенную уверенность, то неоспоримо, что прежде всего у нас является потребность самим или

через других основательно ознакомиться с прекраснейшей ситуацией в этом прекраснейшем из миров.

## **Дифирамбическая фантазия о прекраснейшей ситуации**

Крупная слеза падает на священный листок, который я нашел здесь вместо тебя. Как верно и просто ты ее обрисовала, эту смелую давнюю мысль о самом дорогом и сокровеннейшем моем намерении! В тебе она возросла, и в этом глубоко зеркале я не боюсь самим собою восторгаться и самого себя любить. Только здесь вижу я себя полно и гармонично, или, вернее, во мне и в тебе я вижу целиком все человечество. Ибо и твой духовный облик тоже обрисовывается передо мной, очень определенно и законченно; это уже не отдельные черты, которые появляются и расплываются; но в виде одного из тех образов, которые длятся вечно, радостно смотрит он на меня из открытых глаз и раскрывает объятия, чтобы заключить меня в них. Из всех тех нежных черт и проявлений души, которые для того, кто не знает высшего, уже сами по себе являются блаженством, самые мимолетные и самые святые являются лишь общей атмосферой нашего духовного дыхания и нашей духовной жизни.

Слова бледны и тусклы; кроме того, в этом наплыве образов я должен был бы на всевозможные лады повторять все то же неисчерпаемое переживание нашей первоначальной гармонии. Великая будущность торопливо зовет меня дальше в безграничность, каждая идея раскрывает свое лоно и разворачивается передо мной в бесчисленных новых рождениях. Крайности безудержного веселья и тихого предвкушения одинаково мне присущи. Я вспоминаю обо всем, даже о страданиях, и все мои прежние и будущие мысли поднимаются и восстают против меня. В разбухших жилах волнуется буйная кровь, уста жаждут соединения; и среди многих образов наслаждения фантазия ищет и выбирает и не может найти ни одного, который бы, наконец, удовлетворил и насытил желание. И потом внезапно я снова с чувством вспоминаю о том мрачном времени, когда я все только ждал, не имея надежды, и пылко любил, не подозревая об этом; когда мое внутреннее состояние всецело изливалось в неопределенную тоску, которая только изредка проявлялась в полуподавленных вздохах.

Да! Тогда бы я счел сказкой, что есть такая радость и такая любовь, какие я теперь ощущаю, и такая женщина, которая была бы мне совершенной подругой. Ведь я особенно в дружбе искал всего того, чего мне не доставало и чего я не надеялся найти ни в одном женском существе. В тебе я нашел все и даже больше того, о чем я мог мечтать: ты ведь не такая, как другие. То, что привычкой или капризом определяется как женское, тебе абсолютно не свойственно. Помимо небольших особенностей, женственность твоей души состоит лишь в том, что для нее жить и любить означает одно и то же; все переживается тобою полноценно и безгранично, тебе неведом внутренний раскол, твое существо едино и нераздельно. Поэтому ты так серьезна и так радостна, поэтому ты принимаешь все так широко и так небрежно, и поэтому ты и любишь меня целиком, не оставляя ни одной частицы моей государству, потомству или друзьям-мужчинам. Все принадлежит тебе, и мы везде наиболее близки друг другу и лучше всего понимаем друг друга. Все ступени человечества проходишь ты рядом со мной, начиная от самой безудержной чувственности, вплоть до просветленнойшей духовности. И только в тебе наблюдал я подлинную гордость и подлинную женскую покорность.

Даже величайшие страдания, если бы только они на нас обрушились, не разлучая, показались бы мне не чем иным, как очаровательным противопоставлением высокому легкомыслию нашего супружества. Почему бы нам не принять жесточайшую причуду случая как прелестную шутку и дерзновенную прихоть, если мы бессмертны, как сама любовь? Я уже больше не могу сказать «моя любовь» или «твоя любовь»; обе они одинаковы и слиты воедино, являясь в равной мере любовью и взаимностью.

То, что нас связывает, это — брак, вечное единство и соединение наших душ не только в пределах того, что мы называем тем или иным миром, но и по отношению к подлинному, нераздельному, безымянному и безграничному миру, ко всему нашему бессмертному бытию, ко всей нашей беспредельной жизни. Поэтому я был бы готов, если бы это показалось мне своевременным, так же радостно и так же легко осушить с тобою чашку лавровишневой воды, как и последний стакан шампанского, которое мы пили вместе с тобою, с теми же произнесенными мною словами: «Итак, давай выпьем остаток нашей жизни», — так сказал я и поспешно выпил, пре-

жде чем выпенился благороднейший гений вина; и, — говорю снова, — пусть будут такими же наша жизнь и наша любовь. Я знаю, что и ты не захотела бы меня пережить; ты последовала бы за опередившим тебя супругом даже в могилу и сошла бы ради удовольствия и любви в пылающую бездну, куда яростный закон ввергает индийских женщин, грубой преднамеренностью и насилием оскверняя и разрушая нежнейшие святыни своеволия.

Там, может быть, тоска найдет себе более полное успокоение. Я часто удивляюсь вот чему: каждая мысль и все то, что помимо этого в нас возникает, кажется в самой себе завершенной и нераздельной, как личность; но вот одно вытесняет другое, и то, что являлось только что во всей полноте в пределах настоящего, вскоре погружается обратно во мрак. И вслед за этим ведь снова бывают мгновенья внезапной исчерпывающей ясности, когда многие такие элементы внутреннего мира путем чудесного соединения полностью растворяются в единстве, и некий, уже забытый кусок нашего «я» освещается новым светом и бросает отблески этого яркого света даже в темную ночь нашей будущности. То, что верно по отношению к маленькому, то применимо, по-моему, также и к большому. То, что мы называем жизнью, является для всей бессмертной индивидуальности лишь отдельной мыслью, нераздельным чувством. Но даже и ей дарованы такие мгновенья глубочайшего и полноценного сознания, когда все перевоплощения перед ней раскрываются, по-иному перемешиваются и разделяются. Мы оба когда-нибудь поймем в качестве единой индивидуальности, что мы являемся цветами одного и того же растения или же лепестками одного и того же цветка, и мы с улыбкой будем тогда сознавать, что то, что теперь мы называем только надеждой, по существу говоря, являлось воспоминанием.

Знаешь ли ты еще, каким образом первое зерно этой мысли вошло в моей душе перед тобою и тут же укоренилось также и в твоей? — Так религия любви сплетает нашу любовь все теснее и крепче воедино, так ребенок, подобно эху, удваивает радость своих нежных родителей.

Ничто не может нас разъединить, и уж конечно, каждое отдаление только сильнее рвануло бы меня к тебе. Я представляю себе, как во время последних объятий под наплывом жестоких противоречий я раздражаюсь одновременно слезами и смехом. Я бы тогда затих и в своего рода оцепенении не

поверил бы, что я с тобою разлучен, покуда новые предметы вокруг меня не убедили бы меня в этом против моей воли. Но тогда моя тоска неудержимо возрастала бы до тех пор, пока я на ее крыльях не погрузился бы в твои объятия. Попробовали бы только слова или люди посеять между нами недоразумение! Глубокая боль была бы непродолжительной и скоро бы разрешилась в еще более полноценную гармонию. Я так же мало обратил бы на нее внимания, как любящая возлюбленная в энтузиазме сладострастия не обращает внимания на маленькую боль.

Как могла бы разлука нас разъединить, когда само наше совместное пребывание, сама действительность для нас слишком действительна? Мы должны шутками смягчать и охлаждать ее испепеляющий жар, и таким образом остроумнейший из видов или ситуаций нашего наслаждения является для нас одновременно и прекраснейшим: когда мы обмениваемся ролями и с ребяческой веселостью усердствуем в подражании друг другу, удастся ли тебе тогда лучше бережная пылкость мужчины или мне очаровательная покорность женщины? Но знаешь ли ты, что эта сладостная игра обладает для меня еще совсем особой прелестью, помимо своей собственной? Это не только сладострастие утомления или предвкушение мести. Я вижу в этом чудесную, значительную по смыслу аллгорию на тему о завершении мужского и женского начала до степени полной, целостной человечности. В этой аллгории заложено многое, и то, что в ней лежит, восстанет далеко не так быстро, как я, когда я лежу под тобою.

Вот это называется дифирамбической фантазией о прекраснейшей ситуации в прекраснейшем из миров! Мне известно довольно хорошо, как ты тогда нашла и приняла ее. Но мне думается, что я так же хорошо знаю и то, как ты ее здесь найдешь и воспримешь, здесь, в этой книжечке, в которой ты ожидаешь найти скорее правдивую историю, скромную правду, спокойную рассудительность, пожалуй, даже любезную тебе любовную мораль. «Как можно хотеть писать о том, о чем почти не дозволено говорить, о том, что следовало бы только переживать?» Я ответил: «Если имеет место переживание, то должно явиться желание о нем рассказать, а то, что хочется рассказать, позволительно и написать».

Я хотел бы прежде всего тебе доказать и обосновать то обстоятельство, что в природе мужчины в качестве изначально-

ного и врожденного заложен некий неуклюжий энтузиазм, который охотно вырывается по поводу всего нежного и святого, нередко неловким образом спотыкается благодаря своей собственной наивной поспешности и, одним словом, легко становится божественным до грубости.

Посредством этой аналогии мне, пожалуй, удалось бы спастись, однако это произошло бы, может быть, путем умаления всего мужского: ибо, как бы вы высоко ни судили о нем даже в единичном, вы всегда будете находить многое и многое против рода в целом. Однако я ни в коем случае не хочу иметь с этим родом ничего общего и лучше уж буду защищать или оправдывать свою свободу и свою дерзость только примером невинной маленькой Вильгельмины, так как она ведь тоже дама, которую я при том же нежнейшим образом люблю. Поэтому я хочу ее теперь же немного охарактеризовать.

## **Характеристика маленькой Вильгельмины**

Если рассматривать этого своеобразного ребенка не в связи с какой-либо однобокой теорией, но — как и следует — в основном и в целом, то про нее можно смело сказать, и, пожалуй, это будет самым лучшим из всего того, что вообще можно о ней сказать: она является одареннейшей личностью своего времени или своего возраста. И этим сказано немало: в самом деле, как редко встречается гармоническое развитие у двухлетнего человека. Наиболее сильным из множества убедительных доказательств ее внутренней законченности является ее радостная самоуверенность. После того как она поест, она старается, вытянув обе ручки на столе, опереть на них с шутливой серьезностью свою маленькую головку, делает большие глаза и лукаво оглядывает всю семью. Затем она выпрямляется с живейшим выражением иронии и улыбается по поводу собственной хитрости и своего превосходства над нами. Вообще в ней много комедийности и много данных для этого. Если мне вздумается подражать ее движениям, она сейчас же передразнит мое подражание; таким образом, мы создали для себя мимический язык и понимаем друг друга посредством иероглифов изобразительного искусства. К поэзии, как мне кажется, у нее гораздо больше склонности, чем к философии; так, она больше любит, чтобы ее возили, и только в крайнем случае путешествует пешком. Жесткие

звукосочетания нашей родной речи превращаются на ее языке в мягкое и сладостное благозвучие итальянской и индийской манеры произношения. Она особенно любит рифмы, как и вообще все красивое; она часто может без усталы, безостановочно твердить себе самой и напевать все свои любимые образы, как бы классический отбор ее маленьких наслаждений. Цветы всевозможного рода явлений сплетает поэзия в легкий венок; таким же образом и Вильгельмина называет и рифмует названия местностей, времен, происшествий, отдельных личностей, игрушек и кушаний, нагромождая одно на другое в некоем романтическом смешении, — столько же слов, сколько и образов; и все это без каких-либо побочных определений и искусственных переходов, которые в конце концов годятся лишь для рассудка, задерживая всякий более или менее смелый полет воображения. Для ее фантазии все в природе является одушевленным и одухотворенным; и я все еще с удовольствием вспоминаю о том, как она, будучи в возрасте не больше года, в первый раз в жизни видела и ощупывала куклу. Небесная улыбка расцвела на ее маленьком личике, и она сейчас же запечатлела сердечный поцелуй на раскрашенных деревянных губах. В самом деле! В природе человека глубоко заложен инстинкт, сообщающий ему желание есть то, что он любит, и подводящий всякое новое явление непосредственно ко рту, чтобы там, где это окажется возможным, расчленил это явление на его составные части. Здоровая любознательность стремится вполне охватить обретенный ею предмет, проникнуть в его сокровенные недра и раскусить их. Ощупывание же, напротив, остается лишь на внешней поверхности, и результатом такого рода усвоения является несовершенное, только опосредствованное, познание. Между тем, уже само по себе интересным зрелищем является то, как одаренное дитя созерцает свое подобие, стремится охватить его руками и, таким образом, ориентироваться в нем посредством первых и последних щупальцев сознания; боязливо ускользает и прячется чужое, но маленький философ проявляет неуклонное рвение в том, чтобы исследовать захваченный предмет изучения.

Но одаренность, остроумие и оригинальность, разумеется, так же редко встречаются у детей, как и у взрослых. Однако все это, а также и многое другое, не имеет сюда прямого отношения и могло бы вывести меня за пределы моей цели. Ведь эта характеристика является не чем иным, как только



идеалом, который мне постоянно хочется иметь перед собою для того, чтобы посредством маленького художественного произведения прелестной и грациозной жизненной мудрости никогда не отходить от зыбкой границы благопристойного; мне хочется, чтобы этот идеал был также постоянно и перед тобою для того, чтобы ты наперед простила мне все мои вольности и дерзости, о которых я еще только помышляю, а может быть, и для того, чтобы ты могла об них судить и их оценивать, стоя на более высокой точке зрения.

Разве я не прав, когда, в поисках у детей нравственности, нежности и изысканности в мыслях и словах, обращаюсь преимущественно к женскому роду?

А теперь смотри! Эта милая Вильгельмина часто находит невыразимое удовольствие в том, чтобы, лежа на спинке, задирает ножки кверху, не заботясь о своей юбочке и об общественном мнении. Если это делает Вильгельмина, чего только не позволительно сделать мне, поскольку я — слава Богу! — мужчина, и не должен быть нежнее, чем нежнейшее женское существо?

О достойная зависти свобода от предрассудков! Отбрось и ты их от себя, любимая подруга, отбрось все остатки ложного стыда, подобно тому, как я часто срывал с тебя роковые одежды и в прекрасной анархии разбрасывал их кругом. И если бы этот маленький роман моей жизни показался тебе чересчур диким, то представь себе, что он является ребенком, перенеси его невинное озорство с материнским долготерпением и позволь ему поласкать тебя.

Если бы ты согласилась не слишком строго отнестись к достоверности и общей значительности аллегории, и при этом была готова на такое количество неловкости в рассказе, какое только можно требовать от признаний неловкого, если одеяние не должно быть нарушено, то я хотел бы тебе здесь рассказать один из моих последних снов наяву, ибо он дает результат, похожий на тот, который дает характеристика маленькой Вильгельмины.

## Аллегория дерзости

Беззаботно стоял я в искусно возделанном саду около круглой клумбы, красовавшейся нагромождением великолепнейших цветов, местных и заграничных. С наслаждением

вдыхал я пряный аромат и радовался пестроте красок, как вдруг прямо на меня из цветов выпрыгнуло отвратительное чудовище. Оно казалось разбухшим от яда, его прозрачная кожа переливалась всеми красками, и можно было видеть его внутренности, извивавшиеся подобно червям. Оно было достаточно велико, чтобы внушить к себе страх; при этом оно раскрывало клешни во все стороны вокруг своего тела; то прыгало оно, словно лягушка, то снова с жуткой подвижностью начинало ползти при помощи бесчисленного множества ножек. В ужасе я повернулся было прочь, но, так как чудовище намеревалось меня преследовать, я набрался храбрости, бросил его сильным толчком на спину, и вдруг передо мной оказалось не что иное, как самая обыкновенная лягушка. Я изумился немало; но я изумился еще больше, когда внезапно некто, совсем рядом, за моей спиной, сказал: «Это — Общественное Мнение, а я — Остроумие; твои фальшивые друзья — цветы — уже все завяли». Я обернулся и увидел фигуру мужчины среднего роста; крупные черты благородного лица были так подчеркнуты и преувеличены, как мы это часто видим на римских бюстах. Приветливым огнем горели его светлые глаза, и два больших завитка причудливо сплетались на его смелом лбу. «Я хочу возобновить перед тобою некое древнее зрелище, — сказал он, — несколько юношей на перепутье. Я сам считал для себя не потерянным временем зародить их в часы досуга с божественной фантазией. Это — настоящие романы, их четверо, и они бессмертны, как мы». Я взглянул туда, куда он указывал, и увидел прекрасного юношу, летящего едва одетым над зеленой долиной. Скоро он был уже далеко, и я увидел только, что он вскочил на коня и поспешил вперед, как будто бы желая перегнать легкий вечерний ветер и насмехаясь над его медлительностью. На холме показался рыцарь в полном вооружении, крупного и могучего сложения, почти великан; но строгая правильность его роста и сложения одновременно с простодушным дружелюбием его значительного взгляда и размеренных жестов придавала ему, тем не менее, какую-то старинную манерность. Он склонился перед заходящим солнцем, медленно опустил на одно колено и, казалось, молился с большим усердием, положив правую руку на сердце, левую — на лоб. Юноша, который перед тем отличался такой быстротой, лежал теперь совсем спокойно на откосе, греясь в последних лучах; потом он вскочил, разделся, бросился в поток и начал играть с волнами;

он нырял, появлялся снова на поверхности и снова бросался в воду. Далеко внизу во мгле рощи колебалось нечто вроде фигуры в греческом одеянии. Но если это в самом деле так, думал я, то вряд ли она принадлежит земле: так бледны были краски, так закутано все в священном тумане. Чем дольше и пристальней я в нее вглядывался, тем для меня становилось яснее, что это тоже юноша, однако совсем иного характера, чем предыдущие. Головою и руками высокая фигура опиралась на урну; ее строгий взгляд то, казалось, искал какое-то потерянное благо на земле, то как бы о чем-то вопрошал бледные звезды, уже начинавшие мерцать; вздох приоткрывал уста, по которым скользила кроткая улыбка.

Тому серьезному чувственному юноше, тем временем, наскучили одинокие телесные упражнения, и он легкими шагами спешил прямо нам навстречу. Теперь он был совсем одет, почти как пастух, только весьма пестро и необычайно. В таком виде он мог бы появиться на маскараде, тем более, что пальцы его левой руки перебирали нити, на которых висела маска. Этого фантастического отрока с таким же правом можно было принять за своевольную девочку, которая переодевается по собственной прихоти. До сих пор он шел в прямом направлении, внезапно, однако, начал колебаться; сначала он пошел в одну сторону, потом поспешил в противоположную, смеясь при этом над самим собою. «Молодой человек не знает, следует ли ему держаться направления к Дерзости или к Деликатности», — сказал мой спутник. В это время я увидел с левой стороны компанию прелестных женщин и девиц; с правой стороны стояла в одиночестве крупная женская фигура, и когда я захотел окинуть взглядом ее могучие формы, моему взору встретился взор такой пронизывающий и смелый, что я невольно опустил глаза. Среди дам находился молодой человек, в котором я сейчас же узнал брата других романов. Он был один из тех, кого можно видеть в действительности, только гораздо более утонченный. Его лицо, так же как и фигура, не отличалось красотой, но было тонким, очень содержательным и чрезвычайно привлекательным. Его так же легко можно было принять за француза, как и за немца; его одежда и весь его внешний облик отличались простотой, будучи, однако, тщательными и вполне модными. Он занимал беседу общество и казался живо заинтересованным всеми. Девушки двигались вокруг наиболее знатной дамы и оживленно болтали между собой.

«У меня даже больше душевности, чем у тебя, милая Нравственность, — говорила одна из них, — но меня зовут также душою и притом прекрасною». Нравственность несколько побледнела и, казалось, готова была прослезиться. «Я ведь вчера была такой добродетельной, — сказала она, — и я делаю все большие успехи. С меня достаточно собственных упреков, к чему мне еще слушать их от тебя?» Другая, по имени Скромность, завидуя той, которая называла себя Прекрасной Душой, сказала: «Я на тебя сердита: ты пользуешься мною только как средством». Приличие, увидев бедняжку, которая называлась Общественным Мнением, так беспощадно повергнутой навзничь, пролила притворную слезу и вслед за тем позаботилась пикантным образом осушить глазки, которые, однако, вовсе уже не были влажными. «Не удивляйся этой откровенности, — сказала мне Остроумие, — она ни обычна, ни произвольна. Всемогущая Фантазия коснулась своим жезлом этих бездушных теней, чтобы вскрыть их внутренний облик. Ты сейчас услышишь еще больше. Но что касается Дерзости, то она держит речь за собственный страх и риск».

«Вон тот молодой мечтатель, — сказала Деликатность, — должен меня хорошенько позабавить; он всегда будет сочинять для меня красивые стихи. Я буду держать его в отдалении, так же как и рыцаря. Рыцарь, разумеется, прекрасен, если б только у него не был такой серьезный и торжественный вид. Самый умный из них всех, пожалуй, тот элегантный юноша, который сейчас беседует со Скромностью; я полагаю, он над ней издевается. По крайней мере про Нравственность, с ее пресной физиономией, он наговорил ей много хорошего. Однако со мной он разговаривал больше, чем с другими; пожалуй, он смог бы когда-нибудь меня соблазнить, если только я не одумаюсь, или если не появится кто-нибудь другой, еще более соответствующий моде, чем он». Между тем, рыцарь тоже приблизился к обществу; левой рукой он оперся на рукоять большого меча, правой же сделал присутствующим вежливое приветствие. «Однако все вы обыкновенны, и мне стало скучно», — сказал модный человек, зевнул и пошел прочь. Теперь я увидел, что женщины, которые при первом взгляде показались мне красивыми, были только цветущими и благовоспитанными, в сущности же незначительными. Внимательно присмотревшись, можно было заметить даже шаблонные черты и следы испорченности. Дерзость теперь

казалась мне менее жесткой; я мог ее безбоязненно рассмотреть и с удивлением должен был признаться, что облик ее был значительным и благородным. Она стремительно приблизилась к Прекрасной Душе и схватила ее прямо за лицо. «Это только маска, — сказала она, — ты совсем не Прекрасная. Душа, в лучшем случае, ты — Изящество, а часто просто — Кокетство». Затем она повернулась к Остроумию со словами: «Если ты сотворило тех, кого теперь называют романами, то ты могло бы свое время использовать гораздо лучше. С трудом то тут, то там нахожу я в лучших из них нечто от легкой поэзии быстротечной жизни. Но куда же улетела та смелая музыка бушующего любовью сердца, та, которая так за собой все увлекает, что свирепейший проливает нежные слезы и даже вечные скалы начинают танцевать? Никто так не пошел и никто так не трезв, как тот, кто болтает о любви; но тот, кто ее еще знает, не имеет мужества и веры, чтобы ее высказать». Остроумие засмеялось, небесный юноша издал кивнул в знак сочувствия, она же продолжала: «Когда те, которые беспомощны в области вдохновения, хотят с его помощью производить детей, когда те, которые этого совсем не умеют, осмеливаются жить, это в высшей степени непристойно, так как это в высшей степени неестественно и в высшей степени нелепо. Но то, что вино пенится и что молния сверкает, вполне правильно и вполне пристойно». Теперь легкомысленный роман сделал свой выбор; при этих словах он был уже на стороне Дерзости и казался всецело ей преданным. Она поспешила с ним прочь рука об руку и только сказала рыцарю, проходя мимо него: «Мы еще увидимся». — «Это были только внешние явления, — заговорил мой покровитель, — а сейчас ты увидишь происходящее в тебе самом. Впрочем, я — действительно существующая личность и настоящее Остроумие; в этом я клянусь тебе самым собою, не простирая руку в бесконечность». Тут все исчезло, Остроумие же стало расти и расплываться, покуда не перестало быть видимым. Уже не перед собой и вне себя, но внутри себя, казалось, я обрел его вновь; теперь оно было как бы частью меня самого и вместе с тем отличным от меня, самостоятельным и оживленным собственной жизнью. Казалось, что мне открылось новое чувство; я обнаружил в себе самом чистый сгусток мягкого света. Я возвратился в самого себя и к тому новому ощущению, чудесность которого я созерцал. Оно было таким ясным и определенным, каким является духовное, внутри себя

направленное око; при этом, однако, его восприятия были внутренними и тихими, подобно слуховым, и непосредственными, подобно осязательным. Вскоре я опять узнал сцену внешнего мира, однако чище и яснее, чем раньше; наверху — голубой плащ небес, внизу — зеленый пышный ковер земли, наполнившийся вскоре веселыми образами. Ибо то, о чем я в глубине мечтал, оживало и теснилось сейчас тут, прежде чем я в мыслях успевал отчетливо сформулировать свое желание. И таким образом, я увидел вскоре знакомые и незнакомые милые образы в причудливых масках, как бы огромный карнавал веселья и любви. Перед моим внутренним взором развернулись сатурналии, которые по их разнообразию и разнужданности были достойны великой древности. Недолго, однако, продолжалась эта вдохновенная вакханалия; внезапно, как бы от электрического удара, я услышал крылатые слова: «Уничтожать и творить — одно и то же; итак, да витает вечный дух вечно над вечным мировым потоком времени и жизни, воспринимая каждую более или менее значительную волну, прежде чем она расплывется». До жути прекрасно и очень чуждо звучал этот голос Фантазии, однако следующие слова были уже мягче и более непосредственно обращены ко мне: «Наступило время, когда внутренняя сущность божества может быть раскрыта и изображена, когда мистерии могут быть разоблачены и когда страх должен отпасть. Посвяти этому себя и провозгласи, что только природа достойна поклонения и только здоровье является достойным любви». При таинственных словах «наступило время» в душу ко мне упал как бы клочок божественного огня. Он пылал и пожирал мой мозг; ему было тесно, он стремился вырваться наружу. Я бросился за оружием, чтобы кинуться в воинственную сумятицу страстей, сражающихся предубеждениями, как оружием, чтобы бороться за любовь и правду; но подле меня не было никакого оружия. Я отверз уста, чтобы возвестить все это в пении, и я подумал, что все существа должны будут его услышать и что весь мир должен гармонично на него откликнуться; однако я понял, что мои губы не владели искусством слагать напевы духа. «Ты не должен хотеть передавать бессмертный огонь непосредственно и грубо, — прозвучал знакомый голос моего дружественного проводника. — Создавай, открывай, превращай и сохраняй мир и его бессмертные образы путем постоянной смены новых разъединений и сочетаний. Спрячь и заключи вдохновение в букву. Под-

линная буква всемогуща и является настоящим волшебным жезлом. Это ею необоримая прихоть высокой волшебницы Фантазии прикасается к возвышенному хаосу всей природы, вызывает на свет безграничное слово, которое является подобием и зеркалом божественного духа и которое смертные называют вселенной».

Подобно тому как женская одежда отличается от мужской, женский гений имеет перед мужским то преимущество, что он дает возможность путем единой смелой комбинации отрешиться от всех предрассудков культуры и буржуазных условностей и оказаться сразу же в состоянии непорочности и в лоне природы.

К кому же риторике любви надлежит обращать свою апологию природы и ненависти как не ко всем женщинам, в нежных сердцах которых глубоко таится огонь божественного сладострастия, никогда не могущий потухнуть, хотя бы даже он оставался запущенным и загрязненным? А вслед за ними, — пожалуй, к юношам, к мужчинам, которые еще остались юношами. Между ними, однако, следует провести существенное различие: можно было бы разделить всех юношей на таких, которые обладают тем, что Дидро называет ощущением плоти, и на таких, которые этим не обладают. Какой это редкий дар! Многие художники, преисполненные таланта и ума, в течение всей своей жизни тщетно к этому стремятся, и многие виртуозы мужественности проходят свой жизненный путь, не имея об этом ни малейшего представления. По обычной дороге к этому не приходят. Распутник может уметь с известного рода вкусом развязывать пояс. Но тому высшему художественному чутью в области сладострастия, благодаря которому мужская сила впервые превращается в красоту, учит юношу только сама любовь. Это — электричество чувства; при этом внутри спокойная, тихая настороженность, внешне же некая ясная прозрачность, как это бывает в светлых местах живописи, которые так отчетливо ощущаются отзывчивым глазом: это чудесная смесь и гармония всех чувств; в музыке также бывают и безыскусственные чистые глубокие акценты, которые слух не столько воспринимает, сколько как бы впитывает в себя, если душа в это время жаждет любви. Дальше, однако, ощущение плоти не поддается определению. Да это и ни к чему. Достаточно того, что оно является для юношей первой ступенью их любовного



творчества и прирожденным даром женщин, с соизволения и благодаря милости которых он только и может быть сообщен и развит у первых. С теми несчастными, которым оно неведомо, вообще не следует говорить о любви. Ибо от природы мужчине дана лишь потребность в ней, но отнюдь не ее предвкушение. Вторая ступень имеет в себе уже нечто мистическое и легко могла бы показаться противорассудочной, как и всякий идеал. Мужчина, который не умеет полностью идти навстречу и удовлетворять внутренним требованиям своей возлюбленной, не способен быть тем, что он есть и чем он должен быть. Он, по существу говоря, является импотентом и не может заключить достойного брака. Правда, даже высшая конечная величина исчезает перед бесконечностью, и посредством простой силы проблема при всем желании не может быть разрешена. Но тот, кто обладает фантазией, может также и поделиться ею; там, где она есть, влюбленные охотно терпят лишения для того, чтобы ее расточать; ее путь ведет внутрь, ее целью является бесконечность, нерасторжимость без меры и без конца; и, в сущности, они никогда не терпят лишений, так как волшебство фантазии в состоянии все возместить. Однако довольно об этих тайнах! Третья и высшая ступень — это постоянное ощущение гармонической теплоты. Тот юноша, который этим обладает, любит уже не только как мужчина, но одновременно и как женщина. Он как бы завершил путь всего человечества, достиг жизненной вершины. Ведь не подлежит сомнению, что мужчины по природе своей либо горячи, либо холодны, к теплоте же они сначала должны быть подготовлены. Женщинам же по природе свойственна чувственная и духовная теплота, и при этом они обладают чутьем к теплоте всякого рода.

Если эту сумасшедшую маленькую книжечку когда-нибудь найдут, может быть, напечатают, и наконец, будут читать, то она на всех счастливых юношей должна произвести одинаковое впечатление. Разница в степенях ее воздействия будет определяться различными степенями их подготовленности. У тех, кто стоит на первой ступени, она будет возбуждать их ощущение плоти; тех, кто достиг второй, она может удовлетворить вполне; что же касается тех, кто взошел на третью ступень, то эта книжечка даст им лишь ощущение теплоты.

Совсем иначе обстояло бы дело с женщинами. Между ними нет непосвященных; ведь каждая из них имеет в себе



целиком всю любовь, неисчерпаемая сущность которой дается нашему мужскому изучению и пониманию лишь постепенно. Уже развернутая или в зародыше, все равно. Даже девочка в своем наивном неведении знает ведь почти все, прежде чем молния любви зажжется в ее нежном лоне, прежде чем свернутый бутон раскроется в полную цветочную чашечку наслаждения. И если бы бутон мог чувствовать, не являлось ли бы в нем предчувствие цветка отчетливее собственного самосознания?

Поэтому-то в женской любви не существует этапов и ступеней развития, вообще, ничего всеобщего; здесь — сколько индивидуумов, столько и своеобразных ее разновидностей. Никто, даже сам Линней, не в состоянии классифицировать и испортить все прекрасные побеги и растения, наполняющие огромный сад жизни; и только посвященный любимец богов разбирается в этой чудесной ботанике; божественное искусство — разгадывать и распознавать ее сокровенные силы и прелести, время цветения и, в каждом отдельном случае, необходимую для них почву. Там, где начало мира или, по крайней мере, начало человечества, там, в сущности, и есть средоточие оригинальности, и никаким мудрецом не истолкована женственность.

Есть, правда, нечто, что позволяет разделить женщин на два больших класса, а именно: ценят ли они и чтят ли они чувства, природу, самих себя и мужественность; или они потеряли эту подлинную внутреннюю непорочность и каждое наслаждение окупают раскаянием вплоть до горького бесчувствия ко внутреннему неодобрению. Ведь это — история такого множества из них. Сначала они робеют перед мужчинами, потом они отданы недостойным, которые вскоре начинают их ненавидеть или обманывать, пока, наконец, они не проникаются презрением к самим себе и к женской доле вообще. Свой маленький личный опыт они обобщают и все остальное считают смешным; узкий круг грубости и обыденности, в котором они постоянно вращаются, принимается ими за целый мир, и им совсем не приходит в голову, что могут существовать и другие миры. Для таких женщин мужчины — не люди, но только мужчины, — некая специфическая порода, которая, однако, роковым образом необходима против скуки. Но и они сами являются, таким образом, тоже специфической породой, одна достойна другой, без оригинальности и без любви.

Являются ли они, однако, неизлечимыми потому, что их никто не пытался лечить? Мне так очевидно и ясно, что для женщины не может быть ничего более неестественного, чем ханжество (порок, о котором я никогда не могу подумать без некоторой внутренней ярости), и ничего более тягостного, чем неестественность, что я не хотел бы устанавливать никаких границ и считать кого-либо неизлечимым. Я не думаю, чтобы когда-либо их неестественность была надежной, даже тогда, когда они достигают в ней такой легкости и непринужденности, что создается впечатление наличия последовательности и характера. Однако это — только видимость; огонь любви во всем неугасим, и даже под густейшей золою тлеют искры.

Раздуть эти священные искры, очистить их от золы предрассудков и там, где огонь разгорелся уже сильнее, поддерживать его путем скромного жертвоприношения — вот в чем заключалась бы высшая цель моего мужского честолюбия. Прими мое признание: я люблю не только тебя одну, я люблю самую женственность. Я не только люблю ее, я ее боготворю, потому что я боготворю все человечество и потому, что цветок является вершиной растения, его естественной красоты и развития.

То, к чему я вернулся, это наиболее древняя, наиболее детская, наиболее простая религия. Я почитаю в качестве достойнейшего символа божества огонь; и где можно найти огонь прекраснее того, который природа вложила глубоко в нежную грудь женщины? — Посвяти меня в священнослужители не для того, чтобы праздно созерцать этот огонь, но для того, чтобы его освободить, разбудить и очистить; там, где он чист, он сохраняется сам собою, без стражи и без весталок.

Я пишу и мечтаю, как ты видишь, не без соответствующего помазания; но это происходит также и не без призвания, и притом божественного призвания. То, что здесь не должно быть тебе поведано, про то само Остроумие вещало из разверстых небес: «Ты сын мой возлюбленный, в котором Мое благоволение»<sup>23</sup>. И почему бы мне по собственному полномочию и по собственной прихоти не сказать про самого себя: «Я — возлюбленный сын Остроумия», — подобно тому, как какой-нибудь рыцарь, странствовавший всю жизнь по пути

<sup>23</sup> Цитата из евангелия от Матфея, гл. III, ст. 17 — *Примеч. ред.*

приключений, говорил про себя: «Я — возлюбленный сын счастья»?

Впрочем, я ведь, в сущности, хотел поговорить о том, какое впечатление произвел бы этот фантастический роман на женщин, если бы случайность или причуда его открыла и сделала достоянием общественности. Было бы в самом деле неловко, если бы я не воспользовался этим, чтобы хоть немного услужить тебе маленькими коротенькими примерами из области предсказания и пророчества, чтобы заслужить право на достоинство жреца.

Понятным я был бы для всех, и никто не понял бы меня так превратно и не злоупотреблял бы так моей откровенностью, как это сделали бы непосвященные юноши. Многие поняли бы меня даже лучше, чем я сам, и только одна — вполне, и это — ты. Всех остальных я надеюсь лишь попеременно притягивать и отталкивать, часто раня и столь же часто умиротворяя. У каждой развитой женщины впечатление будет совершенно особым и совершенно своеобразным, таким своеобразным и таким особым, как ее, лишь ей одной присущая, манера жить и любить. Клементину все это заинтересовало бы только в качестве чего-то необычайного, за которым, однако, нечто может скрываться. Кое-что, вместе с тем, она нашла бы правильным. Ее считают жесткой и вспыльчивой, и все же я верю в то, что она достойна любви. Ее вспыльчивость примиряет меня с ее жесткостью, несмотря на то, что обе эти черты в ней, судя по внешним их проявлениям, увеличиваются. Если бы в ней была одна только жесткость, то она должна была бы казаться холодностью и отсутствием сердца; вспыльчивость же ее показывает, что в ней есть священный огонь, который стремится прорваться наружу. Ты легко можешь себе представить, каким партнером она оказалась бы для того, кого она полюбила бы всерьез. Мягкая и легко оскорбляющаяся Розамунда при чтении находила бы в себе отклик так же часто, как и протест, пока «пугливая нежность не делается смелее и не увидит ничего, кроме непорочности, в проявлениях глубокой внутренней любви». Юлиана богата поэзией в такой же мере, как и любовью, и энтузиазмом — в такой же мере, как и чувством юмора; однако и то и другое является в ней несколько изолированным; поэтому она иной раз может по-женски испугаться дерзновенного хаоса и пожелать целому немного больше поэзии и несколько меньше любви.

Я мог бы еще долго продолжать в том же духе, так как я всеми силами стремлюсь к познанию человека и часто не нахожу более достойного способа использовать свое одиночество, чем размышляя о том, как та или иная интересная женщина поступила бы и вела бы себя в том или ином интересном случае. Однако пока что довольно; а то как бы дальнейшее не показалось тебе излишним, и подобная многосторонность не наделала бы вреда твоему пророку.

Только не подумай так дурно обо мне и верь, что я повествую не только для тебя, но и для современности. Верь мне в том, что мне нет дела ни до чего, кроме объективности моей любви. Эта объективность и каждое мое устремление к ней и образуют ведь, собственно, магию писания, и, так как мне не дано превратить в напевы пылающий во мне огонь, мне остается только беззвучным образом поведать мою прекрасную тайну. При этом, однако, я так же мало думаю о современниках, как и о потомках. И если я вообще должен думать о чем бы то ни было, кроме тебя, так лучше всего пусть это будет древность. Любовь сама по себе должна быть вечно новой и вечно юной, язык же ее должен быть свободным и смелым по старинному классическому образцу, — не более скромным, чем римская Элегия и чем благороднейшие представители великой нации, и не более разумным, чем великий Платон и святая Сафо.

## Идиллия праздности

«Смотри, я учился у самого себя. И бог взрастил в моей душе различные мелодии», — вот какие слова я отваживаюсь произнести, когда речь идет не о приятной области поэзии, но о богоподобном искусстве ничегонеделания. С кем же мне поэтому лучше было бы беседовать о праздности, как не с самим собою? И вот что я говорил самому себе в тот незабываемый час, когда мой гений внушил мне задание провозгласить евангелие подлинного наслаждения и любви: «О праздность, праздность! Ты — атмосфера невинности и вдохновенья; тебя вдыхают блаженные, блаженными же являются все те, кто тебя имеет и бережет; ты — священное сокровище, ты — единственный фрагмент богоподобия, который нам еще остался от рая». Говоря такими словами с самим собой, я сидел, словно задумчивая девушка бездумного ромansa, у ручья, и сле-

дил за убегающими волнами. Но они утекали и притекали так равнодушно, спокойно и сентиментально, как если бы какому-либо Нарциссу предстояло отразиться на гладкой поверхности и в прекрасном эгоизме созерцать свое отражение. Они могли бы и меня заманить так, что я все глубже терялся бы во внутренней перспективе моего духа, если бы я по природе своей не был столь бескорыстным и в то же время столь практичным, что даже моя философия беспрестанно озабочена лишь проблемой всеобщего блага. Поэтому, несмотря на то, что я пришел в несколько ленивое состояние под влиянием уютного одиночества и жары, от которой мои члены сделались вялыми и размякшими, я, тем не менее, серьезно размышлял о возможности длительного обьятия. Я думал о средствах продлить совместное пребывание и о том, что впредь лучше запретить все детски-трогательные элегии о внезапной разлуке, чем забавляться, как до сих пор, над комизмом подобного стечения роковых обстоятельств, раз они однажды случились и являются непреодолимыми. И только когда сила напряженного разума утомилась и разбилась о недостижимый идеал, я покорно предоставил себя потоку мыслей, охотно прислушиваясь к тем пестрым сказкам, которыми в моей груди зачаровывали мои чувства неотразимые сирены: вожделение и воображение. Мне не пришло в голову недостойно подвергнуть критике эту соблазнительную игру с призраками, хоть я и знал, что в значительной мере это лишь приятный вымысел. Нежная музыка фантазии, казалось, заполняла лагуны томления. Я почувствовал это, преисполнившись благодарностью, и решил посредством своей изобретательности повторить для нас обоих в будущем то, что на этот раз дало мне такое высокое счастье, и возобновить перед тобой эту поэзию правды. Таким образом, первое зерно разрослось в чудесное растение причуды и любви. «И так же свободно, как оно выросло, — думал я, — пусть оно растет и впредь и превращается в дикие заросли; никогда я не позволю себе ради ничтожных побуждений любви к порядку или экономии уничтожать естественное изобилие, обрезаю излишние листики и завитки».

Подобно восточному мудрецу, я всецело погрузился в раздумье и спокойное созерцание бессмертных сущностей, преимущественно твоих и моих. Величие в спокойствии, говорят художники, является высшим объектом изобразительного искусства; и, не сознавая этого вполне отчетливо и не

прилагая к этому недостойных стараний, я построил и творил наши бессмертные сущности в подобном же достойном стиле. Я вспоминал и видел нас в объятиях друг друга в тот момент, когда к нам опустился легкий сон. От поры до времени один из нас открывал глаза, улыбался, видя сладкий сон другого, и оставался достаточно бдительным для того, чтобы сызнова перейти к ласке или шепнуть какое-нибудь шутовское слово; но еще прежде чем прошел прилив этой шаловливости, мы оба, тесно сплетаясь, снова погрузились в сладостное лоно полусознательного самозабвения.

С крайним неудовольствием думал я теперь о нехороших людях, которые хотели бы изъять сон из жизни. Они, очевидно, никогда не спали и никогда не жили. Ведь почему же боги являются богами, если не потому, что они сознательно и намеренно ничего не делают, понимая в этом толк и проявляя в этом мастерство? И как стремятся поэты, мудрецы и святые также и в этом походить на богов! Как соревнуются они в восхвалении одиночества, свободного времени, широкой беззаботности и бездеятельности! И с полным правом: ведь все благое и прекрасное уже наличествует в них самих и может быть удержано посредством их собственной силы. Чем же, следовательно, является безусловное стремление и продвижение без остановок и без средоточия? Могут ли эти буря и натиск дать питательные соки и произрастание бесконечному растению человечества, которое в тиши растет само собой и самостоятельно образуется? Эта пустая беспокойная суетня — не что иное, как беспорядок, свойственный северу и не могущий вызвать ничего, кроме скуки своей и чужой. И чем это, собственно, начинается и кончается, как не антипатией к миру, которая теперь является такою всеобщей? Неопытное самомнение даже и не подозревает, что это свидетельствует лишь о недостатке чувства и ума, и принимает такую антипатию за высокую неудовлетворенность, вызываемую безобразием мира и жизни, о которых оно не имеет ни малейшего представления. Оно и не может его иметь, так как прилежание и польза — это ангелы смерти с огненным мечом, которые запрещают человеку возвращение в рай. Только в спокойствии и умиротворенности, в священной тишине подлинной пассивности можно вспомнить обо всем своем «я» и предаться созерцанию мира и жизни. Как совершается все мышление и поэтическое творчество, если не путем полнейшей отдачи себя воздействию какого-нибудь гения?

И все-таки речь и изображение во всех искусствах и науках представляют собою второстепенную задачу; основным является мышление и поэтическое творчество, а возможно оно только посредством пассивности. Правда, это намеренная, произвольная, односторонняя, но все же — пассивность. Чем прекраснее климат, тем более способствует он бездеятельности. Только итальянцы умеют ходить, и только восточные люди умеют лежать; где, однако, вдохновение получило более нежную и сладостную форму, как не в Индии? И, независимо от климата, право на праздность является тем, что отличает избранных от обыкновенных, — и собственным принципом благородства.

Где, в конечном счете, больше наслаждения и больше длительности, силы и творчества в наслаждении: у женщин, поведение которых мы называем пассивностью, или у мужчин, у которых переход от мимолетной вспышки к скуке происходит быстрее, чем переход от добра ко злу?

В самом деле, надо было бы не столь преступно пренебрегать изучением праздности, но следовало бы возвести его в искусство, в науку, даже в религию! Охватывая все в едином: чем божественнее человек или человеческое деяние, тем более они уподобляются растению; среди всех форм природы оно является наиболее нравственным и наиболее прекрасным. Таким образом, высшая и наиболее законченная жизнь была бы не чем иным, как только *чистым произрастанием*.

Я возымел намерение, удовлетворенный одним сознанием своего существования, возвыситься над всеми конечными, а следовательно, достойными пренебрежения, целями и намерениями. Сама природа, казалось, способствовала укреплению этого моего состояния, настраивая меня посредством многоголосых хоралов на дальнейшую праздность, как вдруг передо мной возникло новое видение. Мне представилось, что я невидимо присутствую в театре. С одной стороны, я увидел знакомые подмостки, лампы и раскрашенный картон; с другой, — невероятное скопление зрителей, целое море настороженных голов и воспринимающих глаз. На сцене с правой стороны, вместо декорации, был изображен Прометей, который занят был изготовлением людей. Он был скован длинной цепью и работал с большой поспешностью и напряжением; тут же стояло несколько огромных молодцов, которые его безостановочно подгоняли и бичевали. Клей и другие материалы были там в изобилии;

огонь же он доставал из большой жаровни. Напротив виден был в качестве безмолвной фигуры обожествленный Геркулес, подобно тому как его изображают с Гебой на коленях. На авансцене бегало и разговаривало множество юных существ, отличавшихся веселостью и существовавших не только на показ. Наиболее юные из них походили на амуров, более взрослые — на женщин; каждое из них, однако, отличалось своей собственной манерой, выдающейся оригинальностью лица, и все они имели какое-то сходство с дьяволом, каким его изображали христианские художники или поэты; можно было бы назвать их сатанисками. Один из младших сказал: «Кто не презирает, тот и не уважает. И то и другое можно проявлять только безгранично, и хороший тон заключается в том, чтобы играть с людьми. Не является ли, таким образом, некоторая эстетическая злость существенной частью гармонического развития?» — «Нет ничего глупее, — прибавил другой, — чем когда моралисты упрекают вас в эгоизме. Они абсолютно неправы: ибо какому богу может поклоняться человек, который не является собственным богом? Правда, вы часто ошибаетесь, воображая, что имеете свое “я”; но если вы принимаете за него ваше тело, ваше имя или ваши вещи, то, по крайней мере, подготавливается помещение, если вообще когда-нибудь этому “я” суждено явиться». — «А этому Прометею вы по справедливости можете оказывать всякие почести, — сказал один из наиболее взрослых, — он всех вас сотворил и продолжает создавать множество вам подобных». В самом деле, как только новый человек был готов, подмастерья сбрасывали его в гущу зрителей, где он мгновенно становился неотличимым, — так они все были похожи друг на друга. «Недостаток лишь в методе! — продолжал сатаниск. — Как можно ограничиваться желанием создавать людей? Это совсем неподобающие орудия». При этом он указал на неотесанную фигуру бога садов, стоявшую в самой глубине сцены, между амуром и очень красивой недетой Венерой. «Тут больше понимал наш друг Геркулес, который мог дать дело пятидесяти и притом геройским девушкам в течение одной ночи за здравие человечества. Он в своей жизни также потрудился, уничтожив множество свирепых чудовищ, но целью его жизненного пути была всегда благородная праздность, благодаря чему он и взошел на Олимп. Совсем не таков этот Прометей, изобретатель воспитания и просвещения. Ему вы обязаны тем, что никогда не можете быть спокойными и пре-



бываете в постоянной суете; отсюда проистекает то, что вы даже тогда, когда вам, собственно, нечего делать, бессмысленным образом должны стремиться даже к выработке характера или пытаетесь наблюдать и обосновывать характер кого-нибудь другого. Такое начинание просто гнусно. Но в силу того, что Прометей совратил людей на трудовой путь, он теперь сам должен работать, хочет он того или нет. Ему еще вдоволь хватит этой скуки, и никогда он не освободится от своих цепей». Когда зрители слышали такие слова, они разразились слезами и вскочили на сцену, чтобы живейшим образом выразить сочувствие своему отцу, и в этот момент аллегорическая комедия исчезла.

### Верность и шутка

«Ты ведь одна, Люцинда?» — «Не знаю... может быть... я думаю». — «Пожалуйста, пожалуйста, милая Люцинда! Ты ведь знаешь, что если маленькая Вильгельмина говорит: “пожалуйста, пожалуйста!” и ее желание не исполняется немедленно; она начинает кричать все громче и все настойчивее, покуда ее воля не осуществляется». — «Так, значит, ты это мне хотел сказать и потому так стремительно ворвался в комнату и так меня испугал?» — «Не сердись на меня, сладостная женщина! О, пусти меня, дитя мое! Красавица! Не упрекай меня, добрая девочка!» — «Теперь ты еще не скоро скажешь: “закрой двери”»? — «Вот как?.. Сейчас я тебе отвечу. Только сначала долгий поцелуй и еще один, потом еще несколько и еще много других». — «О, ты не должен так меня целовать, если я должна оставаться благоразумной. Это наводит на дурные мысли». — «Ты их заслуживаешь. Ты, в самом деле, можешь смеяться? Кто бы мог ожидать этого от такой угрюмой дамы! Но я ведь знаю, что ты смеешься только потому, что можешь меня высмеять. Не веселость побуждает тебя к смеху. Ну кто, в самом деле, имел только что такой же серьезный вид, как какой-нибудь римский сенатор? А ты могла бы быть весьма восхитительной, милое дитя, с твоими невинными темными глазами, с твоими длинными черными волосами в сверкающем отблеске заходящего солнца, если бы ты не сидела здесь, словно приговоренная. Видит бог! Ты на меня так посмотрела, что я прямо-таки отшатнулся. Я был в состоянии забыть о самом главном и пришел в полнейшее

смущение. Но почему же ты ничего не говоришь? Или я тебе противен?» — «Ну, это уже просто смешно, глупый ты, Юлий! Ты не даешь говорить! Твоя нежность изливается сегодня, как проливной дождь». — «Так же, как твоя говорливость по ночам». — «Оставьте в покое мою косынку, сударь». — «Оставить? Что угодно, только не это. Что значит жалкая, дурацкая косынка? Предрассудки! Она должна исчезнуть с лица земли». — «Только бы никто не вошел сюда!» — «Ну, разве у нее снова не такой вид, словно она хочет заплакать! Тебе ведь хорошо? Почему твое сердце бьется так неровно? Поди сюда, дай мне его поцеловать. Да, ты перед этим говорила о том, чтобы закрыть двери. Хорошо, только этого здесь не надо, надо не здесь. Скорее вниз, через сад, к павильону, в котором цветы. Идем! О, не заставляй меня так долго ждать». — «Как прикажете, сударь!» — «Не знаю, ты сегодня какая-то особенная». — «Если ты начинаешь морализировать, милый друг, то мы могли бы преспокойно вернуться назад. Лучше я дам тебе еще один поцелуй и побегу вперед». — «О Люцинда, не бегите так быстро, мораль ведь вас не догонит. Ты упадешь, любовь моя!» — «Я не хотела заставлять тебя дольше ждать. Ну, теперь мы на месте. А ты тоже проявил поспешность». — «А ты — послушание. Только сейчас не время спорить». — «Спокойно, спокойно!» — «Смотри, вот здесь тебе можно мягко и удобно расположиться. Ну, если ты на этот раз не... то тебе не будет никакого оправдания», — «Ты хоть бы, по крайней мере, сначала опустил занавеску!» — «Ты права: освещение так становится гораздо очаровательнее. Как чудесно в красном свете выделяется это белое бедро!.. Почему ты так холодна, Люцинда?» — «Любимый, отодвинь подальше гиацинты, этот запах меня одурманивает». — «Какие они крепкие и самостоятельные, какие гладкие и нежные. Вот это гармоническое развитие». — «Ах, нет, Юлий! Пусти; я прошу тебя, я не хочу». — «Разве мне нельзя чувствовать, пылаешь ли ты так же, как и я? О, не мешай мне прислушиваться к биению твоего сердца; грудь твоя прохладна, как снег, не мешай же мне охлаждать в ней мои губы!.. И ты можешь меня отталкивать? Я буду мстить. Обними меня крепче. Поцелуй за поцелуй; нет, не многие, а один нескончаемый! Возьми мою душу совсем и отдай мне свою!.. О прелестное, превосходное совпадение! Разве мы не дети? Говори же! Как ты только могла сначала быть такой равнодушной и холодной, а потом, когда ты меня, наконец, теснее к себе притяну-

ла, ты в это же самое мгновение сделала такое лицо, как будто тебя что-то огорчило, как будто ты сожалела о том, что ответила на мою страсть. Что с тобой? Ты плачешь? Не прячь свое лицо! Посмотри на меня, возлюбленная!» — «О, дай мне так лежать рядом с тобой, я не могу смотреть тебе в глаза. Это было очень гадко с моей стороны, Юлий! Можешь ли ты меня простить, мой милый муж? Ты не оставишь меня? Можешь ли ты еще меня любить?» — «Иди ко мне, моя сладостная жена! Сюда, к моему сердцу. Помнишь ли ты, как это легко тебе стало после этого? Но говори же, любимая, было хорошо, когда ты плакала в моих объятиях? Как что с тобой? Ты сердисься на меня?» — «Я на себя сержусь, я могла бы себя ударить... Тебе бы это, конечно, показалось справедливым; и если вы, сударь мой, снова как-нибудь вздумаете со мной обращаться по-супружески, то я уж тогда получше позабочусь о том, чтобы самой войти в роль супруги! Об этом ты можешь не беспокоиться. Это было для меня так неожиданно, прямо до смешного. Только, пожалуйста, не воображайте, сударь мой, что вы так бесчеловечно неотразимы. На этот раз я по своей собственной воле нарушила свое намерение». — «Первая и последняя воля всегда являются наилучшей. Женщины обычно говорят меньше, чем думают, зато они иной раз делают больше, чем хотят. И это вполне справедливо: ваша добрая воля является для вас источником соблазна. Добрая воля — это нечто очень хорошее, плохо в ней только то, что она всегда тут, даже тогда, когда ее не хотят». — «Что ж, это прекрасная ошибка. А вот вы преисполнены злой волей и настаиваете на ней». — «О нет! Когда кажется, что мы настаиваем, это означает только то, что мы не можем иначе, и, следовательно, тут нет ничего дурного. Мы не можем, потому что мы недостаточно хотим; значит, это не злая воля, а недостаток воли. И на ком тут опять лежит вина, как не на вас, поскольку вы не хотите с нами поделиться вашим изобилием, желая сохранить для себя целиком вашу добрую волю! Впрочем, то, что я так подчинился, совершилось против моей воли, и я сам не знаю, чего мы этим хотим достичь. Между тем, все же лучше, чтобы я остудил свой пыл в нескольких словах, чем если бы я разбил прекрасный фарфор. Благодаря такому образу действия я имел возможность несколько опомниться от своего изумления по поводу вашего неожиданного пафоса, вашей превосходной речи и вашего похвального принципа. Нет, в самом деле, это — редкостная черточка

ка, одна из тех, с которыми вы соблаговолили меня познакомиться; и, насколько могу припомнить, вы же в течение нескольких недель в дневное время не разглагольствовали при помощи таких солидных и полновесных периодов, какими отличалась ваша теперешняя проповедь; может быть, вам желательно ваше мнение переложить на прозу?» — «Разве ты уже, в самом деле, совсем позабыл о вчерашнем вечере и об интересном обществе? Право, этого я не знала». — «Так, значит, ты сердита на меня за то, что я слишком много разговаривал с Амалией?» — «Разговаривайте, пожалуйста, сколько хотите и с кем хотите. Только вы должны со мной обращаться вежливо, этого я от вас требую». — «Ты говорила так громко, посторонний стоял тут же рядом, я был смущен и не знал, как мне иначе выйти из положения». — «И ты не нашел ничего лучшего, как быть невежливым, будучи ненаходчивым?» — «Прости меня только! Я признаю себя виноватым, ты ведь знаешь, как смущенно я себя чувствую, когда мы с тобою находимся в обществе. Мне больно разговаривать с тобою в присутствии других». — «Как он ловко умеет выворачиваться!» — «Надо, чтобы ничто подобное никогда не сходило мне с рук; будь весьма бдительной и строгой. Однако смотри, что ты наделала теперь! Разве это не оскорбление святыни? О нет! Это невозможно, это больше того. Признайся мне только, это была ревность!» — «На целый вечер ты весьма нелюбезно обо мне забыл. Сегодня рано утром я хотела тебе обо всем этом написать, но опять разорвала написанное». — «А так как в этот момент я вошел...» — «Мне стало досадно на твою стремительную поспешность». — «Могла бы ты меня любить, если бы я не был таким воспламеняющимся, таким наэлектризованным? Разве ты не такая же? Неужели ты забыла наше первое объятие? В одно мгновение любовь уже тут, полностью и навеки, или вовсе нет! Все божественное и все прекрасное происходит быстро и легко. Или радость, по-твоему, собирается, подобно деньгам и другим предметам, постепенно, день за днем? Высокое счастье, подобно небесной музыке, застает нас врасплох, появляется и исчезает». — «Так ко мне явился ты, дорогой! Но разве ты хочешь снова исчезнуть? Этого ты не должен делать, говорю тебе». — «Я и не хочу. Я хочу остаться с тобою вообще, а также и сейчас. Послушай, у меня большая охота развернуть перед тобою длинную речь на тему о ревности. Однако, прежде всего, следовало бы, собственно говоря, умиловить оскорблен-

ных богов». — «Лучше сначала речь, а потом уж боги». — «Ты права, мы еще недостойны, и в тебе долго сохраняется воспоминание о том, что тебя задело и огорчило. Как хорошо, что ты такая впечатлительная!» — «Я не более впечатлительна, чем ты, только по-другому». — «Ну, так скажи мне: раз я не ревнив, как же так происходит, что ты ревнуешь?» — «Разве это произошло без причины? Отвечайте мне!» — «Я не знаю, собственно, что ты имеешь в виду». — «Ну, я, в сущности, не ревную; но скажи мне, о чем это вы целый вечер беседовали вдвоем?» — «К Амалии, значит? Возможно ли это? Какое ребячество! Ни о чем я с ней не беседовал, и потому-то это и было забавно. И разве я не разговаривал так же долго с Антонином, с которым перед этим встречался почти ежедневно?» — «Значит, я должна поверить тому, что ты разговариваешь с кокетливой Амалией точно так же, как с тихим, серьезным Антонином? Не правда ли, это не что иное, как простая чистая дружба?» — «О нет, этого ты не можешь думать, да и не должна думать; это совсем не так. Как можешь ты мне приписать такую нелепость? Ведь есть же, действительно, нечто нелепое в том, когда две личности разного пола создают и воображают между собою такие отношения, которые являлись бы чистой дружбой. С Амалией у меня нет ничего, кроме того, что я ее в шутку люблю. Мне она и вовсе не была бы нужна, если бы она не была немного кокетливой. Побольше бы таких в нашем кругу! Собственно говоря, следовало бы в шутку любить всех женщин». — «Юлий! Мне кажется, ты становишься совсем глупым». — «Ты только пойми меня как следует; не вообще всех, а только тех, которые милы и с которыми приходится встречаться». — «Значит, это не больше того, что французы называют галантностью и кокетством». — «Ничего более, кроме того, что мне это представляется прелестным и остроумным. И потом люди должны знать, что они делают и чего они хотят, а это случается редко. Тонкая шутка превращается в их обращении сейчас же снова в грубую серьезность». — «Эту любовь в шутку вовсе не весело созерцать». — «Шутка здесь ни при чем; это не что иное, как роковая ревность. Прости меня, любимая! Я не хотел бы горячиться, но я никак не могу понять, как вообще можно ревновать: ведь между любящими обиды не могут иметь места, так же, как и благодеяния. Значит, дело в неуверенности, в недостатке любви и в измене по отношению к самому себе. Для меня счастье является безусловным и любовью

составляет нечто единое с верностью. Правда, когда люди так любят, то получается нечто иное. Обычно мужчина любит в женщине лишь пол, женщина в мужчине — лишь степень его природных качеств и его общественной обеспеченности; в детях же оба любят лишь свое произведение и свою собственность. Там верность является заслугой и добродетелью; там и ревность является на своем месте. Ибо в том они совершенно правы, когда они молча думают, что подобных им существует множество, что один человек приблизительно равноценен другому и что все они вместе взятые не слишком много стоят». — «Значит, ты считаешь ревность не чем иным, как простой грубостью и некультурностью?» — «Да, или неправильным воспитанием и извращенностью, что так же скверно, если не хуже того. По этой системе самое лучшее, когда женятся вполне сознательно из вежливости и любезности; и, конечно, для таких субъектов должно быть столь же удобно, сколь и занимательно, находясь в состоянии взаимного презрения и живя рядом, жить фактически врозь. В особенности в женщинах может развиваться настоящая страсть к браку; и когда такого рода женщина войдет во вкус, то легко может случиться, что она полдюжины мужей переменит одного за другим, сходясь с ними духовно или физически; тут никогда нет недостатка в случаях быть иной раз деликатными и пространно разговаривать о дружбе». — «Ты уже раньше говорил так, как будто ты не считаешь нас способными к дружбе. Неужели действительно таково твое мнение?» — «Да! Однако неспособность, думается мне, заключается больше в дружбе, чем в вас. Вы любите все, что вы любите, целиком, как возлюбленного или ребенка. Такой характер любви имел бы место у вас даже в отношениях между сестрами». — «В этом ты прав». — «Дружба для вас слишком многогранна и слишком однобока. Она должна быть чисто духовной и притом иметь вполне отчетливые границы. Это отграничение так же, только более утонченным образом, разрушало бы вашу сущность, как голая чувственность без любви. Для общества же она слишком серьезна, слишком глубока и слишком священна». — «Разве люди не могут беседовать между собою без того, чтобы думать о том, являются ли они мужчинами или женщинами?» — «Это могло бы оказаться весьма серьезным. В крайнем случае мог бы создаться интересный клуб. Ты понимаешь, что я имею в виду. Было бы уже достижением, если бы там можно было вести свободный

остроумный разговор, не будучи ни слишком диким, ни слишком тупым. Наиболее утонченное и лучшее, конечно, отсутствовало бы — то, что всегда там, где, хотя бы в небольшом числе, имеется хорошее общество, является его вдохновением и душой. Вот это и есть шутливая любовь, или любовь к шутке, которая, являясь бессодержательной, снижается до забавы. На этом основании я защищаю также и двусмысленности». — «В шутку или для забавы?» — «Нет, нет! Я это делаю вполне серьезно». — «Но не так серьезно и торжественно, как Паулина и ее любовник?» — «Упаси боже! Я представляю себе, что они заставили бы звонить в колокола, когда они обнимаются, если бы только это было пристойно. О, это верно, подруга моя, человек по природе серьезная bestия! Этой постыдной и пагубной склонности должно из всех сил и всесторонне противодействовать. Для этого хороши также и двусмысленности, только они так редко бывают двусмысленны; когда же они таковыми не являются и содержат лишь один смысл, тогда это не безнравственно, а докучливо и плоско. Легкомысленные беседы должны быть как можно более утонченными, изысканными и скромными; впрочем, они должны быть и достаточно дерзкими». — «Все это хорошо, только какое значение они имеют именно в обществе?» — «Они должны придавать разговору вкус, как соль — кушаньям. Вопрос должен заключаться не в том, для чего нужно говорить двусмысленности, но лишь в том, как их надо говорить, так как совсем опускать их нельзя и не должно. Было бы ведь просто грубостью разговаривать с очаровательной девушкой так, как если бы она была бесполой амфибией. Долг и обязанность заключается в том, чтобы всегда давать намеки на то, что она есть и чем будет; и в таком нечутком, тупом и преступном окружении, каким является современное общество, было бы в самом деле комично оставаться наивной девушкой». — «Это напоминает мне знаменитого шута, который сам часто был преисполнен печали, в то время как всех заставлял смеяться». — «Общество — это хаос, который должен быть организован и гармонизован, может быть, только при помощи остроумия; если же не шутить и не дурачиться с элементами страсти, то она сгущается в непроницаемые массы и затемняет все». — «Должно быть, здесь в воздухе сгустились страсти, так как уже почти темно». — «О дама сердца моего, вы, конечно, закрыли глазки! Иначе окружающая ясность непременно озарила бы комнату». — «Юлий!



Кто из нас более страстен, я или ты?» — «Оба мы в достаточной мере. Без этого я не мог бы жить. И, видишь ли: поэтому я способен был бы примириться с ревностью. В любви имеется все: дружба, изысканное обращение, чувственность, а также страсть; и в ней должно быть все, и одно должно усиливать и смягчать, оживлять и возвышать другое». — «Дай обнять тебя, мой верный друг!» — «Однако ревность я могу разрешить тебе только при одном условии: я чувствовал часто, что небольшая доза культурного утонченного гнева бывает не во вред мужчине. Возможно, что в отношении тебя так же обстоит дело с ревностью». — «Верно! Значит, мне не нужно полностью от нее отречься». — «Если бы только она всегда так мило и остроумно проявлялась, как сегодня у тебя!» — «Ты находишь? Ну, если в следующий раз ты остроумно и мило вспылишь, то я тебе также скажу об этом и воздам тебе похвалу». — «Разве мы теперь недостойны умиловить оскорбленных богов?» — «Да, если твоя речь вполне закончена, если же нет, то договаривай остальное».

### Ученические годы возмужалости

Играть в фараон с видом величайшей страстности и в то же время оставаться рассеянным и отсутствующим; в мгновение азарта рискнуть на все и после проигрыша равнодушно отвернуться — это было лишь одной из дурных особенностей, которыми отличалась буйная молодость Юлия. Одной этой особенности достаточно для того, чтобы обрисовать характер жизни, которая в самой полноте мятежных сил содержала неизбежные зачатки преждевременной испорченности. Любовь без объекта пылала в нем и разрушала его изнутри. По малейшему поводу пламя страсти вырывалось наружу; однако через короткий промежуток времени его страсть, — из гордости или своенравия, — казалось, сама отвергала свой объект и с удвоенной яростью возвращалась назад в себя и в него, чтобы снова беспощадно пожирать его сердце. Его мысль находилась в постоянном брожении; каждое мгновение он готов был встретить нечто необычайное. Ничто не могло бы его поразить, и меньше всего его собственная гибель. Без дела и без цели бродил он вокруг междувещами и людьми, как человек, который с трепетом ищет чего-то такого, от чего зависит все его счастье. Все могло его



прельстить и ничто не могло удовлетворить его. Этим объяснялось то, что распутный образ жизни привлекал его лишь до тех пор, пока он его не испробовал и не узнал ближе. Ни одно из проявлений распутства не могло превратиться для него в неотъемлемую привычку, ибо в нем было столько же презрения, сколько легкомыслия. Он мог вполне осмотрительно предаваться роскошествам и всецело погружаться в наслаждения. Однако ни здесь, ни в различных увлечениях и занятиях, куда ненасытная любознательность толкала часто его юношеский энтузиазм, он не находил высокого счастья, которого буйно требовало его сердце. Следы этого счастья обнаруживались всюду, обманывали и горечью отравляли его стремительность. Наибольшей прелестью обладали для него всякого рода знакомства и, как бы часто они ему ни надоедали, все же именно к общественным развлечениям он всегда в конце концов возвращался. Женщин он, в сущности, совсем не знал, несмотря на то, что рано привык с ними общаться. Они казались ему удивительно чуждыми, часто совсем непостижимыми и вряд ли существами его породы. Что же касается молодых людей, которые ему более или менее подходили, то к ним он устремлялся с горячей любовью и с настоящим пылом дружбы. Но это еще не являлось для него тем, чего он искал. Ему казалось, будто он готов обнять весь мир и не может ни за что ухватиться. Таким образом, он становился все более диким от неудовлетворенной тоски и чувственным — под влиянием разочарования в духовном; он совершал неразумные поступки из протеста против судьбы, и его безнравственность была действительно в некотором роде чистосердечной. Он видел пропасть перед собой, но считал, что не стоит труда умерять свой бег. Он предпочитал, подобно дикому охотнику, быстро и стремительно обрушиться с крутого обрыва, сквозь жизнь, чем, соблюдая предосторожности, изнемогать в медленной муке.

С таким характером он часто в самом оживленном и веселом обществе чувствовал себя одиноким, и, в сущности, менее всего он находил себя одиноким, когда с ним не было никого. Тогда он опьянялся образами надежды и воспоминания и намеренно предавался соблазну своей собственной фантазии. Каждое из его желаний возрастало с неизмеримой скоростью и почти без промежутков от первого тихого движения до безграничной страсти. Все его мысли принимали видимый образ и движение, так что их действия и взаимо-

действия отличались чувственной ясностью и интенсивностью. Ело вдохновение не только не стремилось удержать повода самообладания, но добровольно отбрасывало их прочь для того, чтобы весело и задорно кинуться в этот хаос внутренней жизни. Он мало пережил и все же был полон воспоминаний, относящихся также и к его ранней юности: ибо какое-нибудь особенное мгновение страстного настроения, разговор, шепот из глубины сердца, все это оставалось для него вечно дорогим и отчетливым, и даже по прошествии лет он помнил об этом так, как если бы это происходило только что. Но все, что он любил и о чем думал с любовью, являлось оторванным и единичным. Все его бытие представлялось его воображению множеством отдельных кусков без взаимной связи; каждый был полноценен и как бы сам по себе; то, другое, что в действительности находилось рядом и было с этим связано, являлось для него безразличным и как бы не существующим вовсе.

Он был еще не вполне испорчен, когда в лоне одиноких желаний святой образ невинности блеснул в его душе. Луч влечения и воспоминания пронзил и зажег ее, и этот опасный сон стал решающим для всей его жизни.

Он вспомнил об одной благородной девочке, с которой он в счастливые времена своей ранней юности дружески и весело забавлялся, побуждаемый чистой детской привязанностью. Так как он был первым, который благодаря своему интересу к ней очаровал ее, то это милое дитя устремило к нему свою душу, подобно тому как цветок поворачивается к солнечному свету. Сознание, что она была еще едва созревшей и стояла на пороге юности, делало его желание еще более непреодолимым. Обладать ею казалось ему высшим благом; он был уверен в том, что не может жить без этого, и решился на все. При этом малейшее соображение о мещанской морали внушало ему отвращение, как всякого рода насилие.

Он поспешил вернуться к ней и нашел ее более сформировавшейся, но такой же благородной, своеобразной, задумчивой и гордой, как и раньше. То, что волновало еще больше, чем ее любезность, было следами глубокого чувства. Казалось, что она, мило и поверхностно мечтая, скользит по жизни, как по цветущей равнине, и от его внимательного наблюдения не укрылась ее значительная склонность к безграничной страстности. Ее симпатия к нему, ее невинность, молчаливость и замкнутый характер легко предоставляли

ему случаи видеть ее одну; опасность, с этим связанная, только увеличивала очарование того, что он предпринял. Однако он с досадой должен был себе признаться, что ему не удавалось приблизиться к цели, и он упрекал себя в недостатке ловкости, чтобы совратить ребенка. Девочка охотно допускала с его стороны некоторые нежности и отвечала на них с робким сластолюбием. Однако, лишь только он пытался перейти известные границы, она, не производя впечатления обиженной, противодействовала ему с непреодолимым упорством, может быть, больше руководясь чужим запретом, чем собственным чутьем по отношению к тому, что во всяком случае дозволено, и к тому, что не дозволено ни в коем случае.

А между тем, он не уставал надеяться и наблюдать. Однажды он застал ее врасплох, когда она меньше всего этого ожидала. Перед тем она долго была одна, предоставленная на более длительный, чем обычно, промежуток времени своей фантазии и неопределенной тоске. Когда он это заметил, то решил не упускать мгновения, которое, возможно, никогда не повторится, и, окрыленный внезапной надеждой, пришел в состояние опьянительного вдохновения. С губ его полился поток просьб, комплиментов и софизмов, он осыпал ее нежностями и, вне себя от восторга, почувствовал, как прелестная головка опустилась, наконец, к нему на грудь, подобно тому как слишком распустившийся цветок томно поникает на своем стебле. Без колебания прильнула к нему стройная фигурка, шелковистые локоны золотых волос заструились по его руке, в нежном ожидании приоткрылся бутон очаровательного рта, и в кротких темно-синих глазах вспыхнул алчущий непривычный огонь. Лишь слабый протест оказывала она его дерзновеннейшим ласкам. Скоро она и совсем перестала сопротивляться, ее руки внезапно поникли, и все оказалось ему предоставленным: вся ее нежная девственная плоть с плодами юной груди. Но в то же мгновение потоки слез хлынули из ее глаз, и самое горькое отчаяние исказило ее лицо. Юлий сильно испугался; не столько потому, что увидел слезы, сколько оттого, что к нему сразу же вернулось полное сознание. Он подумал обо всем, что только что произошло и что должно было за этим последовать: о жертве перед ним и о жалкой судьбе человеческой. Холодная дрожь пробежала по его телу, и тихий вздох, вырвавшись из глубины, сорвался с его губ. С высоты своего переживания он

почувствовал презрение к самому себе и забыл действительность и свое намерение в мыслях о всеобщей сострадательности.

Мгновение было упущено. Он пытался лишь утешить и успокоить милого ребенка и с отвращением поспешил покинуть место, где самовольно намеревался разорвать венок невинности. Он отлично знал, что многие из его приятелей, которые еще меньше верили в женскую добродетель, чем он, нашли бы его поведение ненаходчивым и смешным. Он и сам приходил почти к тому же заключению, когда начинал хладнокровно размышлять. Вместе с тем, он все же находил свою глупость превосходной и интересной. Он держался того мнения, что благородные люди в житейских обстоятельствах неизбежно в глазах толпы должны казаться простачками или сумасшедшими. Так как при следующем свидании Юлий не без лукавства заметил или вообразил, что девочка казалась скорее недовольной, что ее не соблазнили до конца, он укрепился в своем недоверии к женской добродетели и повергся в острое ожесточение. Его отношение к ней превратилось в нечто вроде презрения, для которого, собственно, он имел так мало оснований. Он скрылся, опять ушел в свое одиночество и предоставил пожирать себя своей тоске.

Итак, он снова погрузился на время в прежний образ жизни, в котором чередовались меланхолия и бесшабашность. Единственный друг, обладавший достаточной силой и серьезностью, чтобы его утешить, занять и задержать на пути к гибели, был далеко; таким образом, его тоска оставалась безысходной также и с этой стороны. Однажды он порывисто протянул руки к отсутствующему, как будто тот должен был, наконец, появиться, и снова безутешно опустил их, после долгого и напрасного ожидания. Он не пролил ни одной слезы, но его душа впала в агонию безнадежной тоски, от которой он избавился только для того, чтобы совершить новые безрассудства.

Он громко радовался, оглядываясь в лучах роскошного утреннего солнца на город, который он любил еще ребенком, в котором он прожил все это время и который он теперь надеялся оставить навсегда. Он предвкушал уже неизведанную жизнь новой родины, которая ожидала его на чужбине и образы которой он успел уже пылко полюбить.

Вскоре он нашел другое очаровательное местожительство, где его, правда, ничто не связывало, но зато многое

притягивало. Все его силы и склонности пробудились под влиянием новой обстановки; без меры и без цели для своего внутреннего содержания принял он участие во всех проявлениях внешней жизни, которые хоть сколько-нибудь были примечательны, откликаясь на все, его окружающее.

Но, почувствовав скоро и в этой шумихе пустоту и скуку, он стал часто возвращаться к своим одиноким грезам и по-старому ткать узоры своих неудовлетворенных желаний. Однажды он даже проронил слезу из жалости к себе, когда заглянул в зеркало и увидел, как мрачно и колюче горел в его темных глазах огонь подавленной любви, как под непокорными черными кудрями легкие морщинки врезались в воинственный лоб и как побледнели его щеки. Он вздохнул о своей бесполезной юности; но тут существо его возмутилось, и из числа красивых знакомых женщин он выбрал ту, которая жила свободнее всех и больше всех блистала в хорошем обществе. Он решил добиваться ее любви, и он позволил своему сердцу целиком наполнить себя этим объектом. То, что так дико и причудливо началось, не могло нормально кончиться; его избранница, которая была столь же тщеславна, сколь красива, должна была найти странным, и даже более чем странным, то, как Юлий с серьезнейшей тщательностью повел свою осаду, то проявляя себя при этом дерзким и уверенным, как старый волокита, то робким и неумелым, как полнейший новичок. Проявляя себя столь странно, он должен был быть гораздо богаче, чем он был, чтобы иметь такие притязания. Ее отличала непринужденная и оживленная манера держаться, и ему казалось, что она обладает даром изысканной речи. Однако то, что он принимал у любимой за божественное легкомыслие, являлось не чем иным, как бессодержательным увлечением, без подлинной радости и веселости, а также и без вдохновения; в ней было ровно столько ума и хитрости, сколько требуется для того, чтобы всех умышленно и бесцельно приводить в смятение, заманивать в свои сети мужчин и управлять ими и чтобы опьяняться их поклонением. К несчастью для Юлия, эта дама проявила по отношению к нему некоторые знаки благосклонности; эти знаки были из тех, которые ни к чему не обязывают, потому что проявляющая их никогда не призналась бы в своей благосклонности, и которые волшебством скрытности неразрывнее связывают пойманного новичка. Уже один украденный взгляд, одно рукопожатие, одно слово, сказанное лишь

ему одному, могли его околдовать, если бы только простой и дешевый дар был приправлен хотя бы видимостью своеобразной и особой значительности. Ему показалось, что она подарила ему еще более явный знак внимания, и он почувствовал себя глубоко обиженным тем, как мало она его понимала, так спеша ему навстречу. Он гордился сознанием того, что это его обидело, и в то же время его безмерно очаровывала мысль, что нужно только быть проворным и использовать благоприятную возможность, чтобы беспрепятственно подойти к цели. Он уже осыпал себя горькими упреками за свою медлительность, когда внезапно в нем возникло подозрение, что ее инициатива — это лишь обман и что на самом деле она поступает с ним нечестно; и так как один его приятель дал ему на этот счет исчерпывающее разъяснение, у него не могло остаться никаких сомнений. Он понял, что его находят смешным, и должен был себе признаться, что это вполне естественно. Он пришел в некоторую ярость и легко наделал бы бед, если бы в результате его внимательных наблюдений эти пустые люди с их маленькими связями и разрывами, со всей игрой их тайных намерений и задних мыслей, не внушили ему глубокого презрения. Потом он снова сделался неуверенным, и так как его мнительность перешла теперь уже всякие границы, он стал относиться с недоверием к собственному недоверию. То видел он корень зла только в своем своенравии и чрезмерной чувствительности, и это предположение придавало ему новые надежды и новое доверие; то во всех злополучиях, которые в самом деле, казалось, его преследовали, он видел лишь искусное дело ее мести. Все колебалось, и только то становилось для него все яснее и определеннее, что законченное шутовство и глупость в общем являются подлинным преимуществом мужчины, своенравная же злоба в соединении с наивной холодностью и смеющейся бесчувственностью — прирожденным искусством женщин. Это было все, чему он научился посредством напряженного стремления к познанию человека. В отдельных случаях он, всегда остроумным образом, делал промахи, ибо всюду предполагал искусственные намерения и глубокую связь и не имел никакого чутья к незначительному. При этом возрастала его страсть к игре; связанные с ней запутанные сцепления обстоятельств, странности и счастливые случайности интересовали его, так же как он при более значительных обстоятельствах, побуждаемый простой причудой, решался

на ответственную игру со своими страстями и их объектами или только думал, что решался.

Итак, он все сильнее запутывался в интригах дурного общества, а то, что ему еще оставалось в смысле времени и сил в этом водовороте развлечений, он предоставил одной девушке, которую он стремился обладать как можно более безраздельно, хотя он нашел ее среди тех, которые почти открыто принадлежат всем. Делало ее для него столь привлекательной не только то, благодаря чему она была для всех желанной и всеми одинаково прославленной, — ее редкая опытность и неисчерпаемая разносторонность во всех соблазнительных искусстваа чувственности. Еще более сильное впечатление производило на него ее наивное остроумие, блестящие искры ее неотшлифованного ума, сильнее же всего — ее решительные манеры и ее последовательное поведение. Будучи весьма испорченной, она проявляла своего рода характер; ее отличало множество своеобразных особенностей, и ее эгоизм был также особого порядка. Наряду с независимостью, она ничего так безмерно не любила, как деньги, но она умела ими распоряжаться. При этом она была нетребовательна к тем, кто был не слишком богат, и даже по отношению к другим была чистосердечна в своем стяжательстве и лишена какого-либо коварства. Она казалась беззаботно живущей только настоящим и тем не менее постоянно думала о будущем. Она экономила в мелочах, для того чтобы расточать на свой манер в крупном и чтобы иметь наилучшее в области изысканной роскоши. Ее будуар отделан был просто и без обычной мебели, только со всех сторон были наставлены большие ценные зеркала, а там, где оставалось свободное место, висели хорошие копии сладострастных картин Корреджо и Тициана, а также несколько хороших оригиналов, изображающих свежие цветы и фрукты; вместо ламбрекенов — самые живые и веселые изображения, гипсовые слепки с античных барельефов; вместо стульев — настоящие восточные ковры; обстановку дополняло несколько мраморных групп в половину человеческого роста: сластолюбивый фавн, почти преодолевший сопротивление спасавшейся бегством и в изнеможении упавшей нимфы; Венера, приподнявшая одежду и с улыбкой созерцающая свои сладострастные бедра, и другие такого же характера изображения. Здесь она часто сидела на турецкий манер в одиночестве целые дни напролет, праздно опустив руки на колени, так как она

презирала все женские работы. От поры до времени она освежалась благовонными ароматами и при этом заставляла своего жокея, красивого мальчика, которого она нарочно соблазнила уже на четырнадцатом году его жизни, читать себе вслух повести, описания путешествий и сказки. Слушала она довольно рассеянno, и только те места привлекали ее внимание, где описывалось что-нибудь смешное, или те, которые содержали какое-нибудь замечание общего характера, которое она тоже признавала верным. Ибо она вообще ни на что не обращала внимания и не имела склонности ни к чему, кроме реальности, находя всю поэзию смешной. Когда-то она была актрисой, но лишь в течение короткого времени, и она охотно смеялась над своей непригодностью для этой профессии и над той скукой, которую ей там пришлось испытать. Одной из ее многочисленных особенностей было то, что она в таких случаях говорила о себе в третьем лице. Точно так же и когда она рассказывала, она называла себя только Лизеттой, и говорила, что если бы она была писательницей, то описала бы свою собственную историю, но так, как если бы она говорила о ком-нибудь другом. Музыку она не воспринимала никак, зато в области изобразительных искусств обнаруживала столько чутья, что Юлий часто беседовал с ней о своих работах и о своих идеях и считал наиболее удачными из своих набросков те, которые он делал на ее глазах и в то время, как она говорила. Однако в статуях и рисунках она ценила только живую силу, а в картинах — только волшебство красок, правдивость в передаче тела и, во всяком случае, световые эффекты. Если же кто-нибудь говорил ей о правилах, об идеале и о так называемом рисунке, она начинала смеяться или переставала слушать. Но для того чтобы попробовать свои силы в этой области, — как ни много добровольных учителей предлагали ей свои услуги, — она была слишком ленива и избалована и слишком ценила преимущества своего образа жизни. Кроме того, она не доверяла никакой лести и была убеждена в том, что никакие усилия не помогут ей сделать в области искусства ничего выдающегося. Когда хвалили ее вкус и ее комнату, в которую она лишь изредка вводила только избранных любимцев, она в ответ на это начинала юмористически прославлять сначала добрую старую судьбу, лукавую Лизетту и вслед за этим англичан и голландцев в качестве представителей наилучших среди всех известных ей национальностей, так как полная касса некоторых новичков



этого рода положила хорошее начало ее богатой обстановке. Вообще она очень радовалась в тех случаях, когда ей удавалось обойти глупца; но она делала это забавным, почти ребяческим образом, остроумно и скорее из озорства, нежели из цинизма. Весь свой ум она обращала на то, чтобы оградить себя от назойливости и неделикатности мужчин, и это ей так хорошо удавалось, что даже грубые, развратные люди говорили о ней с искренним уважением, которое тем, кто ее не знал, но был осведомлен о ее профессии, казалось весьма комичным. Именно это впервые побудило любопытного Юлия завязать столь необычайное знакомство, и вскоре у него появилось еще больше оснований для изумления. Когда ей приходилось иметь дело с обыкновенными мужчинами, она терпела и делала то, что считала своей обязанностью, точно, ловко и искусно, но оставаясь совершенно холодной. Если же мужчина ей нравился, она вводила его даже в свой священный кабинет и, казалось, становилась совсем другим человеком. Ее охватывала тогда прекрасная вакхическая страсть; дикая, разнузданная и ненасытная, она почти забывала про свое искусство и впадала в состояние восторженного обоготворения мужского начала. Поэтому Юлий и любил ее, а также потому, что она казалась всецело ему преданной, хоть и не очень выражала это словами. Она скоро замечала, обладает ли умом тот или иной из ее новых знакомых, и, придя к положительному заключению, становилась открытой и сердечной и охотно предоставляла своему другу рассказывать ей обо всем, что знал он про белый свет. Многие содействовали расширению ее кругозора, однако никто так не понимал ее внутреннего содержания, как Юлий, никто не относился к ней так бережно и никто не уважал так ее подлинную ценность, как он. Поэтому она была привязана к Юлию больше, чем можно выразить словами. Может быть, впервые она с волнением вспомнила о своей ранней юности и невинности, и впервые ей не понравилось то окружение, которое до сих пор ее вполне удовлетворяло. Юлий это чувствовал и радовался этому, однако он не мог до конца преодолеть того презрения, которое внушали ему ее профессия и ее испорченность; неизгладимое недоверие, которым он с некоторых пор проникся, казалось ему здесь вполне уместным. Как он возмущался, когда однажды неожиданным образом она сообщила ему, что он имеет честь стать отцом. Ведь он знал, что она, несмотря на свое обещание, совсем недавно принимала

визиты другого. Она не могла отказать Юлию в этом обещании. Вероятно, она сама охотно бы его сдержала, но ей требовалось больше, чем то, что он мог ей давать. Она знала лишь один способ зарабатывать деньги, и из деликатности, которую она проявляла единственно по отношению к Юлию, она брала лишь незначительную долю того, что он ей предлагал. Всего этого не учел разгневанный юноша; он счел себя обманутым, он сказал ей это в жестких выражениях и оставил ее в самом возбужденном состоянии, как он думал, навсегда. Вскоре после этого его разыскал ее мальчик со слезами и жалобами, которые не прекращались до тех пор, пока Юлий не последовал за ним. Он нашел ее почти раздетой в уже темном кабинете; он опустился в любимые объятия, она прижала его к себе так же пылко, как и всегда, но ее руки сейчас же опустились. Он услышал глубокий стонущий вздох, — это был последний; и когда он взглянул на себя, то увидел, что он в крови. Преисполненный ужаса, он вскочил и хотел бежать. Он помедлил только для того, чтобы захватить с собою длинный локон, лежавший на полу около ножа, окрашенного кровью. Она только что обрезала его в экстазе отчаяния, перед тем как нанести себе многочисленные раны, из которых большинство оказались смертельными. Вероятно, у нее была мысль, что этим она в качестве жертвы предаст себя смерти и разрушению, ибо, по словам мальчика, она при эхом громким голосом говорила: «Лизетта должна погибнуть; погибнуть немедленно: так хочет рок, железный рок».

Впечатление, которое эта внезапная трагедия произвела на восприимчивого юношу, было неизгладимо и благодаря собственной силе вжигалось все глубже и глубже. Первым следствием гибели Лизетты было то, что воспоминания о ней он обоготворил мечтательным уважением. Он сравнил ее высокую энергию с ничтожными интригами той дамы, которая его завлекла, и его внутреннее чувство отчетливо подсказало ему, что Лизетта была нравственнее и женственнее, ибо та кокетка никогда не выражала той или иной степени благосклонности без побочных намерений; и, несмотря на это, весь свет уважал ее и восхищался ею, так же как и многими другими, ей подобными. В силу этого его разум горячо протестовал против всех ложных и справедливых мнений, которые изрекаются по поводу женской добродетели. Для него сделалось принципом сознательно презирать все общественные предрассудки, к которым до сих пор он относился

лишь пренебрежительно. Он вспомнил о нежной Луизе, которая едва не сделалась жертвой его соблазна, и пришел в ужас. Ведь и Лизетта была из хорошей семьи, рано совращена, похищена и брошена на чужбине, слишком горда, чтобы вернуться, и извлекла она из своего первого опыта столько, сколько другие не извлекут из последнего. С болезненным удовольствием собирал он те или иные любопытные черточки, относящиеся к ее ранней юности. В ту пору она была скорее грустной, чем легкомысленной, но в глубине ее уже тогда горело пламя, и даже когда она была маленькой девочкой, ее заставляли перед картинами с изображениями нагих фигур или при других обстоятельствах — в необычайных проявлениях самой порывистой чувственности.

Это исключение из того, что Юлий считал обычным для женского рода, было слишком единично, а то окружение, в котором он с ним столкнулся, — слишком нечисто, чтобы он мог прийти таким путем к представлению, соответствующему действительности. Его чувство скорее отталкивало его теперь почти вовсе от женщин и от общества, где они задавали тон. Он боялся своей страстности и всей душой стал искать дружбы с молодыми людьми, которые, как и он, были способны к воодушевлению. Им он отдал свое сердце, лишь они были для него подлинно существующими, остальную же массу обычных призрачных существ он с удовольствием презирал. Со страстью и виртуозностью спорил он мысленно со своими друзьями и размышлял по поводу их различных достоинств и отношений с ним. Он разгорячался в процессе собственных мыслей и воображаемых разговоров и опьянялся гордостью и сознанием своего мужского достоинства. Все они пылали также благородной любовью, здесь дремала большая неразвернувшаяся энергия, и нередко они говорили неотшлифованными, но меткими словами возвышенные вещи о чудесах искусства, о смысле жизни, о сущности добродетели и самоутверждении; преимущественно же о божественности дружбы между мужчинами, и эту дружбу Юлий решил сделать подлинным содержанием своей жизни. Он имел много таких дружеских связей и с ненасытностью заключал все новые и новые. С каждым мужчиной, который представлялся ему интересным, он стремился завязать такую связь и не успокаивался до тех пор, пока ему не удавалось этого достичь, преодолев сдержанность своего избранника юношеской настойчивостью и самоуверенностью.

Можно предположить, что Юлий, который, в сущности, все считал для себя дозволенным и не боялся оказаться в смешном положении, имел в качестве идеала и перед глазами благопристойность, несхожую с общепринятой.

В чувстве и обхождении одного друга он находил более чем женскую бережность и нежность при наличии возвышенного ума и твердого характера; другой вместе с ним пылал благородным негодованием по поводу плохих времен и мечтал о совершении великих дел. Обаятельный духовный облик третьего представлял собою еще только хаотический комплекс всевозможных потенций, но он отличался тонким пониманием всего и предощущением мира. Одного Юлий почитал в качестве своего наставника в области искусства, другого он считал своим учеником и лишь урывками снисходительно принимал участие в распутствах, для того чтобы до конца его распознать, расположить к себе и спасти его большое дарование, которое было так же близко к гибели, как и его собственное.

Цели, к достижению которых они со всей серьезностью стремились, были высоки. А между тем, все их стремление сводилось к красивым словам и превосходным желаниям. Юлий не подвигался вперед, настроение его не прояснялось, он не работал и ничего не создавал. Больше того, никогда он так не запускал своих занятий в области искусства, как именно тогда, когда его разглагольствования перед друзьями превращались в потоки планов и проектов всех работ, которые он намеревался выполнить и которые в момент его первоначального вдохновения представлялись ему уже законченными. В тех редких случаях, когда к нему возвращалась трезвость, он заглушал ее музыкой, являвшейся для него опасной бездонной пучиной тоски и уныния, в которую он охотно и добровольно погружался.

Это внутреннее брожение могло бы подействовать на него исцеляюще, из глубины отчаяния могли бы в конце концов возродиться спокойствие, твердость и просветленность. Но бушующая неудовлетворенность раздробляла его воспоминания, и никогда еще его представление об его целостном «я» не было столь беспомощным. Он жил только настоящим, к которому он припадал губами, изнемогающими от жажды, и без конца погружался в каждую неизмеримо малую и вместе с тем неисчерпаемую частицу чудовищного времени, как если бы только в ней ему, наконец, предстояло найти то, что

он уже так долго искал. Эта бушующая неудовлетворенность вскоре должна была разладить и расстроить его связи, даже с его друзьями, из которых большинство при наличии блестящих дарований отличалось такою же бездеятельностью и раздвоенностью, как он сам. Тот, казалось, его не понимал, другой восхищался лишь его умом, обнаруживая при этом недоверие к его сердцу, действительно несправедливое. Юлий почувствовал себя оскорбленным в своем сокровеннейшем достоинстве и разрывааемым тайной ненавистью. Этому чувству он предался без колебаний, ибо считал, что лишь того, кого должно уважать, можно ненавидеть, и что только друзья могут так глубоко оскорбить друг друга в самых нежных чувствах. Один юноша погиб по собственной вине; другой даже начал становиться совсем обыкновенным; с третьим его отношения расстроились и приняли почти банальный характер. Их взаимоотношения носили исключительно духовный характер, и такими им следовало бы оставаться; но именно потому, что они являлись такими утонченными, все-му суждено было осыпаться лепестками нежнейшего цветка, когда друзьям представился повод оказывать друг другу взаимные услуги. Возникшее между ними соревнование в великодушии и благодарности в конце концов привело к тому, что в самой сокровенной глубине души они начали предъявлять друг другу земные требования и друг друга сравнивать.

Вскоре случай беспощадно разрубил тот узел, который в порыве страсти был завязан лишь прихотью. Все больше и больше погружался Юлий в такое состояние, которое от сумасшествия отличалось лишь тем, что оно охватывало его лишь тогда и постольку, когда и поскольку он хотел ему предаваться. Если не считать этого, то поведение Юлия соответствовало всем правилам каждого приличного общественного порядка, и как раз теперь его начали называть благоразумным; это объяснялось тем, что смятение всяческих страданий производило свою разрушительную работу в глубине его сознания и болезнь его духа все глубже и затаеннее подтачивала его сердце. Это было скорее безумие чувств, чем повреждение разума, и болезнь эта была тем опаснее, что внешне он казался веселым и безмятежным. Таково было его обычное настроение, и Юлия находили даже приятным. И только когда ему случалось выпить вина больше чем обычно, он становился чрезвычайно грустным и склонным к жалобам и слезам. Но даже и в таких случаях его

речь в присутствии посторонних пенилась горьким остроумием и насмешками надо всем, или же он вел свою игру с чудаковатыми и глупыми людьми, общение с которыми он теперь всему предпочитал. Он умел приводить их в наилучшее настроение так, что они простодушно делились с ним всеми своими помыслами, показывая себя такими, какими они были на самом деле. Обыденность возбуждала и забавляла его не по причине его любезной снисходительности, но оттого, что она была глупой и сумасбродной.

О себе самом он не думал, лишь от поры до времени его пронизывала уверенность, что он внезапно должен погибнуть. Раскаяние он подавлял посредством гордости, а мысли и образы самоубийства были так знакомы ему еще со времен его первоначальной юношеской тоски, что они успели утратить для него очарование новизны. Он был бы вполне способен привести в исполнение такое решение, если бы он вообще был способен прийти к какому бы то ни было решению.

Ему казалось, что такой исход едва ли стоит усилий, так как он не хотел надеяться, что ему таким путем удалось бы избежать скуки существования и отвращения к судьбе. Он презирал мир и все и гордился этим.

Но и от этой болезни, так же как и ото всех предыдущих, он исцелился и избавился при первом же взгляде на одну женщину, которая была единственной и которая впервые захватила его душу, целиком и в самой ее сердцевине. До сих пор его страсти играли только на поверхности, или же это были преходящие состояния без всякой взаимной связи. Теперь же его охватило новое, незнакомое чувство, говорившее ему, что один лишь данный объект его устремлений является настоящим и что такое впечатление останется у него вечно. Первый взгляд был уже решающим, при вторичном же взгляде он это осознал и сказал себе, что теперь пришло и действительно находится здесь то, что он так долго смутно ожидал. Он изумился и пришел в ужас, так как, поскольку он думал, что высшим благом для него было быть ею любимым и вечно ею обладать, он при этом чувствовал, что это высшее и единственное его желание вечно будет для него неосуществимым: она уже сделала свой выбор и отдала себя; ее друг был также и его другом и жил достойно ее любви. Юлий был его поверенным, поэтому он подробно знал о том, что делало его несчастным, и со всей строгостью судил о своей недостойности. Против нее восстала вся сила его страсти. Он отрешился от

надежды и от счастья, но он решил его заслужить и стать господином над самим собой. Ничто не являлось для него столь ненавистным, как мысль о том, что он каким-нибудь неясным словом или заглушенным вздохом может выдать хотя бы малейшую частицу того, что его наполняет. Разумеется, любое проявление чувства было бы неразумным, и поскольку он был таким пылким, она — такой нежной, и взаимоотношения — такими хрупкими, то даже одно какое-нибудь движение из тех, которые кажутся произвольными и все же хотят быть замеченными, повело бы все дальше и окончательно бы все запутало. Поэтому всю свою любовь он оттеснил в самую глубину своего внутреннего мира и там предоставил своей страсти бушевать, пылать и пожирать его; но внешний вид его производил совсем иное впечатление, и ему так хорошо удавалась роль ребяческой непринужденности, неопытности и своего рода братской жесткости, которую он взял на себя для того, чтобы как-нибудь от лесты не перейти к нежности, что в ней никогда не возникало ни малейшего подозрения. В своем счастье она чувствовала себя ясно и легко, ни о чем не догадывалась, а следовательно, и ничего не боялась; напротив, она предоставляла полную свободу и своему остроумию и своему капризу, когда находила его нелюбезным. Вообще ее природе свойственно было все высокое и все грациозное, что только может быть свойственно женской природе: каждая черта божественного и каждое проявление шаловливости, но все это носило печать утонченности, культуры и женственности. Свободно и мощно развивалась и проявляла себя каждая отдельная особенность, как если бы была единственной, и, тем не менее, это богатое, дерзкое смешение столь различных вещей в целом не являлось просто сумятицей, ибо его одушевляло вдохновение, живое дыхание гармонии и любви. Она могла в течение одного и того же часа изображать какую-нибудь комическую сцену с выразительностью и тонкостью заправской актрисы и читать возвышенные стихи с чарующим достоинством безыскусственного напева. То ей хотелось блистать и развлекаться в обществе, то она вся превращалась во вдохновение, то помогала советом и делом, серьезно, скромно и дружески, как самая нежная мать. Малейший эпизод, благодаря ее манере рассказывать, становился очаровательным, как красивая сказка. Все понижывала она чувством и остроумием; во всем она обладала вкусом, и все выходило облагороженным из ее творческой



руки, из ее сладкоречивых уст. Ни одно из проявлений хорошего и великого не было для нее столь святым или столь обыкновенным, чтобы воспрепятствовать ей принимать в нем страстное участие. Она воспринимала каждый намек и отвечала даже на вопрос, который не был произнесен. Произносить речи перед ней было невозможно; они сами собою принимали форму беседы, и по мере возрастающего интереса на ее лице отражались все новые оттенки одухотворенных взглядов и милых выражений. Казалось, что видишь эти оттенки выражений, меняющиеся соответственно содержанию того или другого места, при чтении ее писем, — так проникновенно и задушевно писала она о том, что мыслилось ею в форме разговора. Кто знал ее только с этой стороны, мог подумать, что она была только любезной, что она могла бы заворочить в качестве артистки и что ее крылатым словам не хватало лишь размера и рифмы, чтобы превратиться в нежную поэзию. И однако именно эта женщина в каждом решающем случае выказывала, к удивлению, мужество и силу, и это было также тою высокою точкой зрения, с которой она судила о достоинстве людей.

Это величие души было той стороной, с которой Юлий главным образом и познавал ее существо в начале своей страсти, ибо эта сторона наилучшим образом соответствовала серьезности его чувства. Все существо его равномерно отступило с поверхности в глубину; он погрузился в полную замкнутость и удалился от общения с людьми. Суровые скалы были его излюбленным обществом, на берегу пустынного моря следил он за своими мыслями и советовался с самим собой; и когда свистящий ветер шумел в высоких елях, то ему казалось, что могучие волны глубоко под ним из участия и сострадания стремились к нему приблизиться, и с тоскою смотрел он вслед далеким кораблям и заходящему солнцу. Это был его любимый уголок, который превратился для него благодаря воспоминанию в священную отчизну всех его страданий и решений.

Обожествление его возвышенной подруги сделалось для его духа прочным средоточием и основанием нового мира. Здесь исчезали все сомнения; благодаря этому подлинному благу он чувствовал ценность жизни и предугадывал всемогущество воли. Он стоял поистине на свежей зелени крепкой материнской почвы, и новые небеса безграничным сводом расстилались над ним в голубом эфире. Он осознал в себе



высокое призвание к божественному искусству. Он проклял свою лень за то, что так далеко отстал в своем художественном развитии, и — свою бывшую изнеженность за то, что она мешала каждому мощному напряжению. Он не позволил себе погрузиться в праздное отчаяние, но последовал пробудившемуся в нем голосу священного долга. Он пустил в ход все средства, которые только остались у него от его прежней расточительности. Он разорвал все свои прежние связи и одним ударом вернул себе полную независимость. Свои силы и свою юность он посвятил возвышенному труду художника и вдохновению. Он забыл о своей современности и развивался по примеру героев древности, руины которой он благоговейно любил. Также и для него действительность не существовала, так как он жил только в будущем и в надежде когда-нибудь создать бессмертное произведение в качестве памятника своей добродетели и своего достоинства.

Так он страдал и жил в течение многих лет, и те, которые с ним встречались, считали его старше, чем то было в действительности. То, что он творил, являлось значительным по замыслу и создано было в старинном стиле, но серьезность, которая пронизывала его произведения, была устрашающей, формы носили характер чудовищного преувеличения, античность искажалась жесткостью его изобразительной манеры, и его картины при всей их основательности и продуманности оставались застывшими и окаменевшими. Многие в них было достойно похвал, лишь миловидность в них отсутствовала; и в этом он сам был похож на свои произведения. Его характер закалился в чистом огне страдания божественной любви и сверкал светлой силой, но он был суровым и твердым, как настоящая сталь. Его спокойствие объяснялось его холодностью, и только тогда он приходил в волнение, когда величественная дикость пустынной природы больше обычного его восхищала, когда он мысленно давал своей далекой подруге правдивый отчет в борьбе за свое развитие и в той цели, которую преследовала вся его работа, или же когда его так охватывал энтузиазм искусства в присутствии других, что после долгого молчания несколько крылатых слов вырывалось из глубины его души. Но это случалось редко, так как он проявлял так же мало участия к людям, как и к самому себе. По поводу их счастья и их начинаний мог он только приветливо улыбаться, и он верил им на слово, когда замечал, каким они его находили неприятным и нелюбезным.

Несмотря на это, одна знатная дама, казалось, обратила на него некоторое внимание и оказывала ему предпочтение. Ее тонкая душа и нежность ее чувствования вызывали живейшее влечение с его стороны, тем более, что они сочетались с очарованием привлекательного и при том необычного внешнего облика и с впечатлением от ее глаз, преисполненных выражением тихой меланхолии. Но как только у него появлялось желание сделаться более сердечным, его охватывало прежнее разочарование и привычная холодность. Он видел ее часто и все же не мог высказаться, но вскоре и этот поток чувства отхлынул назад во внутреннее море всяческого вдохновения. Даже владычица его сердца отступила назад в священный мрак и осталась бы ему чуждой, если бы они снова когда-нибудь встретились.

Единственное, что настраивало его мягче и теплее, было общение с другой женщиной, которую он уважал и любил, как сестру, и на которую он так и смотрел. Он уже давно состоял с нею в приятельских отношениях. Она была болезненной и несколько старше, чем он; при этом, однако, обладала ясным зрелым умом, прямым здравым смыслом и даже в глазах посторонних была бесконечно справедлива и в то же время любезна. Все, что она предпринимала, подчинялось духу ласкового упорядочения, и как бы сама собою ее деятельность развивалась постепенно из предыдущей и незаметно связывалась с последующей. С такой точки зрения Юлий определенно понял, что нет никакой другой добродетели, кроме последовательности. Только это была не застывшая холодная согласованность предвзятых принципов или предубеждений, но постоянная верность материнского сердца, которое с застенчивой силой расширяет и завершает в себе самом круг своего воздействия и своей любви и превращает грубые явления окружающего мира в уютную собственность и предмет общественной жизни. При этом ей чужда была всякая ограниченность, свойственная домовитым женщинам, и с глубокой бережностью и проникновенной мягкостью говорила она о господствующих мнениях и об отклонениях и исключениях из общего правила тех, которые плывут против течения; ее ум был безупречен в такой же мере, в какой ее чувство — чисто и нелицемерно. Говорила она охотно, главным образом о нравственных предметах, причем часто переводила споры на общие вопросы и находила удовольствие в остротах, когда они звучали осмысленно и казались содержательными. Она

не сэкономила слов, и ее высказывания никогда не носили характера боязливой упорядоченности. Это было очаровательное смешение отдельных реплик и общей участливости, продолжительной внимательности и внезапной рассеянности.

Материнская добродетель этой превосходной женщины была, наконец, вознаграждена природой, и под ее верным сердцем, когда она меньше всего на это надеялась, зачалась новая жизнь. Это преисполнило юношу, который был так привязан к ней и принимал такое теплое участие в ее семейном счастье, живейшей радостью; но это событие всколыхнуло в нем многое из того, что в течение долгого времени молчало.

Так как некоторые художественные попытки Юлия пробудили в его груди новую уверенность, а первое одобрение больших мастеров его ободрило; так как искусство привело его в новые достопримечательные места, где его окружали новые веселые люди, то чувство его смягчилось и потекло мощно, как большой поток, когда лед тает и ломается, и волны с новой силой прорываются вперед по старому руслу.

Он был удивлен, почувствовав себя снова непринужденно и весело в обществе людей. Его образ мыслей сделался мужественным и суровым, но его сердце за время одиночества стало снова наивным и робким. Он тосковал по некоей родине и мечтал о хорошем браке, который бы не шел вразрез с требованиями искусства. И когда он оказывался в цветнике молодых девиц, то он часто находил одну или многих из них достойными любви. Ему казалось, что жениться на той или иной девушке он готов был бы немедленно, если уж он не мог ее полюбить. Ведь понятие и даже самое слово «любовь» было для него священнейшим и оставалось совсем вдалеке. При таких обстоятельствах он усмехался по поводу кажущейся ограниченности своих мгновенных желаний и остро чувствовал, как бесконечно многого ему бы еще не хватало, если бы по мановению волшебного жезла эти желания внезапно исполнились. В другой раз он смеялся еще больше над своей пылкостью, пробудившейся после столь длительного воздержания, когда случай предоставил ему возможность легко и безмятежно вкусить наслаждение и когда благодаря роману, который был начат, завершен и ликвидирован в течение нескольких минут, его душа освободилась и облегчилась по крайней мере от некоторого количества горючего материала.

Он понравился одной весьма образованной девушке благодаря тому, что с явной искренностью восхищался ее воодушевленными разговорами и всем ее обаятельным внутренним обликом; и так как в его лице она обрела поклонника, который обходился без всякой лести и только манерой обращения с ней выражал свое обожание, то она мало-помалу все ему позволила, кроме последнего. И даже этот предел она поставила ему не из-за холодности, а также не из предусмотрительности и не принципиально, так как она отличалась достаточно легкой возбудимостью, имела определенно выраженную склонность к легкомыслию и жила в весьма свободных условиях. Ее удерживали женская гордость и боязнь перед тем, что она считала звериным и грубым. Юлий невольно улыбался скудному воображению этого извращенного и причудливого существа, при мысли о творчестве и воздействии всемогущей природы, о ее вечных законах, о высоте и величии материнства, о красоте мужчины, преисполненного здоровьем и любовью и охваченного экстазом жизни, и о красоте женщины, отдающейся этому экстазу; но как ни мало соответствовало его характеру такое начало без завершения, тем не менее, при данных обстоятельствах он был рад убедиться в том, что он еще не утратил вкуса к нежному и утонченному наслаждению.

Скоро, однако, он забыл как эту, так и другие подобные мелочи, так как встретил молодую художницу, которая, подобно ему, страстно поклонялась прекрасному и, казалось, так же, как и он, любила одиночество и природу. Все ее пейзажи были как бы схвачены единым взглядом, и в них можно было видеть и чувствовать живое дуновение настоящего воздуха. Контуры в них были слишком неопределенны и манерой своего исполнения выдавали недостаточно основательную школу. Однако массы были удачно согласованы в некоем единстве, которое ощущалось так ясно и отчетливо, что, казалось, ничего другого при этом и нельзя было почувствовать. Она занималась живописью не в качестве ремесла или искусства, но лишь ради удовольствия и любви к ней; каждый кусок действительности, который нравился ей или интересовывал ее во время ее странствий, она набрасывала на бумагу, в зависимости от времени и настроения, пером или акварелью. Для работы маслом ей не хватало терпения и усердия, и она редко принималась за портрет; только в тех случаях, когда ей попадалось лицо, которое она считала

выдающимся и значительным, она работала с добросовестнейшей тщательностью и правдивостью в передаче натуры и умела добиваться от пастели чарующей мягкости. Пусть для искусства ценность этих опытов была условной и незначительной, все же Юлий радовался немало очаровательной дикости ее пейзажей и тому дару, благодаря которому она передавала неисчерпаемое многообразие и чудесную согласованность черт человеческого лица, и, как бы ни были просты черты лица самой художницы, они все же не были незначительны, и Юлий находил в них большую выразительность, которая всегда была ему нова.

Люцинда обладала решительной склонностью к романтическому; Юлий был поражен этим новым проявлением сходства между ними, и, чем дальше, тем больше проявлений он обнаруживал. Подобно ему, Люцинда была из тех, кто живет не в обыденности, но создает свой собственный, выдуманный мир, построенный по собственным законам. Только то, что она сердечно любила и почитала, являлось для нее действительным, все остальное для нее не существовало. И она знала, что обладает подлинной ценностью. Подобно ему, она со смелой решимостью отбросила от себя все посторонние соображения, разорвала все путы и жила вполне самостоятельно и независимо.

Чудесное сходство привлекало юношу все ближе к новой знакомой; он увидел, что и она создавала это сходство, и вскоре оба заметили, что они друг другу не безразличны. Прошло еще немного времени с начала их знакомства; Юлий решался лишь на отдельные отрывочные слова, которые были значительны, но не отчетливы. Он стремился больше узнать о судьбе и прежней жизни Люцинды, которая в этом отношении, в противоположность другим, была очень несобщительна. Она не без сильного волнения призналась ему, что была уже матерью красивого крепкого мальчика, которого вскоре отняла у нее смерть. Юлий также погрузился в воспоминания, и, по мере того как он рассказывал ей о прошлом, его жизнь впервые предстала перед ним в виде осмысленной истории. С каким удовольствием говорил с ней Юлий о музыке и как он обрадовался, услышав из ее уст о своих самых сокровенных и индивидуальных мыслях по поводу священных чар этого романтического искусства! Когда он слышал ее пение, которое чисто и мощно поднималось из ее глубокой и нежной души; когда он присоединил к нему свой голос и их

голоса то сливались воедино, то чередовались в вопросах и ответах по поводу нежнейших ощущений, для которых нет слов, — он не мог удержаться, он напечатлел робкий поцелуй на свежих устах и огненных очах ее. С безграничным восторгом почувствовал он, как божественная голова высокого создания склонилась к его плечу; черные локоны, рассыпались по белоснежной груди и прекрасной спине; он тихо сказал: «Восхитительная женщина!» — и в этот миг роковой гость неожиданно появился в комнате.

Теперь она, по его понятиям, в сущности, позволила ему все; он считал для себя невозможным мудрствовать лукаво при наличии взаимоотношений, которые представлялись ему такими чистыми и такими значительными, и все же малейшее промедление являлось для него невыносимым. От божества, думал он, желают не того, что представляется лишь переходом и средством, но ему открыто, с упованием признаются в том, что является целью всех желаний. Поэтому и он с невинной непринужденностью попросил у нее всего, о чем можно просить возлюбленную, и в потоках красноречия нарисовал ей картину того, как его страстность будет его опустошать, если она захочет быть чересчур женственной. Такое признание немало изумило ее, однако она интуитивно чувствовала, что после обладания Юлий проявит себя более любящим и преданным, чем раньше. Она не могла прийти ни к какому решению и предоставила это обстоятельствам, которые привели все к лучшему. Лишь немного дней провели они вдвоем, и Люцинда отдалась ему навеки, открыв ему глубину своей души и всю силу, естественность и возвышенность, которые в ней таились. Люцинда, подобно Юлию, вела вынужденно замкнутый образ жизни, и вот теперь среди объятий в потоках речей из сокровенной глубины сразу прорвались наружу доверчивость и долго сдерживаемая общительность. Несколько раз в течение ночи они принимались то порывисто плакать, то громко смеяться. Они всецело предались друг другу и слились воедино, и все же каждый оставался вполне самим собою, даже в большей мере, чем когда-либо, и каждое внешнее проявление было преисполнено глубочайшим чувством и индивидуальнейшим своеобразием. То охватывал их безграничный экстаз, то начинали они забавляться и шутить, и тогда Амур действительно был здесь веселым ребенком, чем он, вообще говоря, бывает так редко.

То, что открылось юноше благодаря общению с его подружкой, показало ему, что только женщина может быть подлинно несчастной и подлинно счастливой; он понял, что только те женщины, которые в лоне человеческого общества остались детьми природы, обладают той детской непосредственностью, с которой надо принимать дары и милости богов. Он научился ценить найденное им необыкновенное счастье, и когда он сравнивал его с недостойным, ненастоящим счастьем, которым он, руководимый случайным капризом, хотел когда-то овладеть искусственным путем, оно представилось ему настоящей розой на живом стебле рядом с поддельной. Однако ни в упоении ночей, ни среди дневных радостей Юлий не хотел назвать это счастье любовью. Ведь когда-то он так убедил себя в том, что любовь не для него и он не для нее! В подтверждение этого самовнушения он вскоре установил различие между любовью и тем, что, по его мнению, связывало их обоих. К ней он испытывает пылкую страсть и навсегда останется ее другом; то, что чувствовала к нему она, и то, что она ему давала, он называл нежностью, воспоминанием, преданностью и надеждой. Таково было его мнение.

А между тем, время текло и увеличивалась радость. В объятиях Люцинды Юлий снова нашел свою молодость. Роскошное развитие ее прекрасного стана было для неистовства его любви и его чувств очаровательнее, чем свежая прелесть груди и чистота девственного тела. Порывистая сила и теплота ее объятий были более чем девическими; они говорили об экстазе и глубине, которые могут появиться только у матери. Когда он увидел ее, залитую волшебным отсветом нежного заката, он не мог прекратить ласковых прикосновений к волнистым очертаниям ее тела, ощущая через тонкую оболочку гладкой кожи теплые течения нежнейшей жизни. А в это время взор его упивался цветом, который, благодаря воздействию теней, казался многообразно меняющимся и все-таки оставался тем же. Это было чистое смешение цветов, и нигде не выделялся один только белый, коричневый или красный в отдельности. Все это затуманилось и растворилось в одном-единственном гармоничном сиянии умиротворенной жизни. Юлий тоже был прекрасно сложен, но мужественность его фигуры проявлялась не в выпирающей наружу силе мускулов. Контуры были скорее плавными, члены — развитыми и округлыми, но нигде не было чрезмерности. При ярком свете поверхность его всюду образовывала

широкие массы, гладкое тело казалось плотным и крепким, как мрамор, и в процессе любовной борьбы развertyвалось все богатство его сложения.

Они радовались своей юной жизни, месяцы проходили, как дни, и так, незаметно, промелькнуло больше двух лет. Тут Юлий постепенно понял, как велика была его оплошность и какую недогадливость он проявил. Ведь он искал любовь и счастье всюду, где их нельзя было найти, и теперь, когда он сделался обладателем высшего блага, он этого не осознал и не решился дать ему верного определения. Он понял, что любовь, которая для женской души является безраздельным, совершенно простым чувством, у мужчины может проявляться лишь как чередование и смешение страсти, дружбы и чувственности; и он увидел с радостным удивлением, что он так же безгранично любим, как он сам полюбил.

Вообще казалось заранее предрешенным, что каждое происшествие в его жизни должно поражать его необыкновенным концом. Вначале ничто так не изумляло и не притягивало его к Люцинде, как открытие, что ее внутренний облик похож на его собственный, вернее даже, что их внутреннее содержание совершенно одинаково; и вот изо дня в день ему пришлось обнаруживать все новые и новые различия. Правда, даже и эти различия основывались на глубоком внутреннем сходстве, и чем богаче развertyвалась перед ним ее сущность, тем многогранней и задушевней становился их союз. Он и не подозревал, что ее своеобразие так же неисчерпаемо, как и ее любовь. Внешний облик ее даже казался теперь более юным и цветущим в его присутствии; и от соприкосновения с его душою точно так же расцвела и ее душа, превращаясь в новые образы и новые миры. В ней, казалось, он обладает всем, что прежде он любил в отдельности: своеобразие внутреннего облика, восхитительная страстность, скромная действенность, способность к образованию и сильный характер. Каждое новое обстоятельство, каждое новое суждение являлось для нее новым поводом для общения и для гармонии. Подобно их взаимной симпатии, росла и взаимная вера, а вместе с верой возрастали уверенность, бодрость и сила.

Они оба испытывали одинаковую склонность к искусству, и Юлию удалось создать несколько законченных произведений. Его полотна оживились, пронизанные потоками животворящего света, и в интенсивной бодрой красочной гамме расцвела реальная плоть. Купающиеся девушки, юноша,



с затаенным удовольствием созерцающий свое отражение в воде, или благостно улыбающаяся мать с любимым ребенком на руках — вот, пожалуй, важнейшие темы его кисти. Формы их, может быть, не всегда соответствовали общепринятым законам художественной красоты; то, чем они радовали взор, сводилось к некоей тихой прелести, к глубокому отпечатку спокойного ясного бытия и наслаждения этим бытием. Изображенные им люди казались одушевленными растениями в богоподобной человеческой оболочке. Таким же умиротворенным характером отличались и объятия, в изображении которых он проявлял неисчерпаемое разнообразие. Эта тема вдохновляла его больше всего, так как очарование его кисти нагляднейшим образом выявлялось именно здесь. Некое тихое волшебство, казалось, действительно захватывало врасплох и запечатлеvalo для вечности быстротечное и таинственное мгновение высшей жизни. Чем меньше в них было вакхической ярости, чем больше в них было скромности и мягкости, тем соблазнительнее оказывались образы юношей и женщин, пронизанных сладостным огнем.

Подобно тому, как усвершенствовалось его искусство и, как бы само собой, пришло то, чего ему не удавалось достичь никакими стремлениями и усилиями, его жизнь также превратилась в произведение искусства без того, в сущности, чтобы он заметил, как это произошло. Он почувствовал себя внутренне просветленным, и так как он стоял в центре своей жизни, то увидел и правильно пересмотрел все ее составные периоды и ее строение в целом. Он чувствовал, что никогда уже не утратит этой цельности, загадка его бытия была разрешена, и ему казалось, что все заранее предreshало и с ранних лет подготавливало его к тому, чтобы найти эту разгадку в любви, для которой он по юношескому неразумию считал себя совершенно неподходящим.

Легко и мелодично, как красивая песнь, протекали их годы, их жизнь была содержательной, их окружение также было полно гармонии, и их простое счастье производило впечатление скорее редкого таланта, чем необычайного дара случая. Юлий изменил даже свое внешнее поведение; он стал общительнее, и, хоть он и порвал со многими, чтобы зато теснее сблизиться с немногими, в различиях, которые он проводил между людьми, исчезла его нетерпимость, он стал многостороннее и научился облагораживать обыкновенное. Вскоре он привлек к себе некоторых выдающихся

людей, Люцинда их объединила, и таким образом возникло непринужденное общество, или, вернее, большая семья, члены которой, благодаря своей образованности, никогда друг другу не надоедали. Получали доступ также некоторые выдающиеся иностранцы. Юлий разговаривал с ними реже, но Люцинда умела их занимать и притом так, что ее исключительная разносторонность и выработанное умение подойти к каждому восхищали ее собеседников, и духовная музыка, красота которой состояла в многогранности и чередовании мотивов, не нарушалась ни переборами, ни диссонансами. В этом их искусстве общения наряду с серьезным стилем должны были найти себе место любой очаровательный способ выражения, любой преходящий оттенок настроения.

Юлий казался проникнутым нежностью по отношению ко всему окружающему, но это была не утилитарно-сострадательная благосклонность к толпе, а созерцательная радость по поводу красоты человека вообще, который остается вечно, в то время как отдельные люди исчезают; и живой отклик на сокровеннейшие проявления своей и чужой духовной жизни. Он почти всегда был одинаково расположен к ребяческой шутке и к возвышенной серьезности. Теперь он любил не только дружбу в своих друзьях, но и их самих. Каждое интуитивное предчувствие или намек, возникавшие в его душе, он в разговоре с одинаково настроенными стремился осознать и развить. Таким образом, развивалась и обогащалась во многих измерениях и направлениях его внутренняя сущность. Но также и в этом отношении полное соответствие он находил только в душе Люцинды, где семена всего прекрасного ждали только воздействия его индивидуальности, чтобы развернуться в прекраснейшее мироощущение.

Я люблю возвращаться мысленно к весеннему периоду нашей любви; я вижу все изменения и преобразования, я переживаю их снова, и мне хотелось бы по крайней мере некоторые из нежных очертаний ускользающей жизни схватить и запечатлеть на полотне сейчас, пока я нахожусь еще в разгаре теплого лета, пока и оно еще не миновало, пока и это еще не поздно. Мы, смертные, такие, какими мы здесь являемся, представляем собою лишь благороднейшие побеги на этой чудной земле. Люди об этом легко забывают, они высокомерно порицают вечные законы мироздания, в центре которого они во что бы то ни стало желают обрести любимую земную поверхность. Но не таковы мы с тобой. Мы благодарны и до-

вольны тем, чего желают боги и что они так ясно начертали в священных письменах прекрасной природы. Скрамная душа осознает, что ей предназначено, так же, как и всему сущему на земле, цвести, созреть и увядать. Но она знает, что одно в ней является непреходящим. Это — вечное томление по вечной юности, которое здесь и всегда ускользает. Еще оплакивает нежная Венера гибель своего милого Адониса в каждой прекрасной душе. Полная сладостного желания, ожидает и разыскивает она юношу, с нежной тоской вспоминая о его небесных очах, о нежных чертах возлюбленного, о его ребяческой болтовне и шутильвых выражениях, и вот улыбается сквозь слезы, прелестно краснея, увидев и себя среди цветов пестрой земли.

Я хочу дать тебе хотя бы намек на те божественные символы, о которых я не в состоянии рассказать. Ведь, как я ни осмысливаю прошедшего и ни стремлюсь проникнуть в мое сокровенное «я», чтобы в ясности настоящего созерцать воспоминание, предоставив и тебе его созерцать, все же всегда остается нечто, не дающее себя обнаружить, так как оно спрятано где-то в самой глубине. Внутренний мир человека является его собственным Протеем, изменяясь и не поддаваясь выражению в словах, когда его хочешь схватить. В этом сокровеннейшем средоточии жизни творческая прихоть ведет свою волшебную игру. Там находятся все начала и концы всех нитей духовного организма. Только то, что постепенно разворачивается во времени и в пространстве, только то, что происходит, является предметом истории. Что же касается загадки мгновенного возникновения и превращения, то ее можно только угадать и дать разгадать лишь посредством аллегории.

Фантастический мальчик, который понравился мне больше всех из четырех бессмертных романов, виденных мною во сне, не без причины играл с маской. Даже в то, что кажется чистым изображением и фактом, вкралась аллегория, примешав к прекрасной правде многозначительный смысл. Но лишь в виде духовного дуновения парит она, одушевляя весь комплекс изображенного, подобно Остроумию, которое невидимо играет со своими творениями и только тихо усмехается.

В древней религии имеются нормы, которые в ней кажутся единственно прекрасными, святыми и нежными. Поэзия так искусно и богато построила и перестроила их, что

подлинный смысл остался неопределенным и допускает все новые истолкования и значения. Чтобы дать тебе представление о том, что я думаю по поводу превращений любящей души, я выбрал среди этих значений те, которые бог гармонии мог бы рассказывать музам или слышать от них, после того как любовь заставила его опуститься на землю и превратиться в пастуха. Тогда на берегах Амфриза он, я думаю, создал также идиллию и элегию.

## Метаморфозы

Спокойно и сладко спит детский дух, и поцелуй любящей богини возбуждает в нем лишь легкие сновидения. Роза стыдливости рдеет на его щеке, он улыбается, и кажется, что он открывает уста, но не просыпается и не сознает того, что в нем происходит. Лишь после того, как очарование внешней жизни, многократно отраженное и усиленное его внутренним эхом, насквозь проникает все его существо, — он открывает глаза, радуясь солнцу, и только тогда вспоминает волшебный мир, который он видел в сиянии бледного месяца. Ему запомнился пробудивший его чудесный голос, который ответно исходит и теперь от всех вещей внешнего мира; и когда он с детской робостью пытается убежать от тайны своего бытия, гоняясь, полный любопытства, за неизвестным, всюду слышит он отзвук своего собственного стремления.

Так в зеркале реки глаз встречает лишь отражение голубого неба, зеленые берега, качающиеся деревья и фигуру погруженного в себя созерцателя. Если душа, полная бессознательной любви, находит себя там, где надеялась найти ответную любовь — она поражается изумлением. Но вскоре человек снова дает увлечь и обмануть себя волшебными чарами лицемерия, снова начинает любить свою тень. Тогда приходит черед очарования, душа еще раз воссоздает свою оболочку и испускает последний вздох завершения в виде новой формы. Дух затеривается в своей ясной глубине и, как Нарцисс, находит себя вновь в образе цветка.

Любовь выше очарования. Как быстро и бесплодно увял бы цветок красоты, если бы его не дополняла возникшая ответная любовь!

Этот миг, поцелуй Амура и Психеи, есть роза жизни. Вдохновенная Диотима открыла Сократу лишь половину любви.

Любовь — не только тайная внутренняя потребность в бесконечном; она одновременно и священное наслаждение совместной близостью. Это не просто смешение, не переход от смертного к бессмертному, но также и полное единство того и другого. Существует чистая любовь, неделимое и простое чувство, не нарушаемое ни малейшим беспокойным стремлением. Каждый дает столько, сколько берет, как один — так и другой, все между собой равно и целостно и завершено в самом себе, как вечный поцелуй божественных детей.

Под магическим действием радости огромный хаос спорящих между собой форм разливается в гармоническое море забвения. Когда луч счастья еще преломляется в последней слезе томления, Ирида уже украшает вечное чело неба нежными красками своей разноцветной радуги. Ласкающие сны становятся явью, и из волн Леты встают прекрасные, как Анадиомена, чистые массы нового мира, разворачивая свое стройное членение на месте исчезнувшего мрака. В золотой юности и невинности время и человек пребывают среди божественной умиротворенности природы, и вечно хорошеет Аврора с каждым возвратом.

Не ненависть, как говорят мудрецы, а любовь разлучает живые существа и создает вселенную, и только в свете любви можно их обнаружить и увидеть. Только в ответе своего *Ты* может каждое *Я* полностью ощутить свое бесконечное единство. Тогда разум до конца разовьет внутренний зародыш богоподобия, стремясь все ближе к цели, полный рвения создать душу, подобно художнику, созидающему свое единственно любимое произведение. В мистериях творения дух созерцает игру и законы произвола и жизни. Произведение Пигмалиона шевелится, и потрясенного художника охватывает радостный трепет от сознания собственного бессмертия. Как орел Ганимеда, возносит его божественная надежда могучим крылом на Олимп.

## Два письма

### 1

Неужели действительно правда то, что так часто мне тайне желалось и что я не решался высказать? Я вижу сияние священной радости, озаряющее твое лицо, когда скромно сообщаем ты мне прекрасную весть.

Ты будешь матерью!

Прощай, тоска, и ты, тихая жалоба, мир снова прекрасен, теперь я опять люблю землю, и утренняя заря новой весны поднимает сверкающую розами главу свою над моим бессмертным бытием. Если бы у меня были лавры, я обвил бы ими твое чело, чтобы посвятить тебя на новый подвиг, на новую деятельность, ибо и для тебя теперь начинается новая жизнь. Ты за это дай мне миртовый венок. Мне подобает быть украшенным, как юноша, этим прообразом невинности, я ведь пребываю в раю природы. То, что раньше было между нами, было лишь любовь и страсть. Теперь природа соединила нас более глубоко и нераздельно. Одна только природа — истинная жрица радости; только она умеет завязывать брачный узел; и не праздными словами, а новыми цветами и живыми плодами от изобилия своей силы. В бесконечной смене новых образов свивает творящее время венок вечности, и свят тот человек, которого коснется такое счастье, что он принесет плоды и сохранит здоровье. Мы не какие-нибудь пустоцветы среди прочих существ, боги не хотят исключить нас из огромного сцепления действующих сил и подают нам явственные знаки. Так заслужим же наше место в этом прекрасном мире, принесем бессмертные плоды, образуемые духом и произволением, и вступим в хоровод человечества. Я хочу обрабатывать землю, я буду сеять и жать для настоящего и будущего, я хочу использовать все мои силы, пока светит день, а вечером обновлять их в объятиях матери, которая будет вечно моей невестой. Наш сын, маленький серьезный плутишка, будет играть около нас и вместе со мною выдумывать против тебя немало проказ.

Ты права, мы непременно должны купить это маленькое имение. Хорошо, что ты уже предприняла шаги, не ожидая моего решения. Устраивай все так, как это тебе нравится; только не слишком нарядно, если возможно, но и не слишком утилитарно, а главное, не слишком обширно.

Если только ты сделаешь все по своему собственному намерению и не станешь слушать речей о приличном и общепринятом, то это и будет именно так, как оно и должно быть и как мне этого хочется, и я буду очень рад сделаться хозяином этого прекрасного достояния. Все, что мне вообще нужно, я всегда имел, не задумываясь об этом и без чувства ответственности. Легкомысленно жил я на земле и не чувствовал

себя дома на ней. Но вот святость брака дала мне гражданские права. Я уже не витаю в пустом пространстве всеобщего воодушевления, я довольствуюсь дружественным кругом, я вижу полезное в совершенно ином свете и поистине нахожу полезным все то, что вечная любовь сочетает с ее предметом, словом, все, что служит подлинному браку. Даже предметы внешнего мира внушают мне почтение, когда они добротны, каждый в своем роде, и в конце концов ты еще услышишь от меня ликующие, хвалебные речи о ценности собственного очага и достоинствах семейственности.

Теперь я понимаю твое пристрастие к сельской жизни, я люблю его в тебе и чувствую так же, как и ты. Я не хочу больше видеть эти неповоротливые глыбы всего, что есть испорченного и больного в человечестве; и когда я мыслю их вообще, они представляются мне дикими зверями на цепи, которые даже не могут свободно выражать свою ярость. В деревне люди могут быть хотя и вместе, но все-таки не теснить безобразно друг друга. Если бы все шло так, как оно должно быть, красивые жилища и прелестные хижины, как свежие растения и цветы, украшали бы там зеленеющую почву и создали бы сад, достойный божества.

Разумеется, и в деревне мы найдем все ту же пошлость, которая царит повсюду. Человечество, собственно, должно бы разделяться лишь на два сословия — созидающее и созидаемое, мужское и женское, а вместо всяких искусственных обществ — великое супружество этих двух сословий и всеобщее братство для каждого в отдельности. Но вместо того мы видим лишь несметную грубость и как незначительные исключения отдельных людей, изуродованных неправильным воспитанием. Но на свежем воздухе то единственное, что красиво и хорошо, не так легко подавить силой низкой толпы и призраком ее всемогущества.

Знаешь, какая пора нашей любви мне представляется особенно прекрасной? Хотя, правда, в моем воспоминании все кажется мне чистым и прекрасным, и о первых днях я думаю с томительным восхищением. Но дороже всех сокровищ для меня те последние дни, которые мы провели вместе в имении. — Новый повод, чтобы снова пожить в деревне!

И еще одно. — Не позволяй подрезать побеги винограда слишком коротко. Я пишу об этом потому, что ты находила их слишком разросшимися и густыми, и на тот случай, если бы тебе вздумалось иметь перед глазами маленький домик

открытым со всех сторон и совершенно чистым. Зеленая лужайка тоже должна оставаться так, как есть. Малютка будет на ней возиться, ползать, играть и кататься.

Не правда ли, то огорчение, которое причинило тебе мое печальное письмо, теперь уже совершенно изгладилось? Я не могу дольше мучить себя заботами среди всех этих прелестей и в головокружительной надежде. Ты страдала не больше, чем я. Какое это имеет значение, если ты меня любишь, если действительно любишь до самой глубины души, без затаенного отчуждения? Стоило ли бы говорить о какой-то боли, если мы через нее достигаем лучшего, более горячего сознания нашей любви. Ты того же мнения. Все, что я тебе тут говорю, ты знала уже давно. Словом, ни восхищение, ни любовь не возникли бы во мне, если бы они не пребывали уже сокрытыми в какой-то глубине твоего существа, о Ты, Безграничная и Счастливая!

Размолвки хороши иногда для того, чтобы хоть однажды было высказано все самое святое. То чуждое, что время от времени пробегает между нами, — оно не в нас, его нет ни в одном из нас. Оно только лишь между нами и на поверхности, и я надеюсь, что ты благодаря этому случаю совершенно прогонишь его и вытравишь из себя.

И откуда берутся эти маленькие антипатии, если не из обоюдной ненасытности в стремлении любить и быть любимым? Без этой ненасытности нет любви. Мы живем и любим до уничтожения. И если одна только любовь превращает нас в полноценных людей и есть жизнь жизни, то противоречия для нас не страшнее, чем жизнь или человечество, и примиренье будет следовать в ней за столкновеньем сил.

Я чувствую себя счастливым, что люблю женщину, которая способна любить так, как ты. Так, как ты, — эти слова значительнее всех превосходных степеней. — Как ты только можешь одобрять мои речи, когда я, сам того не желая, нашел слова, которые так могли тебя ранить? Я хочу сказать, что я пишу более красиво, чем это нужно, для того чтобы высказать тебе все, что у меня в глубине души. Ах любимая! Только верь, что никакой твой вопрос не останется без моего внутреннего отклика. Твоя любовь не может быть более вечной, чем моя. — Восхитительна твоя красивая ревность к моей фантазии и к описаниям ее неистовства. Это закономерно выявляет безграничность твоей преданности, но также по-



звояет надеяться, что твоя ревность близка к тому, чтобы погубить себя своей же собственной чрезмерностью.

Этот вид фантазирования — письменного — скоро больше не будет нужен. Скоро я буду с тобой. Я блаженнее, спокойнее, чем когда бы то ни было. Я мысленно лишь хотел бы тебя увидеть и неотступно стоять перед тобой. Ты чувствуешь все, прежде чем я это произнесу, и радостно вспыхиваешь, с сердцем, полным наполовину любимым мужем, наполовину ребенком.

Помнишь еще, я писал тебе, что никакое воспоминание не может развенчать тебя в моих глазах, что ты вечно чиста, как святая дева непорочного зачатия, и что тебе не достает лишь ребенка, чтобы стать Мадонной?

И вот теперь он у тебя есть, теперь он воплотился в действительность. Я то держу его на руках, то рассказываю ему сказки, то очень серьезно обучаю его, то даю ему добрые наставления о том, как молодой человек должен вести себя в обществе.

И вновь мой дух возвращается к матери, я целую тебя бесконечным поцелуем, я вижу, как вздымается желанием твоя грудь, и чувствую, как под твоим сердцем что-то таинственно шевелится.

Как только мы снова будем вместе, мы не забудем нашей молодости, и я хочу сохранить святость нашего общения. Ты, конечно, права: часом позже это — бесконечно поздно.

Так жестоко, что я сейчас не могу быть с тобой! От нетерпения я делаю много глупостей. Я чуть ли не с утра до вечера брожу вокруг в очарованной местности; я спешу, как будто это необычайно необходимо, и в конце концов попадаю в такое место, где я меньше всего хотел бы быть. Я жестикулирую так, как будто веду пылкие речи; я рассчитываю, что я один, и внезапно оказываюсь среди людей; и я невольно улыбаюсь, когда замечаю свою рассеянность. Подолгу писать я также не могу и стремлюсь скорее снова на волю, чтобы промечтать прекрасный вечер на берегах спокойной реки.

Сегодня, между прочим, я даже забыл, что пора отправлять письмо. Зато у тебя будет тем больше радостного смятения.

Люди, право, очень добры ко мне. Они только не прощают мне, что я так часто не принимаю никакого участия в их

разговоре и иногда прерываю его самым странным образом: мне кажется, что втихомолку они сердечно радуются моей радости. Особенно Юлиана. Я ей сообщаю лишь немного о тебе, но она сообразительна в таких делах и угадывает все остальное. Нет ничего более милого, чем чистое, бескорыстное довольство любовью!

Я думаю, разумеется, что я любил бы моих друзей, даже если бы они были менее прекрасными людьми. Я ощущаю огромное изменение во всем моем существе: совершенно особенную мягкость и нежную теплоту во всех движениях души и духа, как приятное утомление чувств, следующее за высшим напряжением жизни.

И все же это совсем не похоже на слабость. Напротив, я знаю, что отныне буду с большей любовью и обновленной силой заниматься всем, чего требует мое призвание. Я никогда еще не ощущал такой уверенности и отваги, чтобы, сознавая себя мужчиной среди мужчин, вступить на путь героической жизни и в братстве с друзьями творить для вечности.

Это мой удел; так надлежит мне уподобиться богам. Ты же, подобно природе, будешь в виде жрицы радости тихо раскрывать тайну любви и в кругу достойных сыновей и дочерей превратишь прекрасную жизнь в священный праздник.

Меня часто охватывает забота о твоём здоровье. Ты слишком легко одеваешься и любишь вечернюю прохладу. Это — опасные привычки, которые в числе других ты должна оставить.

Подумай, для тебя ведь начинается новый порядок вещей. До сих пор я называл твое легкомыслие очаровательным, оно было уместно и в полном созвучии с окружающим. Я находил это женственным — когда ты шутила со счастьем и, пренебрегая всеми предосторожностями, могла нарушить весь обиход твоей жизни и твоего окружения.

Но вот теперь существует нечто, с чем ты всегда будешь считаться, к чему ты все будешь приспособлять. Теперь ты должна будешь постепенно приучаться к экономии, разумеется, в аллегорическом смысле.

В этом письме все так же запутано идет одно за другим, как в человеческой жизни — молитва и еда, озорство и восхищение. Ну, спокойной ночи! — Ах, почему я, хотя бы во сне, не могу быть с тобой, действительно с тобой и тебе приснить-

ся! Если я только вижу тебя во сне, то это все то же одиночество. — Ты хочешь знать, почему ты не видишь меня во сне, хотя ты так много обо мне думаешь? Милая, не бывает ли так же часто, что ты подолгу молчишь обо мне?

Письмо Амалии доставило мне большую радость. Разумеется, по ее льстивому тону я вижу, что она не выделяет меня из людей, нуждающихся в лестии. Я этого не требую. Странно мне было бы требовать, чтобы она меня расценивала нашим способом. Довольно уж, что одна знает меня вполне! — По-своему она меня знает прекрасно! — Должно ли ей быть известно, что такое *обожание*? Я сомневаюсь, и сожалею ее, если она этого не знает. А ты? Тоже нет?

Сегодня в одной французской книжке я нашел такое выражение о двух влюбленных: «Они были вселенной один для другого».

Мне пришло на ум, трогательно и смешно, что то, что там было сказано без особого смысла, просто как фигура преувеличения, в нас буквально превратилось в истину!

В сущности, и для такой французской страсти это буквально точно. Они находят вселенную один в другом потому, что утрачивают интерес ко всему остальному.

Мы не так. Все, что мы обычно любили, мы любим теперь еще горячее. Смысл вселенной для нас только что раскрылся. Через меня ты постигла бесконечность человеческого духа, а я понял через тебя брак, жизнь и прелесть всех вещей.

Все одухотворилось для меня, говорит со мной, и все свято. Когда любят так, как мы, природа и человек обращаются вновь к своей первоначальной божественности. Сладострастие в уединенном объятии двух влюбленных вновь становится тем, что оно представляет собой в великом целом, — священнейшим чудом природы; и то, что для других было бы предметом справедливого стыда, для нас оно вновь то, что оно и есть в действительности, — чистое пламя благороднейшей жизненной силы.

У нашего ребенка непременно будут три свойства: много своеволия, серьезное лицо и некоторые способности к искусству. Все остальное я ожидаю в тихой покорности. Сын или дочь, на этот счет у меня нет определенного желания. Но о воспитании нашего ребенка я уже несказанно много думал, а именно, как заботливо мы будем предохранять его от вся-

ческого воспитания; думал, может быть, больше, чем трое предусмотрительных отцов думают о том, как бы им зашнуровать свое потомство в корсет чистейшей нравственности, начиная с самой колыбели.

Я составил несколько проектов, которые тебе понравятся. В них очень много рассчитано на тебя. Только не забрасывай искусства! — Что выбрала бы ты для своей дочери, если бы это была дочь, портрет или пейзаж?

Глупая ты с твоими мелочами внешней жизни! Ты хочешь знать, что меня окружает, где, когда и как я все делаю, живу и существую? — Оглядись же кругом: на стуле возле тебя, в твоих объятиях, у твоего сердца — вот где я, там я живу. Разве не достигает до тебя луч моего желания, не подкрадывается с нежной теплотой к самому твоему сердцу, к твоим устам, которые ему хотелось бы покрыть поцелуями?

Ты даже хвалишься тем, что мысленно ты мне пишешь постоянно, а я только часто, ах ты, буквоедка! Во-первых, я именно так о тебе всегда и думаю, как ты описываешь, что я иду около тебя, тебя вижу, слышу, говорю с тобой. Но затем и иначе, в особенности, если я просыпаюсь ночью.

Как можешь ты только сомневаться в значительности и божественности твоих писем! Последнее письмо как бы смотрит, ярко сверкая глазами; это не послание, а песнь.

Думаю, что если бы я пробыл вдали от тебя еще несколько месяцев, твой стиль развился бы в совершенстве. Впрочем, я считаю более разумным оставить нам теперь писанье и стиль и дольше не откладывать самого лучшего и высшего изучения, и я почти решился выехать через неделю.

## 2

Странно, что человек не боится самого себя. Дети правы, заглядывая с таким любопытством и трепетом в собрание неведомых духов. Каждый атом вечного времени может заключать в себе целый мир радости, но в то же время развернуть неизмеримую бездну страданий и страхов. Я теперь понимаю старую сказку о человеке, которого волшебник заставил в несколько мгновений пережить много лет: ибо я испытал на самом себе страшное всемогущество фантазии.

Со времени последнего письма твоей сестры — тому вот уж три дня — я перечувствовал страдания целой человече-

ской жизни, от пылающей солнцем молодости до бледного лунного сияния седой старости.

Каждая малейшая подробность твоей болезни, о которой она писала, подтверждала для меня то, что я уже раньше слышал от врача или сам наблюдал, что болезнь эта гораздо опаснее, чем вы считали, даже, собственно, не столько опасна, сколько безнадежна. Погруженный в эти мысли, лишенный всяких сил из-за невозможности поспешить к тебе из этой дали, я был поистине в безутешном состоянии. Только теперь, когда я вновь возродился от радостной вести о твоём выздоровлении, я как следует вижу, каково мне было. Ибо теперь ты здорова, почти совершенно здорова. Это я заключаю из всех сообщений с такою же уверенностью, с какою я несколько дней тому назад произносил над нами смертный приговор.

Я совсем не представлял себе это как нечто будущее или как если бы это еще совершалось теперь. Все прошло; уже давно ты была сокрыта в холодном лоне земли; цветы понемногу росли на любимой могиле, и слезы мои уже текли тише. Молча, одиноко стоял я и видел лишь любимые черты и сладостные молнии говорящих глаз. Неподвижно оставалась предо мною эта картина, лишь время от времени бледное лицо медленно появлялось ей на смену, с последней улыбкой, или в смертном последнем сне, или внезапно спутывались различные воспоминания. С невероятной быстротой сменялись очертания, возвращаясь вновь к первоначальному образу и снова изменяясь, пока все не исчезало в переутомленном воображении. Только твои невинные глаза оставались в пустом пространстве и недвижно стояли там, где дружественные звезды вечно мерцают над нашей бедой. Неотступно следил я за черными огнями, которые кивали со знакомой улыбкой во мраке моей скорби. То жгла меня острая боль от темных солнц невыносимой ослепительностью, то чудный блеск витал и струился, как бы стараясь меня завлечь. Тогда казалось, что свежий утренний ветерок овеивает меня, я закидывал голову вверх, и что-то громко кричало во мне: «Зачем тебе мучиться, через несколько мгновений ты можешь быть с нею».

Я спешил уже последовать за тобою, как вдруг новая мысль остановила меня, и я сказал моему духу: «Недостойный, ты не можешь перенести даже маленьких диссонансов этой посредственной жизни, а уже считаешь себя созревшим и заслуживающим высшего бытия? Иди, страдай и следуй

своему призванию и приходи вновь, когда твои задания будут выполнены». Не бросилось ли тебе также в глаза, как все на этой земле стремится к золотой середине, как все добропорядочно, как незначительно и мелочно? Так мне постоянно казалось; потому я предполагаю — и я уже сообщил тебе однажды, если не ошибаюсь, это предположение, — что наша последующая жизнь будет обладать большим размахом, добро и зло в ней будут сильнее, безудержнее, смелее, чудовищнее.

Обязанность жить победила во мне, и я снова был в сутолоке жизни, среди людей, среди их и моих беспомощных поступков и переполненных ошибками дел. Тогда мною овладел ужас, какой мог бы охватить смертного, если бы он внезапно очутился одиноким среди необозримых ледяных гор. Все было холодно и чуждо мне, и даже слеза застыла.

Удивительные миры возникали и исчезали предо мною в пугливом сне. Я был болен и сильно страдал, но я любил мою болезнь и приветствовал самую боль. Я ненавидел все земное и радовался, что оно подлежит каре и разрушению. Я чувствовал себя так одиноко, так странно, и подобно тому, как утонченная душа иногда в лоне счастья вдруг загрустит над своей радостью и, достигнув вершины, переполнится чувством ничтожества, так и я с тайной утехой смотрел на свою боль. Она стала для меня прообразом повседневной жизни, мне казалось, что я видел и ощущал вечное противоречие, благодаря которому все становится и существует, и стройные образы постепенного развития казались мне мертвенными и ничтожными по сравнению с этим огромным миром бесконечной силы и бесконечной борьбы и войны, пронизывающей бытие до самых глубин.

Благодаря этому странному ощущению болезнь превратилась в самодовлеющий мир, в самом себе законченный и оформленный. Я чувствовал, что ее богатая тайнами жизнь полнее и глубже, чем обыденное здоровье тех истинных лунатиков, которые бродят вокруг меня. И с болезненностью, которая отнюдь не была мне неприятной, это чувство оставалось во мне и совершенно уединило меня от других людей, совершенно так же, как отделяла меня от земли мысль о том, что твое существо и моя любовь были слишком святы, чтобы не спешить избавиться от грубых земных уз. Думалось, что все к лучшему и неизбежная твоя смерть есть не что иное, как тихое, приятное пробуждение после легкого сна.

Мне думалось также, что я бодрствую, созерцая твой облик, который, преображаясь, становился все более радостно-чистым и отвлеченным. Строгий и все же привлекательный, как будто Ты, и в то же время уже больше не Ты, божественный образ, осиянный чудесным блеском, он был то устрашающим, как зримый луч всемогущества, то ласкающим, как проблески золотого детства. Тихо, медленными глотками пил мой дух из источника прохладного и чистого горения, тайно опьяняясь, и это блаженное опьянение я ощущал как своеобразный духовный сан, ибо и в самом деле мне был совершенно чужд светский образ мыслей и никогда не покидало меня чувство, что я посвящен смерти.

Медленно протекали годы, и с великими трудностями один поступок сменял другой, одно деяние за другим продвигались к цели, которую я так мало считал моей целью, как мало я принимал те дела и поступки за то, чем они назывались. Это были для меня лишь священные символы, лишь намеки на единую возлюбленную, которая была посредницей между моим раздробленным Я и неделимой и вечной человечностью; все бытие — постоянное богослужение уединенной любви.

Но вот я заметил, что это уже конец. Чело уже утратило гладкость, и кудри полиняли. Мой жизненный путь был окончен, но не был завершен. Лучшие жизненные силы отлетели, а искусство и добродетель, вечно недостижимые, стояли предо мною. Я пришел бы в отчаяние, если бы не узрел и не обожествил их в тебе, прелестная мадонна! И тебя, и твою благодатную божественность во мне.

Тогда ты мне явилась, полная значительности, и подала мне смертельный знак. Сердце мое уже рвалось к тебе и к свободе; я тосковал о любимой старой отчизне и только что хотел отряхнуть с себя пыль странствований, как снова был призван к жизни обетованием и достоверностью твоего выздоровления.

Наконец, я опомнился от моих грез наяву, испуганный многозначительностью соотношений и уподоблений, и боязливо стоял над непостижимой бездонностью этой сокровенной истины.

Знаешь ли, что для меня стало наиболее ясным после этого? — Во-первых, что я тебя боготворю и что очень хорошо, что я так поступаю. Мы оба составляем одно целое, и человек лишь тогда становится единым и вполне самим собой, если

он рассматривает и представляет себя как центр целого и дух мира. Однако к чему это представление, когда мы находим в себе зародыш всего и все же вечно остаемся осколком самих себя?

И затем, я теперь знаю, что смерть дает себя ощущать и прекрасной, и сладостной. Я постигаю, как свободное творение в расцвете своих сил может с тайной любовью томиться о своем избавлении и свободе и радостно созерцать мысль о возврате, как зарю надежды.

## Размышление

Мне нередко приходило на ум, как странно, что рассудительные и достойные люди, с никогда не ослабевающей трудолюбивой изобретательностью и глубокой серьезностью, могут в вечном круговороте все снова повторять одну и ту же игру, которая, однако, явно не может ни принести пользы, ни привести к какой-либо цели, хотя это и самая древняя из всех игр.

И дух мой вопрошал тогда: что же природа, которая во всем так глубокомысленна, которая применяет хитрость в большом масштабе и вместо остроумных слов совершает остроумные поступки, что она могла бы подумать по поводу тех наивных намеков, посредством которых обрадованные ораторы пытаются именовать безымянность?

И эта безымянность сама по себе имеет двусмысленное значение. Чем стыдливее и современнее человек, тем больше следует он моде истолковывать ее бесстыдным образом. Напротив, для древних богов всякая жизнь имеет целью возродить некую классическую значительность, а также и бесстыдное героическое искусство. Обилие таких произведений и проявленный в них размах творческого воображения определяют ранг и достоинство в царстве мифологии.

Это количество и эта сила превосходны, но это еще не высшее достижение. Где же дремлет, скрываясь, желанный идеал? Или неутомное сердце находит в высочайшем из всех изобразительных искусств вечно лишь новые манеры, а завершенный стиль никогда?

Мышление имеет то свойство, что после самого себя оно охотнее всего размышляет о том, над чем можно размышлять без конца. Поэтому жизнь обрадованного и восприимчиво-



го человека есть лишь постоянное творчество и размышление на тему о прекрасной загадке своего предопределения. Он все вновь определяет его, ибо в этом и заключается все его предопределение, быть предопределенным и определять. Только лишь в самом своем искании находит дух человеческий ту тайну, которую он ищет.

Что же является само по себе определяющим или определенным? В мужественности это — безымянное. А что есть безымянное в женственности? — Неопределенное.

Неопределенное богаче тайной, но определенное имеет больше притягательной силы. Раздражающая запутанность неопределенного романтичнее, но возвышенность строения определенного гениальнее. Красота неопределенного переходяща, как жизнь цветов и как вечная юность смертных чувств; энергия определенного проносится, как настоящая гроза, как истинное воодушевление.

Кто может измерить и кто может сравнивать, какова бесконечная ценность того и другого, когда оба взаимно связаны в своем действительном предопределении, которому определено заполнять все проблемы и быть посредником между мужской и женской обособленностью и человеческой бесконечностью.

Определенное и неопределенное и вся полнота их определенных и неопределенных взаимоотношений — это и есть единое и целое, это удивительнейшее и все же простейшее, простейшее и все же высочайшее. Вселенная сама по себе есть лишь игрушка определенного и неопределенного, и действительное определение определимого есть аллегорическая миниатюра на жизнь и деятельность вечно струящегося творчества.

С вечно неизменной симметрией стремятся оба противоположными путями приблизиться к бесконечному и бежать от него. С медленным, но верным успехом неопределенное распространяет свое присущее ему желание из самой середины конечного в безграничное. Напротив, законченное определенное бросается смелым скачком из душевного усыпления бесконечного желания к границам конечного действия и, все утончаясь, растет в великодушном самоограничении и прекрасной умеренности.

В этой симметрии также обнаруживается невероятный юмор, с которым последовательная природа проводит свою обыкновенную и простейшую антитезу. Даже в самой

грациозной и искусной организации проступают наружу эти комические заострения великого целого и с лукавой значительностью, как уменьшенный портрет, придают всякой индивидуальности возникающее и существующее лишь благодаря ей и благодаря серьезности ее игры, окончательное закругление и законченность.

Благодаря этой индивидуальности и такой аллегории из стремления к безусловному расцветает пестрый идеал остроумной, находчивой чувственности.

Теперь все ясно! Отсюда — вездесущность безымянного неизвестного божества. Сама природа желает вечного круговорота все новых и новых опытов; и она требует также, чтобы каждый в отдельности был новым, законченным в самом себе истинным подобием высшей неделимой индивидуальности.

Углубляясь в эту индивидуальность, размышление приняло такое индивидуальное направление, что вскоре стало пресекаться и забывать самое себя.

«Что мне эти намеки, которые с непонятной рассудительностью не играют, а бессмысленно спорят, не на границе, а уже почти в самом центре чувственности?»

Так сказала бы ты, и так, хотя не сказала бы, но спросила бы Юлиана.

Милая возлюбленная! Допустимо ли, чтобы в пышном букете были только благонравные розы, тихие незабудки и скромные фиалки и что-либо иное, девственно и детски цветущее, или также и все другое, что так странно сияет разноцветным ореолом?

Мужская неловкость — многостороннее существо. Оно богато всевозможными цветами и плодами. Предоставь сама его место причудливому растению, которое я не хочу называть. Оно послужит хотя бы фоном для ярко пылающего граната и светлых апельсинов. Или же, вместо этой пестрой полноты, оно должно дать лишь такой совершенный цветок, который объединяет в себе красоты всех прочих и делает их существование излишним?

Я не прошу извинения. Вскоре я это сделаю еще раз, вполне доверяясь объективности твоего ума по отношению к художественным произведениям неловкости, дающим материал для созидания, черпая его часто весьма охотно в мужском возбуждении.

Это — нежное фуриозо и умное адажио дружбы. Ты из него можешь научиться разным вещам: что мужчины с такой же неслыханной деликатностью умеют ненавидеть, как вы любить; что ссору, когда она закончилась, они превращают в разлад, и что ты можешь делать к этому столько примечаний, сколько тебе угодно.

## Юлий к Антонио

### 1

Ты очень изменился с некоторых пор! Берегись, друг, как бы стремление к великому не покинуло тебя, прежде чем ты это почувствуешь. Что же из этого выйдет? Ты в конце концов накопишь столько нежности и утонченности, что твое сердце и чувство на это растрачатся. Где же будет тогда мужественность и действенная сила? Ты доведешь меня до того, что я стану поступать с тобой так же, как ты со мной поступаешь, и сделаю для тебя то, что ты сделал для меня с тех пор, как мы живем не вместе, а рядом друг с другом. Я должен буду указать тебе границы и сказать: «Хотя он и имеет склонность ко всему прекрасному, но только не к дружбе». Однако я никогда не стану с моральной точки зрения критиковать друга и его поведение; кто может это делать, тот не заслуживает высокого и редкого счастья иметь друга.

То, что ты ошибаешься прежде всего в самом себе — только ухудшает дело. Скажи мне серьезно, ищешь ли ты добродетели в этих холодных софизмах чувства, в этих художественных упражнениях ума, которые опустошают человека и разъедают его жизнь до мозга костей?

Уже давно я покорно молчал. Я совершенно не сомневался, что ты, знающий столь многое, распознаешь также и причины, вследствие которых погибла наша дружба. Мне почти кажется, что я ошибся, иначе почему бы ты мог так удивиться, что я хочу окончательно объединиться с Эдуардом и, словно не понимая, как будто спрашиваешь, чем мог ты меня обидеть. Если бы тут была только обида, только какой-нибудь единичный случай, тогда не стоило бы вносить диссонанс подобным вопросом. Все само собой нашло бы ответ и было бы улажено. Но это уже больше не то, и при каждом случае я ощущаю как осквернение то, что я откровенно сообщал тебе об Эдуарде все так, как оно происходило. Конечно, ты ничего

ему не сделал, ты даже не сказал вслух, а я знаю и прекрасно вижу насквозь все твои мысли. И если бы я этого не знал и не видел, в чем же было бы незримое единение наших душ и чудесная магия этого единения? — Тебе, конечно, не придет в голову дольше уклоняться и ради одной только учтивости стремиться превратить в ничто это недоразумение: ибо тогда уже мне, действительно, было бы нечего больше сказать.

Бесспорно, вы разделены вечной пропастью. Спокойная, ясная глубина твоего существа и пылкая борьба его неутомимой жизни лежат на противоположных концах человеческого существования. Он — само действие, ты — чувствующая и созерцающая натура. Потому-то ты и должен был бы всем интересоваться и все понимать, ты и бываешь проникновенным в тех случаях, если только не замыкаешься сознательно. Это-то, собственно, и возбуждает во мне досаду. Лучше бы ты ненавидел Великолепного, вместо того чтобы понимать его превратно! Но куда же мы придем, если усвоим неестественную привычку то небольшое великое и прекрасное, которое еще пока существует, понимать так пошло, как понимает его только пошлая проницательность, не отказываясь от притязаний на смысл? — То, что мерещится в других, делается в конце концов собственным свойством.

В том ли заключается знаменитая многосторонность? — Конечно, ты правильно подметил основу равенства: одному живется немногим лучше, чем другому; одна лишь разница, что каждый остается на свой лад непонятым. Разве ты не принуждал мое чувство к вечному молчанию о том, что для меня есть самого святого, к молчанию не только пред тобой, но и пред другими? И это потому, что ты не мог до поры до времени заставить замолчать свое суждение, и потому еще, что твой рассудок придумывал для всего границы, прежде чем успевал найти свои собственные. Ты почти довел меня до необходимости объяснять тебе, сколь велика, в сущности, моя ценность; насколько правильное и увереннее был бы твой путь, если бы ты время от времени не рассуждал, а веровал, если бы ты в том или ином предположил во мне неизвестное бесконечное.

Конечно, во всем виновата моя собственная беспечность. Быть может, виною было также отчасти и мое упорство. Я хотел быть с тобою постоянно, но не посвящал тебя ни в прошлое, ни в будущее. Быть может, это противоречило моему чувству и мне казалось это излишним, так как в самом деле я считал тебя бесконечно одаренным разумом.

О Антонио, если бы я мог сомневаться в вечных истинах, то ты довел бы меня до того, чтобы считать нашу тихую прекрасную дружбу, основанную на чистой гармонии бытия и совместного пребывания, чем-то фальшивым и извращенным!

Неужели все еще непонятно, почему я бросаюсь в совершенно другую сторону? — Я отрекаюсь от тонкого наслаждения и вмешиваюсь в яростную битву жизни. Я спешу к Эдуарду. Все решено, условлено. Мы хотим не только жить вместе, но в братском союзе совместно работать и действовать. Он суров и резок, его добродетель более мощна, чем восприимчива: у него мужественное, великодушное сердце и, живи он в лучшую эпоху, он был бы — я смело говорю — героем.

## 2

Конечно, хорошо, что мы, наконец, побеседовали друг с другом; я еще и потому доволен, что ты никогда не любил писать и бранил бедные неповинные буквы; признаю, что ты, действительно, более гениален в разговоре. Но у меня все же осталось еще кое-что на сердце, что я не смог высказать, и я хочу попробовать наметить тебе это письменно.

Почему именно этим путем? — О друг мой, если бы я только знал какой-нибудь более утонченный и развитой способ сообщения, чтобы тихо, под нежным покровом, сказать издали то, что мне хотелось бы! Разговор для меня слишком громок, слишком близок и слишком отрывочен. Эти отдельные слова передают лишь одну какую-нибудь сторону, отрывок из общей связи, из того целого, которое мне хотелось бы наметить, очертить в его полной гармонии.

Могут ли люди, которые хотят жить вместе, быть слишком деликатными в общении между собою? — Не то, чтобы я боялся сказать что-нибудь слишком резкое, порывистое и избегал бы потому некоторых лиц и предметов в нашем разговоре. На этот счет, я думаю, между нами, конечно, навсегда уничтожена преграда!

То, что я хотел тебе еще сказать, есть нечто совершенно общее; и все же я выбираю этот обходный путь. Я не знаю, истинная ли это или ложная деликатность, но мне было бы трудно говорить много о дружбе лицом к лицу с тобою.

И все же именно мыслями о ней мне хочется с тобой поделиться. Ты сможешь сам легко найти им применение — о нем, главным образом, идет речь.

Для меня, так, как я это чувствую, существует два вида дружбы.

Первая совершенно внешняя. Ненасытно спешит она от дела к делу и принимает каждого достойного человека в большой союз объединенных героев, стягивает старинную связь все крепче каждой новой добродетелью и постоянно стремится приобрести все новых братьев; чем больше их, тем больше ей хочется.

Вспомни первобытный мир, и ты найдешь повсюду эту дружбу, ведущую честный бой против всякого зла, хотя бы оно было в нас самих или в нашем возлюбленном, всюду, где благородная сила движет большими массами и создает миры или управляет ими.

Теперь иные времена, но идеал этой дружбы останется во мне, пока я сам буду существовать.

Другая дружба совершенно внутренняя. Дивная симметрия своеобразнейшего, как будто заранее было предопределено, что во всем надо искать себе дополнения. Все мысли и чувства делаются общими благодаря взаимному воздействию и развитию всего, что есть самого святого. И эта чисто духовная любовь, эта прекрасная мистика в общении, представляется не только отдаленной целью для, может быть, бесплодного стремления. Нет, ее можно найти только законченной. И тогда в ней также нет никакого обольщения, как и в другой, героической. Если добродетель какого-либо человека бездействует, дела должны свидетельствовать. Но кто внутренне чувствует и зрит человечество и мир, тот нелегко найдет универсальный смысл и универсальный дух там, где их нет.

К этой дружбе способен лишь тот, кто в своем внутреннем существе пришел к полному покою и в смирении умеет почитать божественность другого.

Если боги подарили подобную дружбу человеку, то ему не остается ничего другого, как заботливо охранять ее от всего внешнего и щадить священное создание. Ибо недолговечен этот нежный цветок.

## Томление и покой

Люцинда и Юлий в легких одеждах стояли у окна беседки, освежаемые прохладным утренним ветерком и погру-

женные в лицезрение восходящего солнца, которое все птицы приветствовали веселым пением.

— Юлий, — спросила Люцинда, — почему в таком радостном покое я чувствую глубокое томление?

— Только в томлении мы находим покой, — ответил Юлий. — Это и есть покой, когда нашему духу ничто не мешает томиться и искать там, где он не найдет ничего более высокого, чем его собственное томление.

— Только в ночном покое, — сказала Люцинда, — горят и сияют томление и любовь так же ярко и полно, как это восхитительное солнце.

— А днем, — возразил Юлий, — счастье любви бледно мерцает, так же скупое, как скудное сияние дневной луны.

— Или оно появляется и погружается внезапно в непроглядный мрак, — добавила Люцинда, — как те молнии, которые освещали нам комнату, когда луна была скрыта в облаках.

— Только ночью, — сказал Юлий, — поет свои жалобы и глубоко вздыхает маленький соловей. Только ночью нерешительно раскрывается цветок и свободно выдыхает чудеснейшее благоухание, чтобы опьянить равным наслаждением и дух и чувство. Только ночью, Люцинда, глубокий любовный жар и смелая речь божественно струятся из уст, которые в шуме дня с нежной гордостью замыкали их сладостную святыню,

Л ю ц и н д а.

Не меня, мой Юлий, следует изображать такой святой; хотя я и способна была бы изливаться в жалобах, как соловей, и чувствую в глубине души, что я посвящена ночи. Это ты сам свят, это волшебный цветок твоей фантазии ты видишь во мне, вечно тебе принадлежащей тогда, когда смолкает дневной шум и ничто обыденное не рассеивает твой высокий дух.

Ю л и й.

Не скромничай и не льсти. Помни, ты жрица ночи. Даже при свете солнца возвещает об этом темный блеск твоих густых кудрей, сияние строгих черных глаз, высокий рост, величественность чела и благородная форма всех членов.

Л ю ц и н д а.

Глаза смыкаются от твоих похвал, потому что уже ослепляет их шумное утро, а разноголосое пение веселых птиц смущает и пугает душу. Как жадно могло бы ухо в тихой и

темной вечерней прохладе выпить сладкие речи прекрасного друга!

Ю л и й.

Это не праздная фантазия. Бесконечно и вечно недостигаемо мое стремление к тебе.

Л ю ц и н д а.

Как бы то ни было, ты — единственная точка, в которой мое существо находит покой.

Ю л и й.

Священный покой я нашел лишь в этом томлении, друг!

Л ю ц и н д а.

А я в этом чудном покое — священное томление.

Ю л и й.

Ах, пусть жестокий свет снимет покров, который скрывал это пламя затем, чтобы обман чувств мог охлаждающе умиротворить пылкую душу!

Л ю ц и н д а.

Так однажды вечно холодный, суровый день прервет теплую ночь жизни, если юность умчится и если я отрекись от тебя, как ты однажды отрекся от великой любви во имя величайшей.

Ю л и й.

Если бы я мог показать тебе незнакомую подругу, а ей чудо моего чудесного счастья!

Л ю ц и н д а.

Ты ее еще любишь и будешь любить ее вечно, как и меня, это великое чудо твоего чудесного сердца.

Ю л и й.

Оно не чудеснее твоего. Я вижу, как ты, прижавшись к моей груди, играешь локоном своего Гвидо; нас обоих братски объединяет то, что мы украшаем достойное чело вечными венками радостей.

Л ю ц и н д а.

Пусть покоится в ночи, не извлекай на свет то, что священо цветет в тихой глубине сердца.

Ю л и й.

Где может волна жизни поиграть с дикарем, которого нежное чувство и дикая, суровая судьба вырвали и выбросили в грубый мир?

Л ю ц и н д а.

Преображенно сверкает единственно чистый образ недостигаемой незнакомки на голубом небе твоей чистой души.



Ю л и й.

О вечное томление! — Но в конце концов бесплодное томление дня, тщеславное ослепление пропадет и погаснет, и великая ночь любви вечно будет ощущать покой.

Л ю ц и н д а.

Так чувствует себя, если мне дано быть такой, какая я есть, женская душа в согретой любовью груди. Она томится только по твоему томлению, покойна там, где ты покой находишь.

## Причуды фантазии

Шумными тягостными устроениями жизни оттесняется и жалостно удушается нежное дитя богов — Жизнь — в объятиях по-обезьянью любящей Заботы.

Иметь намерение, поступать согласно намерениям и искусственно сплестать намерение с намерением для нового намерения, это уродство укоренилось так глубоко в нелепую природу богоподобного человека, что он должен принимать решительные меры и превращать в намерение, если ему захочется хоть раз без всякого намерения свободно отдаться движению внутреннего потока вечно сменяющихся образов и чувств.

Высшее проявление разума заключается в том, чтобы замолкать по своему усмотрению, предаваться всей душой фантазии и не мешать нежным забавам молодой матери с ее младенцем.

Но после золотого века своей невинности разум редко бывает так рассудителен. Он хочет владеть душой безраздельно; даже когда она мечтает быть наедине с прирожденной своей любовью, он тайно подслеживает и подсовывает на место невинных детских игр лишь воспоминание о прежних целях или предположения будущих. Он даже умеет оттенить цветом и придать легкий жар пустым холодным обманам и хочет своим подражательным искусством лишить безобидную фантазию ее истинной сущности.

Но юная душа не дает умудренному годами ошеломить себя хитростью, и все смотрит, как ее любимец играет с чудными картинами прекрасного мира. С готовностью дает она украсить свое чело венками, которые дитя сплетает из цветов жизни, и послушно поддается снам наяву, грезя о музыке

любви и воспринимая таинственно-дружеские голоса богов, как отрывочные звуки отдаленного романса.

Прежние, давно знакомые чувства звучат из глубины прошлого и будущего. Лишь слегка прикасаются они к настожившейся душе и вновь быстро исчезают на фоне замолкшей музыки и смутной любви. Все любит и живет, жалуется и радуется в дивной путанице. Здесь, на шумном празднестве отверзаются в общем хоре уста всех радостных; и здесь смолкает одинокая девушка в присутствии друга, которому она хотела бы довериться, и, улыбаясь, отказывает она ему в поцелуе. Задумчиво рассыпаю я цветы на могилу слишком рано умершего сына или вскоре, полный радости и надежды, преподношу их невесте любимого брата, в то время как верховная жрица подает мне знак и протягивает мне руку для союза, чтобы у вечно чистого огня дать клятву вечной непорочности и вечного воодушевления. Я удаляюсь от алтаря и жрицы, чтобы, схватив меч, ринуться с толпой героев в битву, которую я вскоре забываю, когда в глубоком одиночестве созерцаю лишь небо и себя.

Душа, которой сняты такие сны, вечно грезит ими, даже когда она бодрствует. Она чувствует себя обвитой цветами любви, она остерегается разорвать легкие венки, она охотно отдается в плен и посвящает себя фантазии и охотно отдает себя во власть ребенка, который все материнские заботы вознаграждает милыми играми.

Тогда через все бытие проносится свежее веяние расцвета юности и ореол детского восторга. Мужчина боготворит возлюбленную, мать — ребенка и все — вечно человека.

И душа постигает жалобу соловья и улыбку новорожденного, и она понимает значение всего, что тайными письменами начертано в цветах и звездах; священный смысл жизни, так же как красивый язык природы. Все предметы говорят с ней, и всюду под нежной оболочкой она видит милый дух.

По этой празднично украшенной земле движется она в легком танце жизни, невинная, заботясь лишь о том, чтобы не отстать от ритма общественности и дружбы и не нарушить гармонию любви.

Все наполнено вечно звучащим пением, в котором душа лишь время от времени воспринимает отдельные слова, и они позволяют ей раскрыть еще более высокие чудеса.

Все прекраснее становится этот окружающий ее волшебный круг. Она никогда не сможет его покинуть, и все, что она

создает или произносит, все звучит, как удивительный романс о чудесных тайнах детского мира богов, сопровождаемый чарующей музыкой чувств и украшенный полным глубокого значения цветением милой жизни.







## СОДЕРЖАНИЕ

*От издателя*..... 5

Философские чтения, в особенности  
по философии языка и слова ..... 7

Люцинда ..... 215





# UADRIVIUM

- Издательский проект «Квадривиум» — это благотворительный проект, имеющий целью:
  - организовать издание научной литературы, и прежде всего источников, к которым равнодушны в нынешней России религиозно-государственные структуры;
  - создать для переводчиков и авторов достойные условия работы;
  - сделать книги доступными для читателя как благодаря их рассылке в основные библиотеки России и ближнего зарубежья, так и благодаря низкой отпускной цене.
- Проект включает в себя четыре серии: «HELLENICA», «BYZANTINA», «RUSSICA», «GOTHICA», в рамках которых ведется систематическая работа.
- **Проект остро нуждается в спонсорской помощи. Мы готовы принять помощь как от частных лиц, так и от организаций.** По вопросам сотрудничества, а также покупки и распространения книг с нами можно связаться, написав по адресу:  
**[quadrivium\\_izdat@mail.ru](mailto:quadrivium_izdat@mail.ru)**.

**Наши книги можно прочитать в библиотеках  
следующих городов России и ближнего зарубежья:**

Абакан, Алматы (Казахстан), Анадырь, Архангельск, Астрахань, Баку (Азербайджан), Барановичи (Белоруссия), Белгород, Биробиджан, Благовещенск, Брест (Белоруссия) Брянск, Великий Новгород, Витебск (Белоруссия), Владивосток, Владикавказ, Владимир, Волгоград, Вологда, Воронеж, Гомель (Белоруссия), Горно-Алтайск, Гродно (Белоруссия), Донецк, Евпатория, Екатеринбург, Ереван (Армения), Иваново, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Калининград, Калуга, Кемерово, Керчь, Киев (Украина), Киров, Кисловодск, Кострома, Краснодар, Красноярск, Курган, Курск, Кызыл, Липецк, Луганск, Магадан, Майкоп, Махачкала, Минск (Белоруссия), Москва, Мурманск, Нальчик, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Новосибирск, Новочеркасск, Одесса (Украина), Омск, с. п. Орджоникидзенское (Ингушетия), Орел, Оренбург, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Псков, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Рязань, Салехард, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Севастополь, Симферополь, Смоленск, Ставрополь, Старый Оскол, Сыктывкар, Таганрог, Тамбов, Тбилиси (Грузия) Тверь, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Уфа, Феодосия, Хабаровск, Харьков (Украина), Челябинск, Чебоксары, Чита, Элиста, Эрфурт (Германия), Южно-Сахалинск, Якутск, Ялта, Ярославль.

**Наши книги  
можно купить  
с минимальной наценкой  
в интернет-магазине  
издательского проекта  
“Квадривиум”**

**WWW.NEIZDAT.RU**

**ПО ВОПРОСАМ ОПТОВЫХ ПРОДАЖ  
ОБРАЩАТЬСЯ**

**в Санкт-Петербурге:  
ООО «Университетская книга-СПб»  
Тел.: (812)640-08-71, e-mail: ukniga1@westcall.net**

**в Москве:  
ООО “Университетская книга-СПб”  
Тел.: (495)915-40-79, e-mail: ukniga1@westcall.net**

**Розничная продажа в Петербурге:  
киоск в Библиотеке Академии наук:  
Биржевая линия, д. 1  
тел.: +7-950-025-64-66**

Карл Вильгельм Фридрих фон Шлегель

## СОЧИНЕНИЯ

Том 2

Перевод с немецкого *В. М. Линейкина*

Под редакцией *Т. Г. Сидаша*

Верстка, корректура *Е. Кузьменок*

Подписано в печать 05.07.2018. Формат 60×100<sup>1/16</sup>

Гарнитура Petersburg

Тираж 300 экз. Заказ № 15618

ОАО «Первая Образцовая типография»

Филиал «Чеховский Печатный Двор»

142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1

Сайт: [www.chpd.ru](http://www.chpd.ru) E-mail: [sales@chpd.ru](mailto:sales@chpd.ru)

8 (496) 726-54-10